



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1(33)'2020

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Андрей Костинский (Харьков), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кипшинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2020

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. Набело. Из цикла стихотворений	4
Одесса: Ирина Дубровская. Южная масть. Стихотворения	11
Одесса: Александр Хинт. Jazz. Стихотворения	14
Одесса: Анна Стреминская. Постоянное место жительства. Стихотворения	20

ПРОЗА

Одесса: Вероника Коваль. Вечная весна. Рассказ	24
Одесса: Виктория Колтунова. В мирах. Рассказ	32

ПОЭЗИЯ

Курск – Москва: Александр В. Бубнов. Буквологическая игровая поэзия (БИП)	38
Киев: Елена Лазарева. В сумерках майского сада. Стихотворения	44
Симферополь: Марина Матвеева. Зуб, вцепившийся в пустоту. Стихотворения	50
Новосибирск: Лада Пузыревская. Лапы пристальных таможен. Стихотворения	54

ПРОЗА

Монреаль: Лада Миллер. Пока часы тикают. Повесть	58
---	----

ПОЭЗИЯ

Москва: Нина Габриэлян. Холмы над жёлтым временем. Стихотворения	81
Москва: Елена Фролова. Режим полёта. Стихотворения	85
Одесса – Германия: Елена Рышкова. Текст. Стихотворения	90
Мытищи: Елена Севрюгина. Очень родной Тибет. Стихотворения	94

ПРОЗА

Одесса – Прага: Евгений Деменок. Необычайный материк. Заметки об Индии	98
---	----

ДРАМАТУРГИЯ

Москва: Надя Делаланд. Дуралекс. Пьеса	106
---	-----

ПРОЗА

Евпатория: Николай Столицын. Неба – насквозь. Кино-проза	114
Москва: Геннадий Ганичев. Сладостное путешествие. Рассказ	122

«ОКОЕМ»

Витебск: Олег Сешко. Золотая пора «Витебского листопада». Вступительная статья об Открытом фестивале авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад»	127
Москва: Надя Делаланд. Стихотворения	128
Москва: Иван Зеленцов. Стихотворения	129
Кемпбелл: Мария Перцова. Стихотворения	131
Калининград: Ксения Август. Стихотворения	132
Минск: Яна Явич. Стихотворения	134

ПРОЗА

- Липецк: Александр Пономарёв. **Тяжёлый орден.** *Рассказы* 136
 Москва: Емельян Марков. **Что-то не случилось.** *Рассказы* 142

«ПЕРЕВОДЫ»

- Мачей Фроньский. **Поэзия.** *В переводах Владимира Штокмана* 153

ПРОЗА

- Москва: Наталья Стеркина. **Флюгер и юла.** *Рассказы* 159
 Прага: Ирина Силецкая. **Вивианкины сказки** 163

«ЛИТМУЗЕЙ»

- Одесса: Евгений Голубовский. **Открытый перелом души.** *Эссе* 171
 Одесса: Людмила Шарга. **Вкус печального вина.** *Эссе* 173
 Вера Инбер. **Стихотворения** 174

ПРОЗА

- Москва: Светлана Замелова. **Циля Шнеерсон.** *Новелла* 178

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

- Почувствовать себя сказочником.** Рецензия на книгу Юрия Нечипоренко «*Маленькие сказки*» 191
Парадоксальный талант Натальи Гринберг.
Рецензия на книгу «Диван в стиле викторианской готики и другие пьесы» 192
Уникальный писатель и его книга. Рецензия на книгу Эльдара Ахадова «*Вибрации жизни*» 196
Золотое сечение души. Рецензия на книгу Никиты Брагина «*Дикий мёд*» 197
«Сам собой прирастая». Рецензия на книгу Германа Власова «*Серебряная рыба золотая*» 200
Флейта Брониславы Волковой. Рецензия на книгу «*Лучше чем тишина звучать*» 203

«ШКАФ»

- Коломна: Александр Руднев. **Есенин современным взглядом.**
О книге Дмитрия Силкана «Сергей Есенин. Навсегда остался я поэтом» 208
 Москва: Станислав Айдинян. **Театр обаятельных теней.** *О книге Евгения Чигрина «Невидимый проводник»* ... 210

ЛЮДМИЛА ШАРГА

НАБЕЛО

Из цикла стихотворений

НАБЕЛО

Набело – значит – не было
черновиков горящих.
Кто-то метафор требовал –
образов настоящих.
Кто-то над рифмой корчился –
чтобы не так избито...
Выпишешь – обхохочешься –
прожито-пережито.
Сеяно-пересеяно
зёрен от плевел – с боем,
наедине со всеми, но
наедине с собою.
Набело – значит – коротко
и до предела сжато,
жало тугого ворота
сжалилось – мир распатан.
Кровушка ль ночью... капала,
сукровица-водица ль.
Дождь ледяной крапывал.
Слово.
Строка.
Страница.
Но, соблюдая правила,
к точке zero готова:
набело – значит, набело.
Буквица – Образ – Слово.

ЧУТЬ СЕВЕРНЕЕ...

Чуть севернее – чуть медлительней.
Ещё каких-нибудь вёрст двести
до стационарного зрителя
на старом маленьком разъезде,
где раньше было и наряднее,
и как-то ближе и роднее...
Чуть севернее – чуть прохладнее,
чтоб не сказать – что холоднее.
Кому-то – сон,
а мне – бессонница,
смотреть в окно и мимо ехать:
Вот здесь была когда-то звонница,
теперь осталось только эхо.



Размыты ледяными ливнями
 черты берестяных скрижалей...
 А помнишь – на Николу Зимнего –
 какие тут снега лежали!
 Луна всходила.
 Ветер всхлипывал.
 Зима сорила жемчугами...
 Мы в церковь шли,
 и чуть поскрипывал
 снежок под нашими ногами.
 И Бересна¹, речушка чёрная,
 промёрзшая до дна – дремала,
 и санная дорога торная –
 тогда ещё не пустовала.
 Дубы серебряными гриднями
 меж сосен высились поджарых,
 и было видимо-невидимо
 берёз и молодых и старых.
 На мудреца довольно всякого
 и простоты и удивления:
 теперь здесь чужестранки-сакуры
 промеж черёмух и сирени,
 где эхо звонницы от храма... и
 всё теплее и теплее.
 И как берестяные грамоты –
 берёзы в сумерках белеют.

¹ Полное название речки – Чёрная Бересна.

*

Тоненький след карандашный
 в книжке моей записной
 с днём срифмовался вчерашним,
 с давней холодной весной.
 С домом в далёкой деревне
 в богом забытой глуши,
 где на цветущих деревьях –
 снег –
 а вокруг ни души.
 Старый разъезд у опушки,
 дикий шиповник и сад...
 Отогревая друг дружку,
 яблони дышат, парят.
 Память неспешно листая,
 годы и вёрсты стряхнув,
 я из окна наблюдаю
 юную чью-то весну,
 в воспоминаниях яблону,
 словно по снегу бреду
 там, где парят вместо яблонь
 ангелы в старом саду.
 Что ж...
 В роковом поединке
 насмерть замёрзнуть – не грех.
 Где-то в российской глубинке
 медленно падает снег
 и обещает спасение
 тем, кто отцвёл и... замёрз
 в давнюю пору весеннюю –
 где-то за тысячу вёрст.

БЕРЕЩЕНЬЕ

Ни прощаний не ждать,
 ни прощенья,
 не менять на покои – покой,
 и в весеннюю ночь берещенья
 прислониться к берёзе щекой.
 Рассказав о грехах своих дольных,
 слушать тихий живительный дождь,
 звон берёзовых струн белоствольных –
 тонконогих берёзовых роц.
 И не в шутку –
 на полном серъёзе,
 в бледном свете неполной луны
 породниться душою с берёзой
 чтоб почувствовать горечь весны,
 чтобы вымолить боль возвращения,
 хоть... казалось бы – где ни ложись...
 Берещенье идёт,
 берещенье –
 бродит в венах берёзовых жизнь.
 Памятуя о сказочных росах,
 с давней горечью наедине,
 здесь – вдали – к одинокой берёзе
 прислоняюсь и я по весне,
 избавляюсь от тлена и плена,
 обнажая лишь самую суть:
 отворить тонкокожую вену
 и как в детстве – устами прильнуть.
 И каких тебе надо отмщений,
 благодати и веры какой...
 Прислониться в канун берещенья
 к одинокой берёзе щекой.

*

Мы вряд ли когда-нибудь станем взрослеть,
 извечные странники –
 вечные дети.
 Какое бы ни было тысячелетье,
 и что там – за окнами, –
 прозелень, медь,
 оскомину в рифме набившая просинь;
 мы детские сны и надежды – отбросим,
 но неопалима надежд кушина...
 И снова – дорога.
 И мы – у окна,
 подолгу, неясной тоскою влекомы,
 прижавшись стоим к крестовине оконной
 и видим нетканую гладь полотна,
 ведущую в храм – в златоглавую осень.
 Молитву творя, на прощанье попросим
 ночлега в пути у огня и вина,
 и затемно выйдем – ещё до рассвета –
 не зная, куда и зачем в этот раз,
 не зная, что было,
 что будет,
 что спето
 и сказано кем-то задолго до нас.



Мы затемно выйдем.
Мы снова в пути,
усталые странники –
вечные дети.
Какая там разница – что впереди,
что было когда-то,
что будет на свете.
Дорога – вестимо,
дорога одна.
Но неопалима надежда купина.

*

Женский смех, переходящий в визг.
Множится перед глазами *босх*.
На губах следы солёных брызг –
плачет море.
Или... плачет Бог?
Мы – нигде.
Мы – только облака,
две души – два сущих пустяка.
Вновь летим, летим через века,
спит в твоей руке моя рука.
Нас качает шальная волна,
то до неба бросит,
то до дна...
Слышишь? Золотые города
вспоминает спящая звезда,
и песчинки наших малых звёзд
вспоминают лето.
Отмель.
Мост.
По нему из августа тайком
мы ушли с тобою босиком
и очнулись раннею весной
сон-травой на тропе лесной,
солнечным лучом на дне ручья,
вечными кругами на воде...
Плачет море.
Или Бог...
Но я
ничего не помню о дожде...

*

Переболеть зимой...
Не обессудь.
Мне наши зимы кажутся недугом.
Я – стрелка.
Я по замкнутому кругу
не время – бремя времени несу.
Переболеть зимой.
Перемолчать.
Разбить две-три любимые тарелки...
Я маленькая часовая стрелка –
хранящая молчания печать.



Под утро ветка постучит в окно –
 все вечера теперь уходят в утро,
 минуя ночи.
 Как печально, мудро
 писал Экклезиаст давным-давно
 о жизни – что подобие ярма,
 что камни собирать приходит время,
 что... он ни в чём, что пишет... не уверен;
 ученье – тьма,
 и неученье – тьма.
 Он обращался к сердцу своему:
 приди ко мне, поговорю с тобою.
 И я беззвучно вторила ему:
 Приди.
 Я ни божбой –
 ни ворожбою
 тебя не растревожу – исполать.
 Молчало сердце.
 Плакал мальчик.
 Ветер...
 А мальчик... он не юн,
 и он – не Вертер.
 Но вот, – к несчастью – обречён страдать
 и спрашивать: что... скоро ли зима?
 Я отвечаю: непременно – будет
 и выстудит печаль
 и боль остудит,
 и радости отсыплет – задарма.
 Он засыпает, и в недолгом сне
 его печали засыпает снег...

*

И приметы и мечты сбылись:
 сумерки тихи, как чистый лист.
 Значит – быть стихам.
 Они приходят,
 лунную дорогу переходят,
 словно мой знакомый чёрный кот;
 будто сны, сбываются, и вот
 лунный кот и пятеро котят.
 Все черны.
 Все молока хотят –
 пять случайных строчек – без сомненья.
 Пятница.
 Декабрьский закат
 полыхает в небе откровеньем,
 обещая скорый снегопад.
 Облако – небесный пароходик –
 жизнь к другому берегу уводит –
 тихо светлой тенью проплывёт
 и исчезнет, как минувший год.
 Целый год – а, в сущности – мгновение
 порастёт быльём – травой забвенья,
 мы с тобой не видели его,
 выдохнули – только и всего.
 Но печаль утраты сердце тронет:
 мы – в году почти потустороннем –



спорили о разных пустяках,
главного страпась и избегая,
будто предначертана другая
жизнь в сплетенье линий на руках.
От земной освободившись скверны,
не спеша, отсчитывая мерно
каждый вздох, за облаком пройдем
скорым снегопадом и дождем.
Сбудемся, как в первый раз сбывшись.
И молчит о прошлом чистый лист.

*

Снова зима за окном.
Где же снег...
С ним бы свободней и легче дышалось.
Память уснула бы и не смешала
вёрсты и мили завьюженных вех,
прошлое с будущим и настоящим,
детские грёзы с разбитой мечтой.
Женщину и – с девочкой, сон бередающей,
с девочкой-призраком – букою той,
что согревала дыханием пальцы
и прижимала ладони к лицу,
и коловрат вышила на пяльцах
ровным стебельчатым швом – по кольцу.

Вот и зима.
Коротать не впервой
эти бесснежные южные зимы.
Вспомнилось: в круглых плетёных корзинах
бабушка с дедом хранили подвой.
Чтобы потом – по весне – оживить
яблоню-старницу.
Кровь молодую
старнице – с новою жизнью привить.

Зимнее солнце покатится вспять
от Коловрата – вкруг оси вселенской.
Под колыбельную вьюги крещенской
старые-старые яблони спят –
я среди них.
На лету, на бегу...
вышло всё время,
все *сороки-сороки*.
Буквицы детства текут самотёком –
животворящим играющим соком,
будто по веточкам-венам бегут.

.....

Азбукой белой, где я – это Аз,
в беличьей шубке, без варежек — в шапке,
руки замёрзли – «гусиные лапки»...
Верую в свет и в добро – как сейчас.
В добрую сказку про Машу с медведем, –
бука, твердящая:
аз,
буки,
веди...



и познающая жизнь. Я – есть.
 Клانياюсь яблоням – здорово *ж и в е т е...*
 Столько насыпало снегу к подклетьям
 вьюгой крещенской.
...аукнулось – днесь...
 За ночь сугроб под окно намело,
 очень глубокий...
...всплывает: зело.

Буквица Он – оплывает лицо
 в свете свечи, и лишает покоя.
 Повелевает десницей... рукою.
 Фертом стоит...
 Мне б похерить с концом...
 все эти ниточки, да не готова.
Рцы же премудрости, веруя в Слово.

Мне бы, забвенья минуя полоны,
 всё про незнамое Цы расспросить.

...Кси извивается змейкой червлёной...

Еру и Ерам и Ятям – поклоны –
 Юсам – большому и малому – бить.
 Буквицы малые – Ижица, Пси...
 Всё не припомню их – и не проси.
 Помню себя, невозможную буку,
 тихо бубнящую: *веди да буки...*
 В снежном сугробе под окнами – *днесь* –
 и понимаю:
аз есмь...

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

ЮЖНАЯ МАСТЬ

Я стих вычищаю, как дом,
Поскольку пишу для себя.
В стремительном беге своём
Наивные грёзы губя,

Проносится время.
– Постой! –
Прошу я, – на миг задержись,
Дай строчку закончить!
– Не ной!
Жить хочешь – быстрее шевелись.

И, целое мелко дробя,
Вперёд продолжает бежать.
А я всё пишу *для себя*,
Чтоб в беге его устоять.

Неумолимо своё беря,
Мыслью стуча в мозгу,
Всё-таки время идёт не зря,
Если понять могу:

Главное это ведь не стихи,
Главное – налегке
Жить, без обмана и шелухи,
Сердце неся в руке.

Сколько бы лодка ещё о быт
Ни разбивалась, всё ж
Путь держать весело, без обид,
Превозмогая дрожь

И повторяя, как дважды два,
Прежде, чем выйдет стих:
Главное это ведь не слова,
А наполненье их.



Всё меньше нужно слов,
 Чтоб главное сказать.
 Всё реже слышен зов
 Божественного горна.
 Должно быть, это знак,
 Суровый, как печать,
 Что жизнь разделена
 На плевелы и зёрна.

Уже разделена,
 Уже доведена,
 Как выдержанный слог,
 До чёткости звучанья.
 Всё сдержаннее речь,
 Всё дальше та весна,
 Когда шумел поток,
 Не зная окончанья.

Всё минует – ожиданья,
 Чувства на износ.
 Год-другой – и ты за гранью
 Чаяний и слёз.

Пеленою равнодушья
 Взгляд заволочёт,
 Жизнь с побудкою петушьей
 Мимо потечёт.

Тишина смирит ненастье,
 Встанет над тоской,
 Составляя разом счастье,
 Волю и покой.

Влага пенная не бродит,
 Позади страда.
 Может, так они приходят,
 Лучшие года?

Я немного завидую
 тем, кто умеет жить:
 и везде успевать,
 и уютные гнёзда вить;
 и себя подавать –
 мол, смотрите, не хуже вас.
 Я не то чтобы хуже,
 просто в который раз
 неуместность чувствую,
 как на чужом пиру,
 и слетевшее было слово
 назад беру.



И молчу,
потому что не о чём говорить.
Что о жизни тот скажет,
кто не умеет жить?

Умасьешься, скиснешь,
Все свечи задуешь.
Но всё ещё мыслишь,
Ещё существуешь.

И думаешь часто:
Зачем так случилось,
Что кануло счастье,
Что жизнь прохудилась,

Как старая лодка?
Средь грозной пучины
Плывёт, сумасбродка,
Без всякой причины.

Без всякой надежды
На светлое завтра,
Но всё ещё между
Тоской и азартом,

Холодным рассудком
И творческим пылом.
С земным промежутком,
Нескладным, немилым,

Прощаюсь помалу,
Но всё ещё ною
По шумному балу
С его суетою.

Я отсюда, отсюда, из южной земли!
И зачать и родить только здесь и могли
то, что мною зовётся;
то, что мается, плачет, смеётся,
в небо рвётся,
томится в земной колее,
но всегда и везде познаёт бытие,
как упрямый, дотошный школяр.

Это южная масть,
Это вьюжная страсть,
Это солнца полдневного жар!



Это я.
 Это я?
 Вроде строчка моя,
 но о чём и зачем я пишу?

Неуютно вокруг,
 жизнь, как птица из рук,
 ислеквав, измотав, вырывается вдруг.
 Не за ней – за познанием спешу.

Сын читает книгу электронную.
 Я вздыхаю: шелест, мол, и хруст
 Тех страниц, их шёпоты бессонные,
 Где они?
 Так мир наш дик и пуст,
 Словно нас Вселенная отринула.
 Исчезает книжная строка!..
 – Ладно, мам, что сгнуло, то сгнуло,
 Я скачаю Моэма пока.
 Прерываю речь свою коронную,
 Понимаю, жизнь не идеал.
 Пусть читает книгу электронную,
 Пусть любую, только бы читал.

*Нам не дано предугадать...
 Гюгчев*

Увы, не гарантия это,
 Не стоит уверенным быть,
 Что если читает он Фета
 И может о Блоке судить,
 То значит, в добре преуспеет
 И злом не прельстится вовек.
 Не знаем мы, что одолеет,
 Он разный, земной человек.
 И разные ждут испытанья
 Некрепкую душу его.
 Но если своё обаянье
 Однажды явит божество –
 Хоть в строчках поэмы известной,
 Хоть в мине какой-то иной, –
 Душа к этой выси небесной
 Метнётся от слизи земной.
 Пускай на одно лишь мгновенье,
 А после опять суета.
 Но ветра того дуновенье,
 Но образов тех красота
 Едва ли минуют бесследно,
 Кольнув золотою иглой.
 Что искренне, что исповедно,
 То встанет над ложью и мглой.



А как уж потом отзовётся,
То времени скрыто рекой.
Но Фет всё музыкаю льётся,
Но Блоку всё снится покой.

Люблю в вечерний поздний час
По улице пустой
Пройтись. Вульгарный новояз
С базарной суетой
В такую пору не слышны,
Их будто вовсе нет.
Весь мир во власти тишины,
И звёзд далёких свет
Не устаёт ему светить,
И ясен лик Творца.
И веришь: так тому и быть,
Без края и конца.

АЛЕКСАНДР ХИНТ

JAZZ

Беспросветная мышь видит лаборанта насквозь.
По средам Иосиф С. воскресает для мести.
В углу Вселенной собака грызёт не кость,
а некую вневременную идею места,
что старая пропасть – лишь участок пути,
и тот, изначальный свет, добывается трением.
Девочка держит не шарик, а его прототип,
но и он улетает от легчайшего дуновения времени

«МОЛИТЕСЬ!»

Держу в руках журнал: девятьсот семнадцатый год,
апрельский номер. Главный редактор Вал. Брюсовъ.
С тяжёлыми ятями, тусклый запах распада.

Внутри ещё не разрезанные страницы.

Судя по оглавлению, там есть статья
собственно Брюсова Вал., о дальнейшем поиске
литературной формы в новейших условиях,
а также большое эссе от Карла Каутского
о балансе силы в среде социал-демократов.

Можно увидеть эту деталь бесконечности.

Их вызывает начальник отдела Безвременья.
Не очень спокойно, но в меру доброжелательно,
он говорит: «Чтоб разрезать неразрезаемое,
чтобы найти безвременного читателя
времени мало, примерно девять месяцев.
А не найдём, так в апреле две тыщи семнадцатого
проект заморозят. Примерно и без содержания.
Лида! подай кипяток и три подстаканника».

Каутский курит. Он визуально избыточен,
трёт очки и, сутулясь, ходит по комнате,
роняет бумаги со сносками и цитатами.
Стекла дрожат, вода в графине колеблется.
Он убедителен: «Что я, рожу вам читателя?»

А Брюсовъ Вал., главный редактор журнала,
молчит, негромко поглаживая бородку,
он думает о дальнейшем поиске формы



Человек без года рождения, сминая флягу,
доходит до места, где из кресла торчит голова,
инвентарный одиннадцать дробь тридцать два,
достает из неё слова,
клеит их на бумагу.

В зеркало он наблюдает: бумага терпит,
её реквизиты и подписи в виде терний,
но силы уже на исходе,
она измята.

Человек по имени Годен
нарезает её металлическими руками.
Голова сообщает: «Снято».
Зеркало отвечает: «Камень»

...ну а так, говорил он, конечно,
если был бы он капитаном
и действительно вышел в отставку,
чуть седой, с гарцующей тростью,
с обожжённой бриаровой трубкой,
после ужина в топь кальвадоса
дольку свежей луны добавляя,
он бродил бы вдоль побережья,
вдоль сетей, перевернутых лодок,
деревянных смолистых причалов,
мимо пьяного увеселенья
или парочек уединённых
и малиновых аква-закатов,
что послойно впечатаны в лето.

Он имел бы цветастую птицу,
полметрового попугая,
или – нет! с ним бы жил броненосец
из Гаити или Суринама,
что получен за сломанный глобус
и бутылку рябиновой водки –
он назвал бы его Потёмкин
и выгуливал вдоль прибоа,
от бродячих псов охраняя;
он спускался бы с ним прямо к морю
по одной из прибрежных лестниц,
пропуская мамашу с коляской,
старичка, детей любопытных.

А уже перед сном, на террасе,
набивал бы последнюю трубку
и смотрел, как его напарник
молоко допивает из миски,
как всегда, над ней замирает,
вспоминая другое небо,
Суринама или Гаити,
и озёрные глади, и сельву,
или вязкие сны Амазонки,
и единственная цикада
разносила бы вдребезги сад



...ну а так, говорил он, конечно,
мы посмотрим, что можно сделать,
заходите с обеда во вторник,
или в среду с утра, или в полночь,
мы во всем не спеша разберёмся
осторожнее! низкий порожек

ОТСУТСТВИЕ ОСЕНИ

В роднике занавески от летнего света осталось
настроение отличать её запыленную слабость
к галогенному телу луча от прочих известий.

От карминного сада – звенящие простыни, оспины
листопада, осипшего яблока горечь помады
и отсутствие осени.

От зимы в платяном шкафу – голубая пыльца
на скелете гонца, у него есть вчерашний ответ
и другие, гораздо свежее, и все – неверные,
как забывшие тень шурави, спотыкаясь о время,
оползают на зебре бархана, ремни передвинуть,
огнивая увязших в песке, стараясь в затылок.

От весны у весны – наваждение, скользкая рана
на разливе небесных полей,
оловянный припев журавля,
незнакомые птицы в пустом рукаве февраля,
закрывающий брод Водолей и его боковое зрение

JAZZ

Чтобы застримить сегодня распятие недостаёт удачного случая, твёрдого глаза, плавного профессионального жеста

Хочешь поиграть джаз? бери ложку джема и слушай, ибо есть совершенное как приговор совершенству, и в обрест здравомыслия просто бежать в узде, даже если на ипподроме всевышней милости ещё попадаешь, куда никому не снилось, без АСД, и не прекращается беспилотный пасьют, соколом из пращи, белой змеей на всплывающий камень, а любовь возможна, мой славный, но лишь с плавниками, как вильнул пескарь заблудшему карасю

Но икра неуклонно уходит дальше от устья, где в прибрежных спорах рождается только порох и глаза виртуальных кукол бессмысленней снега на Боро-Боро, а пустой колчан – синоним немереной глупости, и пока двойники швыряют побитовый уголь в помещение, где вдохновенно блестит кочегар, серым клонам не уготовано разродиться искренней буквой, впрочем, чем черней оперенье, тем бодрее ритмичный кар

Да и что пенять подневольным, они созрели в свинцовой гари эстетических профанаций, заикаясь от информации, голосил двухметровый глашатай: «В своих же пробирках горите, твари!», а толпа, собирая дыхание, полировала солнце на бирках, в декабре холодной ставриды, зато прошлым летом дешевле лангеты, не живые кометы, не метеориты, поклон требушет от соседней планеты

И значит, не стойте на месте увечий, планируйте по росе, я не буду сплетать языки в наречия, внятные только вам, как последний словарь из песка сотворяя слова у Реки, где приснилось крылу птерозавра оторваться на всё, и надежда даёт безошибочный курс запоздалым, как верней разбиваться о скалы у родных берегов, на чужих островах захлебываясь любовью, чтобы было кому сказать: «Возвращайтесь в Трои! сегодня не бьемся больше... приберите павших», где и смерть ещё не была барабанным боем в ушах петрашевца, а лишь непонятной игрой, и легко звенела на обочине соседней пашни, как побочное следствие плавного профессионального жеста



Тень трагедии говорит «воскресенье»
и одевается в порции света
медленно, как на чужом новоселье
не усидеть до конца уикенда.

И, вдоль партера снимая заслоны,
дрогнут ресницы, ощерятся щели,
чтобы вобрать мизансцену дословно.
Что понимает об этом пришелец?

Это тасуются древние роли.
Реплика хора прольётся на связки,
выдать Эсхилу эсхилово, сольно.

В ритме галеры есть нота развязки,
и Эврипид не узнает за ширмой,
что, чертыхая финальные звуки,
Бог появляется из-под машины
и вытирает ветошью руки

Сядем за длинный стол.
Достанем из-за пазухи камни.
Выложим на столешнице улицы и проспекты.
Затеплем огни и жерла действующих пепельниц.
Выбьем одним ударом пробки из водопадов.
Огарок луны возденем в первобытное небо
и, повторяя молитву, что усмиряла кометы,
в Доме Семи Галактик составим обычную гамму,
поскольку соседи за стенкой никак не уложат девочку.

Поскольку моря наполняются, будто словами песни,
пергамент ладони – зерном, и земными грехами трагедия.
Поскольку стрела и струна – аргументы обратного действия,
сухое всё доливают в бокалы сухое «намедни».

Оно ещё бродит по книгам, на чердаке поколений
канканы пылают в обнимку с египетским божеством.
Соседка за стенкой всю ночь тихо молчит колыбельную,
и клянётся в любви до гербария лабораторная фрезия,
которая знает, когда они сядут за длинный стол

АННА СТРЕМИНСКАЯ

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

*Вошла ты, резкая, как «nate!»
В. Маяковский*

Поговори со мной о счастье,
поговори со мной о доме,
где пряно пахнут ваши сласти.
Дорога к дому так знакома...
Хоть я ни разу не была там –
там счастье по утрам клубится,
и ставит на полу заплаты
свет и расцвечивает лица,
и зажигает все букеты
на всех столах в весёлых вазах,
и где подслушивает лето
за завтраком твои рассказы...
А лица детские сияют,
и твой любимый варит кофе.
Писать стихи не нужно, зная,
что жизнь сама слагает строфы
о том, как светятся на солнце
льняные кудри, шерсть собаки,
что жизнь однажды пронесётся,
но как она пьянит, однако!
Вошла я, резкая как «Здрасте!»,
чужою радостью влекома.
Поговори со мной о счастье,
ведь я с ним лишь едва знакома...

Я живу в коридоре между затмением солнечным
и затмением лунным.

Он похож на коридор коммунальный –
обстановка в нём нервная и напряжённая.
Коридор завален всяческим пыльным хламом:

грехами, кармическими долгами, гештальтами
незакрытыми,

тарелками, в гневе разбитыми...

В этом пространстве атмосфера настолько плотная,
что её можно резать ножом,
она настолько наэлектризована, что постоянно
бьёт током.



Близкие люди готовы убить друг друга,
многие совершают поступки, которых
сами от себя не ожидали.
В голове у каждого то солнечное затмение,
то лунное,
лунное, а потом снова солнечное...
Как хорошо, что это только коридор,
а не гостиная, не кабинет, не спальня
и не постоянное место жительства...

Зверь бежит за другим зверем:
– погоди, стой!
Мне нужно твоё мясо, твоё горячее сердце.
Ведь я так хочу жить!

Рыба плывёт за другой рыбёшкой:
– погоди, мне нужно твоё прохладное,
серебристое тело.
Мне нужно тебя проглотить –
я ведь так хочу жить!

Комар летит, поёт песню
комариною...
Садится на чью-то нежную кожу.
– погоди, дай мне напиться!
Дай мне разбухнуть от крови
твоей сладчайшей.
Капелькой крови я буду лететь и петь
гимн нескончаемой жизни...

Человек идёт за другим человеком:
– погоди, стой! Я жажду твоего тела.
Мне нужна душа твоя, исполненная любви.
Мне нужен твой смех, твой голос, твои глаза...
Мне нужны твои дни, твои ночи, уютные вечера...
Мне нужен твой ум, твои знания, опыт,
твое внимание и твоя забота...
Твой дом и деньги, твои вещи,
картины, книги...
Твой мозг, печень, сердце и селезёнка,
твоё мясо и твоя кровь.
Твоя жизнь мне нужна и даже твоя смерть.
Ведь я так хочу жить, я так хочу
быть счастливым!

Зина собирает календарики
– это её главное хобби.
Она приходит с базара и
её встречает собака Тобик.
После ужина Зина зевает
и перебирает листочки времени.
И после этого засыпает,
в счастье своём уверена...



Ведь она – владелица времени
 с пятидесятих и вплоть до наших дней.
 Кошка Джесси трогает гребень её
 и календарики в коробке из-под бигудей.
 А снятся всегда ей даты и годы:
 18-ое апреля, 24-ое марта, 10-ое октября...
 Даты свиданий, дни прекрасной погоды,
 дни её личных праздников –
 жизнь прожита всё ж не зря.
 Ей снится товарищ Сталин и ласковые усы его,
 и как он ими тихонечко шевелит.
 Они превращаются в змей, и из логова змиева
 выходит она, прекрасная, как Лилит.
 И Белка со Стрелкой из ракеты ей машут лапами...
 А вот она строит БАМ, молодого задора полна.
 Вот она в подвенечном платье и мамы с папами
 желают им счастья. Далеко позади война...
 Зина спит и не чувствует бремени
 лет. Лунный луч освещает робко
 календарики – календулу времени,
 что цветёт у неё в коробке.

Стаи жар-птиц полетели уже над домами,
 коль перелётов настало тревожное время.
 Только оставлены стаи совсем вожаками –
 мечутся птицы, как в панике дикое племя!

Падают мёртвыми – их замечает метлою
 строгий сосед наш Василий, куря папиросу...
 И намечает холмы золотые порою,
 и поджигает, мешая поэзию с прозой.

Дым погребальных костров поднимается в небо.
 Запах осенних цветов так же резок и горек...
 Смотрит на это прохожий, и кто бы он не был,
 в душе у него разливается серое море.

Над куполами соборов – чёрные клинья
 движутся чётко, и так повелось изначально:
 чёрные птицы – на юг золотистый и синий.
 Жёлтые птицы – в костры от слепого отчаянья!

Церковь, базар, кладбище, психбольница...
 В нашем районе всё есть, что нужно народу.
 Над базаром часто летают разные птицы,
 кошки с собаками здесь живут в любую погоду.

Церковь Рождества Богородицы с серебристыми куполами –
 маленькая церковь, настоятель – отец Григорий.
 Там привлекают людей простыми, как соль, словами.
 Вы – соль земли – говорят – забудьте про боль и горе!



Иногда приходят в церковь больные
из расположенной недалеко психбольницы.
Они чертят в воздухе знаки чудные,
гоняют бесов, что им мешают молиться.

А на кладбище – как Бог наказал:
там сирень и ангелы, там тихо и сладко спится.
Кладбище, церковь, психбольница, базар,
церковь, кладбище, базар, психбольница...

*Одиночество, зовам далеким не верь
и крепко держи золотую дверь.
Там, за нею, желаний ад!*
Р.М. Рильке

Почему я не ветер, не море, не свет, не огонь,
не гора, не сосна, не олень или птица?
Точно знает, как жить этот радостный скачущий конь.
Бег – молитва его, он не может ничем соблазниться.

Но я – женщина, я – человек. Я – арена борьбы...
И души уязвимая ткань истерзалась страстями.
Как поймать путеводную нить непонятной судьбы,
не увлекшись уютом чужим и чужими сладостями?

Рой желаний летит на меня и изжалит тотчас,
как поддамся я звукам призывным дурманящей флейты...
Что под силу отшельнику, то невозможно для нас?
Золотую способен удерживать силою дверь ты?

А любви запретной так сладко и горько питье,
вдохновенье в нём бродит, рождая стихи незаконно...
И ломаются двери, и ломится в наше житье
безрассудный, тревожный, пугающий мир законный.

Но когда одиночество снова вступает в права,
обретаю я храм в своём сердце и рай в тишине.
Только самые точные тихо ложатся слова
на бумагу, и тайные смыслы приходят ко мне.

И тогда я свободна! И снова спокойствия снег
засыпает жилище моё и искрится как сон.
А снежинок полёт, как секунд нескончаемый бег...
Отчего я не ветер, не море, не свет, не огонь?

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

ВЕЧНАЯ ВЕСНА («Primavera») рассказ

1

В то утро солнце выкатилось из вод реки Арно раньше, чем в предыдущие дни, словно влажно-туманная средиземноморская зима решила не омрачать праздник и улетела на север. Первый луч вспыхнул на шпиле собора, затем принялся резвиться в путанице узких улиц и, наконец, залил ослепительным светом брусчатку площади Пьяцца дела Синьория.

Флорентийцы обычно в этот час уже спешили в свои кузницы, мануфактуры, складские помещения, торговые ряды, ювелирные мастерские, винодельни. Но сегодня воскресенье, и все не прочь были бы лишний часок понежиться в постели или за бодрящим кофе. Но если бы кто-то мог оглядеть город с высоты птичьего полёта, тот сравнил бы его с разворошённым ульем. Народ суетился в тесноте дворов, рынок кипел, на балконах вывешивали знамёна. Крики, конское ржанье, смех, рулады трубачей... Людские ручейки стекались к главной площади, где иные заняли места ещё с вечера.

С высоты птичьего полёта можно было бы увидеть, что город взят в кольцо сотнями разноцветных палаток и просторных навесов. Там разместились окрестные феодалы с чадами, домочадцами и обслугой. По дорогам скакали, подгоняя лошадей, рыцари с лёгким вооружением, бродячие менестрели, трубадуры и просто любопытствующие.

Сегодня, 28 января, состоится главное событие 1475 года – рыцарский турнир. Вообще-то турнирами никого было не удивить. Но нынче в нём участвует не кто иной, как Джулиано Медичи, младший брат Лоренцо Великолепного, правителя могучей, процветающей республики Флоренция!

Сам Джулиано почти не спал, но ровно в пять уже был бодр. Он не знал соперника, но про того говорили, что он опытный вояка, что столь же силен, сколько хитёр. С ним надо быть начеку каждую секунду! Но на стороне Джулиано – молодость, сила, ловкость, приобретённая в многочисленных состязаниях и, главное, – неукротимая жажда победы.

Неслышно подошёл улыбающийся Лоренцо и приобнял брата:

– Не делай воинственную физиономию, всё равно под забралом никто не увидит. Ты выйдешь победителем, я уверен! Медичи всегда сопитом! Лучше шепни-ка мне по секрету, кого ты выберешь Дамой своего сердца? Думаю, пухленькую Феличе Ризетто?

Джулиано отмахнулся. Братья были похожи – узкие лица, брови вразлёт, прямые волосы цвета воронова крыла. Только мягкие черты Лоренцо природа несколько заточила и заострила у младшего брата.

В это же самое время недавно вошедший в славу художник Сандро Боттичелли дописывал, как в лихорадке, штандарт, под которым Джулиано должен выехать на ристалище. Кто же знал, что поставщик не привезёт к сроку охру? А она – основной фон штандарта. Хорошо ещё, что чуть не месяц он с подмастерьями не вылезал из мастерской, и гербовая накидка для Джулиано и расписная попона для лошади были готовы. Сандро наносил последние мазки краски на фигуры, но его занимало только одно – сможет ли он приблизиться к своему идеалу – несравненной, непостижимо прекрасной даме? Её он изобразил на штандарте в виде Минервы в белом платье.

В это же время в доме с мраморным фронтоном финансиста Марко Веспуччи царило всеобщее возбуждение. Ещё бы – двойной праздник! День рождения супруги хозяина, Симонетты, которой исполнилось двадцать два года, и грандиозный рыцарский турнир с участием брата Лоренцо Медичи! Прислуга с ночи была на ногах. Раскрасневшиеся от жара и ответственности повара колдовали над изысканными угощениями; швеи и прислужницы обметывали последние петли и пришивали золотые канты к великолепному пурпурному платью виновницы торжества.

Симонетта тоже давно не спала. День сулил столько радости! Марко рядом не было. Она, не зовя горничную, легко выскользнула из розового шёлка, накинула расшитое лилиями домашнее платье и вышла в зал.



Там кофейничали синьор Гаспар Каттанео, управляющий банком Медичи в Генуе, и его супруга Катто-чия – родители именинницы. Они не могли остаться в Генуе в такой день! Симонетта расцеловала их, и мать преподнесла ей красную бархатную коробочку. В ней ожидало своего часа жемчужное ожерелье от лучшего генуэзского ювелира. Не успела дочь выказать свой восторг, как в зал вошёл запыхавшийся Марко, держа в руках атласный, цвета апельсина, футляр. Он надел на хрупкую руку жены изящный браслет в виде змейки – от лучшего флорентийского ювелира. Подтянулись с поздравлениями другие родственники. Последним робко поздравил Симонетту странноватый, замкнутый троюродный брат Марко по имени Америго (кто мог знать, что именно он через три десятка лет прославит род Веспуччи открытием Америки?).

Стрелки городских часов приближались к десяти. Уже были заполнены ложи, сооружённые по периметру площади и разделённые на две части, каждая из которых имела эмблемы противоборствующих участников турнира. В передних рядах рассаживались знатные дамы в роскошных, соперничающих друг с другом платьях и головных уборах из ярчайших шелков, и высокородные аристократы в камзолах из прославленного тончайшего флорентийского сукна. Воистину, это был не только рыцарский турнир, но и праздник моды с его блеском и интригами. В центральной ложе в величественной позе ожидал начала праздника Лоренцо Великолепный в красной мантии, отороченной мехом горностая, по обе стороны от него – жёны обоих братьев, одна в платье цвета ранней осени, другая в белоснежной кружевной накидке.

Ровно в десять торжествующие голоса труб возвестили о начале турнира. На ристалище вышли оруженосцы и конюхи, ведущие фыркающих от нетерпения лошадей. Ещё один сигнал – и с разных концов площадки выехали соперники. Они были с головы до ног в сверкавших доспехах. Колыхались перья на вершинах шлемов, развевались расписные накидки. Рыцари издали приветствовали друг друга поднятием мечей.

Вот соперники сошлись, и каждый бросился в атаку... Их короткие мечи высекали искры. Тяжёлые латы звенели от ударов. Лошади вставали на дыбы... Толпы противостоящих друг другу болельщиков вопили, прыгали, размахивали знамёнами. Сражение длилось довольно долго. Ни один рыцарь не мог выбить меч из рук соперника. То один, то другой временами чуть не падали, и тогда толпа оглушительно ревела, подбадривая их. Наконец соперник Джулиано пал на землю, поверженный. Брат правителя Флоренции одержал победу!

Теперь настал момент, которого горожане ждали долгие месяцы. Победитель должен был назвать имя Дамы сердца, которой он посвящал свою победу.

Джулиано выждал секунду и громкогласно провозгласил:

– Симонетта Веспуччи!

Толпа заколыхалась, ахнула.

– Встань! – подтолкнула счастливицу мать.

Королева турнира встала – высокая, стройная. Народ жаждал разглядеть её! Да, она, конечно, Симонетта Веспуччи – первая красавица Флоренции. Она ослепительна! Пурпурное платье открывало её мраморную шею. Лёгкий румянец оттенял белизну лица. Волосы над высоким лбом, перевитые жемчужными нитями, струились золотым потоком.

Симонетта смущённо улыбалась. Сердце её куда-то провалилось, в висках стучала кровь. Только в этот момент ей стало ясно, почему турнир назначен на 28 января – день её рождения! Конечно, по воле Джулиано. Ей всегда было неловко под его жгучим взглядом. Что сулило ей такое признание? Она не знала и была в смятении.

Джулиано издал восторженный вопль, раскинул руки, приветствуя сограждан, и направил коня к ложе Веспуччи. Для него главной целью была победа в турнире. Прекрасная Симонетта должна увидеть его в блеске рыцарской славы! А там... Разве кто посмеет отказать Медичи?

Прекрасная дама бросила ему кружевной платок.

Лоренцо Великолепный встал, приветствуя брата, но тоже был в смятении. Даже скрипнул зубами, стараясь не выдать обуревавших его чувств. Он сам был тайно влюблён в красавицу. Но раз её выбрал брат, он смирится!

Жена Джулиано делала вид, что снисходительно относится к ритуалу. Ведь он ничего не значит! Но сквозь улыбку проступали её слёзы.

Марко Веспуччи в одно мгновение взвесил обстоятельства. Как муж, он мог выказать недовольство. Но как сотрудник крупнейшего банка, принадлежащего Медичи, он мог из-за этого лишиться всякой надежды на продвижение. Марко выбрал второй вариант и натянуто улыбнулся. Однако его родственник Антонио считал случившееся величайшим позором для Веспуччи и в бешенстве сжимал рукоятку меча.

Художник Боттичелли был в беспамьятстве от радости. Он не ошибался, считая непревзойдённой молодой женщину, ставшую королевой турнира. Она – земное воплощение идеала красоты, созданного на небесах! Нет, Сандро и не помышлял о Симонетте как о предмете страсти. Он взирал на неё с благоговением, словно на божество.

В одном квартале от скромной церкви Всех Святых (Онъиссанти) на узкой улочке в центре Флоренции расположились два дома. Один, кичащийся своим богатым убранством, принадлежал родовитому аристократу, банкиру Пьеро Веспуччи. В другом доме, несколько уступавшему по величине дому соседа, проживала семья богатого торговца Мариано Филиппеи. Старший его сын пошёл по стопам отца, средний держал ювелирную мастерскую. А вот с младшим, Алессандро, была морока. Отец не жалел денег на учителей по всем предметам, которые обычно преподавались юношам перед тем, как они станут за прилавок. Сандро быстро всё схватывал, но не хотел ни читать, ни писать. Цифры приводили его в ужас. Вообще он слыл чудаковатым. Он то подбивал сверстников на проказы, то бродил в одиночестве по набережным перерезавшей город реки Арно. Мечты уводили его от скучной торговли в мир приключений и подвигов.

Отец сердился:

– Сумасбродная твоя голова, в кого ты такой никчемный? Но больше я нянькаться с тобой не буду! Пойдёшь в подмастерья к моему куму.

– К пузатому? Не пойду!

Чуть не силой усадили мальчишку за ювелирный стол в мастерской Сильвестро, прозванного за необъятный живот «Боттичелли», что значит «бочонок». Прозвище незаметно прилипло и к новому ученику, под ним и вошёл в историю искусства мастер Филиппеи.

Сандро не любил возиться, горбясь над низким столом, с мелкими деталями женских прикрас. Он убегал к подмастерьям живописной мастерской, что открылась неподалёку. И однажды сам взял жирный чёрный карандаш.

Кто тогда мог понять, что в простецком паренёке прорастает гений?

Товарищи просто увидели, что Сандро с лёгкостью изображает на листе композиции, над которыми они бились часами. В скором времени рисунки Сандро стали расхватывать другие художники, чтобы показывать их своим ученикам как образец.

Юноша набрался смелости и сказал отцу, что хочет всецело отдаться живописи. Как ни странно, отец отнёсся к желанию сына серьёзно. По совету соседа Веспуччи он отдал его на обучение к модному художнику Филиппо дель Кармине. Уже вскоре учитель заметил, что Сандро обгоняет всех остальных учеников и стал уделять ему больше внимания, а затем – брать с собой в богатые дома и общественные здания расписывать стены.

Через некоторое время Сандро достиг неожиданной высоты. Теперь его стали называть полным именем – Алессандро ди Мариано Филиппеи. Но для друзей он так оставался «бочонком». Он стал получать заказы от семейств, церквей. В церкви Сан-Спирито, в монастыре Сан-Барнаба он написал картины, которые привели всех в восторг совершенно живым видом изображаемых святых, утончённостью, подбором цветов.

Синьор Веспуччи заказал Боттичелли фреску на двери, ведущей на хоры, в той самой церкви Всех Святых, где обе соседствующие семьи были прихожанами. Он писал изображение святого Августина. На противоположной стороне писал святого Иеронима знаменитый Гирландайо. Художники не ставили цель состязаться в мастерстве, но знатоки живописи спорили, разделились на два лагеря, кто из живописцев лучший. В результате не отдали предпочтение ни одному из них. Все назвали произведения прекрасными: «Они выше всяких похвал!».

Горожане с одобрением принимали каждую новую картину Боттичелли, несмотря на то, что рядом с ним творили лучшие живописцы своего времени Ридольфо Гирландайо, Джорджо Вазари, Фра Бартоломео. А он творил с нарастающей силой. Создал целый сонм Мадонн, святых, ангелов, библейских сюжетов. К двадцати шести годам он обзавёлся собственной мастерской и учениками, которым доверял писать второстепенные детали на картинах. Однако оставался Сандро таким же – мечтательным, несколько отрешённым. Но и дружеских застолий не чурался. Лучшим же времяпрепровождением он считал беседы со своим другом Анджело Полициано, молодым, но уже известным своими философскими и поэтическими сочинениями. Анджело тоже попал под обаяние Несравненной. Однажды прочёл другу своё посвящение ей:

*Она бела и в белое одета,
Убор на ней цветами и травой
Расписан, кудри золотого цвета
Чело венчают робкою волной...
В ней кротость величая царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы.*



Анджело и не подозревал, какой пожар вспыхнул при его словах в груди Сандро!

Художник был хорош собой: крупные выразительные черты зрелого мужчины, прямой открытый взгляд, чувственный рот, ореол чёрных волос до плеч по тогдашней моде. Когда он ходил по улицам в развевающимся по ветру плаще, на него заглядывались и простолюдинки, и знатные дамы. Он был не прочь разделить ложе с какой-нибудь из них, но сердце его оставалось холодным.

В пору своей растущей славы Сандро увидел Симонетту.

До этого он слышал, как соседи судачат о том, что синьор Веспуччи женил своего сына, шестнадцатилетнего Марко, на дочке генуэзского банкира. Года через два молва донесла до него известие, что супруги переезжают во Флоренцию.

В день приезда все жители соседних домов высыпали на улицу, чтобы увидеть молодую пару. Сандро удалось пробиться в первые ряды, и он увидел, как по ступенькам кареты спускается золотое облако. Оно опустилось на землю, споткнулось и рассмеялось. Только тогда Сандро разглядел, что это девушка такой красоты, какой он не видел отродясь. Да и среди всех земных женщин не могло быть ей подобной, потому что она божество! А божество, смеясь, взглянуло прямо в глаза Сандро – и стрела Амура пронзила его сердце!

На следующий день художник был приглашён в числе прочих гостей на пир, который правитель Флоренции устроил на вилле Кареджи в честь высокочтимых Веспуччи. Он видел, с каким восхищением смотрят на Симонетту мужчины. Даже Лоренцо не спускал с неё глаз, а более эмоциональный Джулиано при первой возможности уселся рядом с гостями.

– Помнишь, Марко, – возбуждённо говорил он, а сам разглядывал его супругу, – как ты в том давнем турнире перевязывал мне раненую руку? Я друзей не забываю, так что во Флоренции вам будет хорошо. Но скажи, друг, где ты нашёл такое сокровище?

И поцеловал Симонетту в обнажённое плечо – якобы, по-братски.

Боттичелли тоже не сводил с неё глаз. Ему нужно было погрузиться взором в дивную красоту, поместить её образ внутрь себя, чтобы потом перенести его на бумагу. Но не только художник говорил в нём. Сердце его прыгало, отдаваясь звоном в ушах. Он понимал бессмысленность своих желаний. Но кто запретит любоваться солнечным лучом, морской волной, трепетом листвы?

Симонетта, отпив пурпурного вина и оттого раскрасневшись, болтала с сидевшими рядом дамами. Она мило улыбалась, бросала лукавые взгляды на мужчин, сознавая своё очарование. Она и в самом деле была хороша. Совсем не похожа на итальянку! Кожа её в глубоком вырезе тёмно-зелёного платья светилась изнутри молочным светом, как у прищелицы с далёкого севера. В её рыжих косах, перехваченных сеткой, вспыхивали золотинки. Сандро представил, как золото её распущенных волос растекается по белоснежным плечам... Высокий чистый лоб, носик чуть вздёрнутый. Капризно изогнутые губки, нижняя чуть выдаётся. Едва заметная ямочка на подбородке...

Сандро ушёл рано. Он поспешил в мастерскую. Ему доставляло наслаждение воссоздавать на бумаге хранящийся в памяти облик Прекрасной дамы. Как будто она, живая, желанная, стоит рядом.

3.

В день шестнадцатилетия отец объявил Симонетте, что выдаёт её замуж. Он и высокородный синьор Веспуччи договорились о браке его сына Марко и Симонетты. Марко – её ровесник, юноша серьёзный, уже работает в банке Медичи.

Отцу и в голову не пришло узнать мнение дочери, и это её не обидело: так принято. Брак в те времена расценивался обществом только как взаимовыгодная сделка. Через женитьбу или замужество кто-то обогащался, кто-то занимал высокую должность, кто-то входил в аристократическое семейство. Любовь в расчёт не входила.

Симонетта видела Марко несколько раз, но внимания на него не обращала. Запомнила только, что он приземистый, широкоплечий. Она вообще никого не замечала. Ей нравилось только бегать с подружками по саду.

– Бегом домой, стрекоза! – кричала с крыльца мать. – Нужно закончить вышивку для подарка синьоре Клавдии!

– Ненавижу вышивать! – раздавался звонкий голосок дочери из зарослей самшита.

Конечно, сердечко её билось при виде красавчика-менестреля, который частенько тайком пробирался в сад, играл на лютне и распевал под её балконом:

*Длиннее дни, алей рассвет,
Нежнее пенье птицы дальней,
Май наступил, спешу я вослед
За сладостной любовью дальней...*



Однако девушка прекрасно понимала, что выйти замуж ей придётся по воле родителей. Она приняла замужество как данность.

Переехав во Флоренцию и благодаря покровительству Медичи, Симонетта быстро вписалась в компанию знатнейших дам. Она охотно принимала приглашения на бесчисленные балы, праздники, увеселительные прогулки и семейные торжества.

Симонетта увидела Флоренцию в пору высшего расцвета богатства и славы этого города. «Цветок Тосканы», как называли её, резко обогнал другие города Италии. Правление династии Медичи принесло развитие ремёсел и производств. Первые в Европе мануфактуры выпускали такие ткани – от сукна до легчайших шелков – что торговля ими приносила в казну баснословную прибыль. Козимо Медичи, основатель династии, сумел создать банк, отделения которого стали «кровеносной системой» многих европейских и восточных государств.

Лоренцо Медичи не унаследовал красоту матери, но унаследовал мудрость Козимо, который вложил во внука свои принципы управления государством. Лоренцо, благодаря уму, знаниям, удаче в военных походах сделал из Флоренции процветающую республику, государство всеобщего благоденствия. Власть заботилась о сырых и убогих. Народ участвовал в решении серьёзных вопросов, хотя последнее слово всегда оставалось за Лоренцо. Он был диктатором, но мягким.

Флоренция стала центром итальянского Возрождения, а Лоренцо – покровителем всех искусств. В Академии Кареджи философы обсуждали проблемы мироустройства. Архитекторы одели город в мрамор. Творили величайшие художники Ренессанса – Фра Бартоломео, Джорджо Вазари, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи. Наступил расцвет литературы. Флоренцию прославили Данте, Петрарка, Боккаччо, Полициано, да и сам Лоренцо не был чужд литературного творчества. Благодаря заботе об искусстве Лоренцо Медичи вошёл в историю как Лоренцо Великолепный.

Джулиано, младший Медичи, не испытывал склонности к управлению государством. Его жизнь проходила как череда рыцарских забав и увеселений. Горожане любили его за красоту, отвагу, открытость, весёлый нрав и называли «Принц юности».

Оба брата были женаты на девушках из знатнейших родов Италии. Однако семейные узы не отягощали молодых мужчин. Ведь Джулиано был ровесником Марко и Симонеты, Лоренцо всего на четыре года старше. Да и нравы во Флоренции не отличались строгостью. Поскольку брак рассматривался только как сделка, на любовь «на стороне» смотрели сквозь пальцы. Более того, существовал общественный «Суд любви», осуждавший дам, которые отказывали рыцарю в плотских удовольствиях. Даже такая преграда, как ревность мужа, что иногда случалось, не считалась непреодолимой.

В те времена в рыцарской среде царил культ Прекрасной дамы. О нём слагали баллады трубадуры и менестрели. Каждый рыцарь должен был посвящать свои победы избранной им Прекрасной даме. Не обязательно свободной. Более того, желательно, чтобы она была замужней, тогда любовь приобретала оттенок трагической безнадежности. «Земные» чувства рыцаря были необязательны. А Прекрасная дама могла отвечать ему взаимностью или она желала, чтобы рыцарь служил ей ради самого служения.

Усвоила ли Симонетта правила рыцарской любви? После всем памятного турнира она и Джулиано на людях вели себя по-дружески. В отсутствии Марко, вечно занятого, Джулиано вовлекал его супругу в водоворот дворцовой жизни. Это была бесконечная лента празднеств – таких, какие только могла изобрести фантазия правителя, утопающего в роскоши. Даже самые проницательные синьоры не замечали, чтобы Джулиано позволил себе перейти границы дозволенного. Дамы жаждали насладиться зрелищем того, как несокрушимая крепость Симонеты падёт под натиском страстных чувств всеобщего любимца. А если к тому же вспыхнет пожар скандала – вот будет картина!

Как-то на маскараде председательница Суда любви, синьора Кармелла Лучиано попросила Джулиано отойти с ней в сторону:

– Любезный синьор, мы весьма обеспокоены тем, что рыцарские традиции поклонения Прекрасной даме, похоже, вами не соблюдаются. Или мы чего-то не знаем? Мы хотим насладиться зрелищем романтической любви. Неужели Дама вашего сердца не распахнула своё сердце перед вами? Дорогой Джулиано, мы могли бы вынести ей общественное порицание!

Джулиано от души рассмеялся:

– Любезнейшая, Кармелла, благодарствую за вашу заботу, однако я сам добиваюсь, чего хочу!

Кто знает правду? Флорентийские ночи темны, в домах много потайных ходов, и встретиться возлюбленным, оставаясь незамеченными, совсем несложно. С другой стороны, важные персоны всегда находятся в поле зрения всевидящего ока...

Симонетта купалась в удовольствиях. Она охотно позировала лучшим художникам Флоренции. Но – не Сандро Боттичелли! Тот не осмеливался сделать ей подобное предложение. Он только следил за ней, когда предоставлялась такая возможность, и шпильвал её красоту.

Как-то мать Симонетты заметила, что с некоторого времени дочка стала кашлять. То и дело она подносила к губам полотняный платок. Однажды на нём выступила алая капля! Не медля пригласили



семейного врача. У постели Симонетты он держался, но в другой комнате, обратившись к родственникам, сокрушённо покачал головой:

– Чахотка. Мне весьма жаль, но медицина в этом случае бессильна.

Больная начала быстро худеть, её мучили приступы кашля. Персиковый румянец щёк уступил место бледности. Симонетте не говорили правду, и в редкие минуты облегчения она улыбалась, говорила, что скоро встанет на ноги – ведь весной всё расцветает! Братья Медичи чуть не каждый день навещали её. Лоренцо выписал лучших врачей Италии, но ни один не нашёл целебных средств. Да и самое отчаянное желание не может воспрепятствовать начертанному Судьбой. 26 апреля 1476 года душа Симонетты устремилась в небеса. Было ей 23 года. Всего пять лет блистала она при дворе Лоренцо Великолепного, но все горожане полюбили её.

Флоренция погрузилась в траур. На траурной мессе в церкви Всех Святых проникновенную речь произнёс друг Сандро, профессор университета и поэт Анджело Полициано:

– Мы провожаем простую и прекрасную даму, которая никогда не давала повода к ревности или скандалу. Среди исключительных даров природы она обладала такой милой и привлекательной манерой общения, что те, к кому проявляла она хоть малейшее внимание, чувствовали себя объектом её привязанности...

Смерть Симонетты, как ни странно такое совпадение, оказалась знаком беды для Флоренции.

Вскоре некоторые родовитые семейства начали тайно, потом открыто роптать, возмущаясь превосходящей все моральные пределы роскошью Медичи. Недовольные во главе с родом Пацци вступили в заговор. Среди них были некоторые Веспуччи. Особенно рьяно обличал правителей Доменико Вечпуччи, который считал, что Джулиано на турнире покрыв их семью несмываемым позором.

На одном из богослужений в соборе наёмные убийцы бросились с ножами на братьев Медичи. Лоренцо удалось скрыться, а Джулиано получил удар под лопатку. Он скончался на месте.

Чёрное крыло Судьбы накрыло Джулиано ровно, день в день, через два года после смерти Симонетты.

4.

После похорон Боттичелли погрузился в мрачную меланхолию. Он не разговаривал, не работал. Часами бродил, как в юности, по берегу реки. Но тогда мечты его были светлы. А сейчас, чувствовал он, впереди только пустота и беспросветность.

Прошло два бесконечных месяца.

Однажды порог мастерской Боттичелли переступил отрок. Он был в приличной одежде, держался скромно. Поклонившись мастеру, он робко попросил:

– Синьор Алессандро, возьмите меня в ученики!

В мастерской воцарилась тишина. Сам мастер сидел в задумчивости перед очагом. Два ученика, одного из которых художник подобрал на улице, и другой, которого привела слепая мать, застыли. Они-то знали, что учитель давно не работает, а они вынуждены просто кое-что прописывать на неоконченных картинах.

После долгой паузы Сандро спросил:

– А ты чей?

– Я сын мастера Фра Филиппо.

Сандро вскочил. На глазах его заблестели слёзы:

– Великий живописец, мой любимый учитель, присылает ко мне учиться своего сына! Он ещё верит в меня!

То был день возвращения Боттичелли к прежней жизни. Вернулась энергия, она требовала выхода. Весть об этом разнеслась по городу, и заказы стали сыпаться, как из рога изобилия. К художнику вернулись почёт и слава.

Как-то Боттичелли получил заказ от Шёлкового цеха на изображение в монастыре Сан-Марко венчания Мадонны, где она витала среди хора ангелов. Выполнив работу, Сандро, как он часто практиковал, позвал своего друга, авторитетнейшего знатока искусств Анджело Полициано, взглянуть на своё творение. Тот долго рассматривал картину и вымолвил:

– Исполнено достойно!

И добавил с лукавой усмешкой:

– Лицо Мадонны мне знакомо. Не подскажешь ли, где я мог видеть оригинал?

Сандро в смущении потупился. Он никому не признавался в своей платонической любви к Симонетте, но Анджело – философ, проницательный наблюдатель...

Художнику даже не надобно были свои мгновенные зарисовки девушки в различных ситуациях. Её облик помимо его усилий впечатался в сознание и даже глубже.

С тех пор облик Симонетты Веспуччи, олицетворявшей для него идеал женской красоты, повторялся и повторялся. Все его многочисленные Венеры (Афродиты) и Мадонны воплощали её божественные черты.

Никого не удивляло, что на полотнах Боттичелли и других мастеров флорентийской школы живописи мирно соседствовали античные (языческие) и христианские мотивы. То было время раннего Возрождения, когда общество выпеленывалось из жёстких религиозных догматов Средневековья. Творцы возродили интерес к греческим мифам, греческой и римской скульптуре и литературе, ибо героем в них был живой человек. Возник интерес к человеческому телу. Учёные принялись изучать его устройство, а художники воспевали его красоту. Скорбные Мадонны, закутанные в покрыва, теперь соседствовали с обнажёнными земными женщинами.

Боттичелли много писал обнажённую натуру, особенно прекрасных женщин. Благо, флорентийцы с их гедонизмом, жизнелюбием, неравнодушные ко всем краскам мира, охотно заказывали подобного рода картины.

Лоренцо Великолепный заказал Боттичелли картину в качестве подарка своему племяннику Лоренцо ди Пьерфранческо по случаю его бракосочетания с Лукрецией Донати. Художник поставил условие не смотреть на работу, пока он её не закончит.

И вот этот день настал. Именитые гости заполнили отделанный каррарским мрамором зал виллы Кастелло. Сандро подал знак, и с картины слетело покрывало.

Из морской пены выплывала, стоя на створке раковины, обнажённая богиня Венера, символ милосердия, гуманности, любви. Слева от неё парил бог западного ветра Зефир, своим дуновением подгоняющий раковину к берегу Кипра. Справа – ожидающая Венеру грация с цветным покрывалом, долженствующим прикрыть наготу юной богини.

Взоры всех присутствующих невольно устремились к фигуре Венеры. Её совершенная красота ослепляла. Молодая женщина стыдливо прикрывается руками, однако смотрит спокойно, словно понимая, что красота её заключает в себе божественное начало. Она не олицетворяет любовь, дарующую земные радости. Это богиня целомудрия, непорочности. В её светлых глазах – предчувствие ждущих её испытаний. Она вызывает в памяти прекрасные греческие статуи. Текучие линии тела, его белизна с лёгкими оттенками утренней зари, мягкие изгибы, изящная поза, развевающиеся по ветру золотые волосы создавали гармонию – главный признак совершенного произведения искусства.

Долгое молчание зала. Очнувшись, все бросились поздравлять художника. Он стоял, оглушённый успехом. Лоренцо Великолепный положил руку на плечо Сандро и отвёл его к окну, за которым опускалась бархатная флорентийская ночь:

– Друг мой Алессандро! Я покорён. Твоя картина переживёт века. Признаюсь, она мне напомнила облик той, которой нет уже десять лет. Обрати взор к самой яркой звезде, которая загорелась на небосводе. Разве было бы удивительно, если бы душа прекраснейшей дамы превратилась в неё? Её красота в жизни была великой радостью для наших глаз...

Сандро промолчал. Но в глубине души он был уверен в том, о чём сказал правитель: его Венера – Симонетта – переживёт века.

Через какое-то время художник поразил флорентийцев ещё одной картиной – «Primavera» («Весна»). Такая же, как «Венера», большая по размеру, такая же, даже более, «населённая», она поражает своей гармонией и музыкальностью. Возникает оптическая иллюзия движения фигур на полотне. Кажется, если прозвучат переливы флейты, грации в развивающихся хитонах плавно заскользят по луку, надувший щёки Зефир разметёт цветы и листья, а кроткая Мадонна поднимет руку и благословит приход Весны-Флоры.

Сама Флора с обликом Симонетты – удлинённый овал лица, спокойные серые глаза, полуулыбка – мягко ступает, босая, по земле. Цветы словно прорастают из её жемчужного платья, охватывают венком светлые волосы, складываются в ожерелье на груди. Богиня весны, как сеятель, рассыпает вокруг себя цветы. Пёстрым ковром они устилают дуг. Пластичность фигур, скрытый ритм их движений, изысканность колорита буквально завораживают.

Увидевший картину поэт Полициано тут же откликнулся переводом из Гомера:

*Шествует Флора, цветы на пути рассылая,
Красками всё наполняет и запахом сладким.
В зелени все деревья, вся зеленеет земля,
Сад плодovitый цветёт на полях...*

Автор этих работ знал славу при жизни. Но он не мог даже помыслить о том, что в будущем «Рождение Венеры» и «Весна» будут признаны шедеврами мировой живописи. А облик героини его полотна на пять веков станет для художников эталоном женской красоты.

Перешагнувший сорокалетие, Сандро работал, как одержимый. Он создал портреты Лоренцо и Джулиано Медичи, их жён и родственников. Он «оживлял» христианские сюжеты: расписал Сикстинскую капеллу в Риме и многие церкви Флоренции и других итальянских городов. Создал несколько циклов «богородичных» картин. А богатые горожане наперебой заказывали для своих домов и вилл картины



на античные темы с обнажённой натурой. На его полотнах – сотни, если не тысячи, персонажей, и каждая фигура не похожа на другие. Воистину, фантазия художника не знала границ, а мастерство достигло совершенства.

Боттичелли позировали знатные дамы Флоренции. Через его мастерскую прошли десятки натурщиц с прекрасными лицами, идеально сложенные.

У художника было всё – слава, деньги, внимание прекрасного пола. Но он не вступил в брак, не было рядом с ним возлюбленной, которая вдохновляла бы его. Он не изменил своей единственной Музе.

5.

Сандро на пару с братом купил дом, расширил мастерскую. У него постоянно были ученики, которым он уделял много внимания, а об иных заботился как отец. Он охотно общался с приятелями, чаще всего был весел, любил пошутить, но иногда вдруг становился рассеян и меланхоличен.

Как-то Пьеро, сосед, надумал стать суконщиком. Он установил в доме, примыкавшем к мастерской Боттичелли, восемь ткацких станков. Они производили невероятный шум и трясение. В мастерской Сандро всё ходило ходуном.

Увещевания ни к чему не привели.

– Мой дом, делаю, что хочу!», – кричал Пьеро.

Тогда художник с учениками водрузил на тонкую стенку, разделяющую дома, камень величиной с воз сена в положении неустойчивого равновесия.

– Как только ты запустишь станки, – спокойно сказал соседу Сандро, – камень шлёпнется на них, и прощай всё твоё суконное дело!

Пьеро кипятился, угрожал, но в конце концов убрал станки.

А однажды товарищи Бьяджо, ученика, решили над ним подшутить. В заговор посвятили мастера. Бьяджо нашёл покупателя на картину «Мадонна в окружении ангелов» и сказал, что завтра приведёт покупателя. Ночью насмешники воском приклеили к головам ангелов красные капюшоны, в которых обычно заседали члены городского совета. Наутро Бьяджо привёл покупателя и в ужасе закричал.

– Что случилось? Почему ангелы в капюшонах?

– Где ты видишь капюшоны? – возмутились окружающие, в том числе и предупреждённый покупатель.

Бьяджо схватился за голову и замер в полной растерянности. А Сандро усмехнулся:

– Заработался ты, бедняга! Иди в лавку, освежись стаканом кьянти!

Когда «освежённый» ученик вернулся, капюшонов уже не было. А Бьяджо долго верил, что на него нашло временное помрачение ума.

Всё бы хорошо, да натура у Боттичелли была истинно художническая. Он совершенно не задумывался о деньгах. Свои весомые гонорары он проматывал моментально. Однажды он получил в Риме приличные деньги, а домой вернулся без копейки и даже не помнил, где он их разбазарил. В доме поэтому было то густо, то пусто. А Сандро ничего не нужно было, кроме холста и красок.

К концу жизни он настолько обнищал, что, если бы не помощь Леонардо да Винчи, он бы умер с голоду.

Между тем, золотой век Флоренции клонился к неизбежному закату. Другие города обгоняли её. Расточительство Медичи опустошило казну. На флорентийских мануфактурах начались, впервые в истории Европы, конфликты между рабочими и хозяевами. Шла борьба между кланами. Лоренцо Великолепный, на радость врагам, тяжело заболел.

Кончина Лоренцо Медичи в 1492 году расчистила дорогу злому гению Джироламо Савонароле. Чёрная тень монаха-фанатика накрыла Флоренцию. На его проповеди в церковь Сан-Марко собирались тысячи верующих. С огромной силой убеждения, страстно, зажигательно Савонарола обличал и правителей, и всех отступников от веры. Он грозил карой господней тем, кто чтит ценности грешной жизни, а не религиозные. Савонарола на несколько лет стал фактическим правителем Флоренции. Яркая, праздничная жизнь города ушла в небывшие. Люди боялись громко говорить, собираться. Посещали только церковь. Сжигали на кострах нарядные одежды, музыкальные инструменты, книги, картины, драгоценности.

Поговаривали, что Боттичелли поддался влиянию Савонаролы. Он почти перестал работать. Написал только несколько картин, в том числе самую загадочную – «Мистическое Рождество». Но, может быть, он просто выбыл из сил за более чем полвека неустанный труд. Или понял, что выполнил свою миссию.

Алессандро Боттичелли пережил свою любовь на тридцать четыре года. Он завещал похоронить его в церкви Всех Святых, у изножия могилы Симонетты Веспуччи.

Воля художника была исполнена.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

В МИРАХ рассказ

ПЕРВЫЙ

При мысли о том, что Теос будет ждать её в Храме, у Теи замирало сердце.

Она ещё не достигла совершеннолетия, и по законам Народа Красных Доспехов не имела права не только вступать в брак, но даже встречаться с представителями другого пола. Но разве можно приказать своему сердцу? На празднике Дня рождения Королевы Тея лакомилась угощением, выставленным на площади для всех подданных и, потянувшись за кусочком пирога, увидела, что к нему протянулась ещё чья-то рука. Она подняла взгляд и обомлела от увиденного – высокий, стройный юноша в отливавшем золотом плаще с большими удлинёнными глазами. Тею показало, что таких глаз она никогда не видела? они были внимательными и строгими не по годам. Тея даже оробела немного. Юноша улыбнулся и отдал ей пирог. Спросил, как зовут и конечно, к какому возрастному дециалу она принадлежит, и к какой касте. Тея сразу подумала, что вопросы неспроста, он явно хочет познакомиться поближе.

А Теос ещё до её ответа подумал, что ни за что не откажется от более близкого знакомства, даже если они не сойдутся дециалами и кастами. Это всё выдумки жрецов, плевать на них. У девушки такие нежные крылья и такой беспомощный взгляд, что хочется её защищать. От кого? Неважно, главное быть рядом.

Но при встречах Тею и Теос соблюдали осторожность. Выйдя из дому, каждый из них ещё долго петлял по лабиринтам улиц, взбирался по каменным ступеням длинных лестниц, ведущих на холмы. Потом они сходились в условленном месте, в одном из парков и проводили время в таких заброшенных уголках, где вряд ли можно было встретить стражников, прочесывающих город с целью наведения порядка. О месте встречи уславливались, посылая друг другу мысленные сигналы импульсами от золотых усиков, прикреплённых к шлемам.

Теофрасис – огромный город, столица королевства, в нём расположены Храм и дворец Королевы. Чтобы пройти из конца в конец, уходило много времени, да ещё приходилось петлять по лабиринтам.

И потому Теос решил, что не хочет больше прятаться, он хочет ходить по городу с Теей открыто, а то, что они принадлежат к разным кастам и она ещё не достигла совершеннолетия, то это глупые, надуманные законы жрецов, и он не собирается их слушать. И вообще власть жрецов пора отменять, это пережиток старых времён. Зачем вообще нужны жрецы? Какую пользу приносят? Время от времени издают указы, посылая легионы военных на войну с другими племенами, с Народом Чёрных Плащей, например, и если те возвращаются с победой, то вся принесённая добыча достаётся одним жрецам. Да ещё часть Королеве. А простому народу ничего. И даже тех, кто не вернулся из похода, близким не позволяют оплакивать, потому что Народ Красных Доспехов самый сильный народ на планете Земля. Красные Доспехи никогда не плачут, не жалуется, всегда помнят о своей исключительности, преданны жрецам и Королеве.

А ведь Королеву никто никогда не видит, кроме Старшего жреца и начальника стражи. Только они имеют право входа в её покои. Но если уничтожить власть жрецов, то ими вполне сможет управлять сама Королева. Её так почитает народ, неужели она не в силах управлять сама? Королева – женщина, наверняка её правление будет более мягким и осмысленным, чем правление жестоких старцев.

Говорят, в Храме, в потайной комнате, куда не ступала нога простого смертного, каменные стены исписаны клинописью, на которой запечатлены вековые законы Народа, изданные много столетий назад, и каждый раз, когда жрецы принимают новые законы, в комнате добавляются новые строчки клинописи на стенах.

– Их выбивают в камне, чтобы не было возможности изменить, – утверждал Теос.

А ещё в центре комнаты законов есть огромная чаша, наполненная жидкостью, выдавленной из тел пленников, которых приводят воины из походов. В каждое новолуние старший жрец заглядывает в чашу, предварительно прочитав особую молитву на дарование ему истины. И на блестящей поверхности жидкости видит картины будущего.



– Это варварский обычай, – утверждал Теос, – нельзя так жестоко поступать с пленниками, их надо либо отправлять на работы в каменоломни, либо на сбор урожая на поля. Но не убивать. Зачем? Чтобы старший жрец увидел что-то в чаше? А какую пользу приносят его откровения народу?

Все рассуждения Теоса были новы и удивительны для Тея, ей такие вещи и в голову не приходили, но больше чем слушать и вести диалог на такие странные темы, ей нравилось просто быть около. Ей было всё равно, что он говорит, о чём. Она наслаждалась самим фактом нахождения рядом, любовалась его профилем, жестами, когда он поднимал руки вверх в знак возмущения отжившими обычаями или просто поправлял шлем.

Они никогда не говорили о том, чтобы соединить свои жизни навсегда, но не сомневались, что это решение принято ими обоими и пересмотру не подлежит. Им просто незачем было обсуждать данный непреложный факт.

Но когда Теос предложил встретиться открыто, да ещё где, в Храме, Тея испугалась. А вдруг стражники арестуют их за недозволенные обычаями контакты, и уволокут в глубокие подземные казематы, где наказывают преступников, в основном воров, струсивших на поле боя воинов, жесвидетелей и клеветников! Те, кто попал в казематы, никогда не возвращаются оттуда, и никто не знает, что там происходит. Теос предполагал, что возможно их тела тоже пускают на переработку в жидкость для чаши истины.

Как страшно! Но если она откажется, Теос может подумать, что она его предала, струсила! А вдруг вообще не захочет больше с ней встречаться? Нет, она это не переживёт. Она пойдёт на свидание в Храм и станет рядом открыто, так, как будто они законные супруги одной касты. И будь что будет!

«Тем более, – думала Тея, – Старший жрец созывает в Храм всех жителей Теофрасиса. Так огласили его приказ на главной площади глашатаи Храма. Он хочет сказать народу что-то очень важное. Значит, Храм будет переполнен, они легко затеряются в толпе. Может быть, надеть платье, какое носят женщины из касты Теоса? Но это будет ложью, трусостью, а Теос так ненавидит ложь!».

В два часа дня площадь перед Храмом была заполнена полностью. Не каждый день главный жрец Манидис созывает всех жителей полиса, обычно на богослужениях присутствуют только жрецы, по одному представителю от каждой касты и простые прихожане, пожелавшие прийти в этот день в Храм помолиться.

Через толпу было трудно пробиться, стояла неумолчный гул голосов, пришедшие обсуждали новость, гадали, что могло послужить причиной такой срочности и важности, что Манидис не стал ждать никакого календарного праздника, когда обычно выступал перед народом, и созвал всех сейчас.

Загудели трубы, все присутствующие мгновенно попадали на землю, лицом вниз. Это в паланкине, закрытую золотистыми пеленами от посторонних глаз, несли в Храм Королеву. Сейчас её внесут внутрь, в заднее помещение, тоже прикрытое золотистой пеленой, где она будет слушать выступление Манидиса.

Королеву пронесли в Храм и герольды возвестили народу, что все могут подняться с земли и войти внутрь Храма. Толпа потекла через огромные резные двери.

Теос держал Тею за руку, они уже не думали о той реакции, которая может последовать на их единение, все так были взволнованы ожиданием речи Манидиса, что на них никто не обращал внимания.

Тея была удивлена ловкостью, с которой Теос протащил её сквозь толпу почти к самому алтарю. Они стали под пилястрой крайней правой колонны, одной из двух, ограничивающих площадку алтаря. И Тея радовалась, что стоит так близко к месту, с которого будет выступать главный жрец. Она гордилась Теосом и думала, что именно с ним проживёт свою жизнь как за каменной стеной, в покое и радости. Он сможет обеспечить ей счастливую жизнь женщины-матери, хранительницы домашнего очага.

Протрубили в рог герольды. В развевающемся за спиной плаще взойёл на площадку алтаря главный жрец Манидис. Гудящая толпа смолкла и приготовилась слушать.

Манидис поднял обе руки вверх, требуя внимания. Хотя никого призывать к вниманию не нужно было, толпа и так застыла в напряжении.

– Народ Красных Доспехов, – зычно воззвал он, – воля Богов не всегда справедлива, но никто не может бороться с ней. Настал чёрный час для нашего города, для нашего любимого полиса, столицы королевства – Теофрасиса. Волею высших сил он будет разрушен. И единственный способ избежать гибели горожан, – уйти и спасти свои жизни. Жизнь Королевы, наших граждан, представителей всех каст.

Зал загудел. Каста воинов, стоящих справа от входа начала бить в пол копьями. Каста ремесленников выкрикивала какие-то фразы, которые никто не мог разобрать в общем гуле. Женщины подхватили в страхе на руки своих детей.

– Объясни, Манидис, отчего ты решил, что Боги к нам неблагосклонны? – выступил вперёд начальник стражи Королевы. – Бежать из города просто, потому что тебе что-то показалось, мы не будем.

– Не мне показалось, – с достоинством ответил главный жрец. – А чаша истины мне показала страшную картину разрушения города, наших улиц и наших домов. Я видел падающие колонны и провалы в земле, летящие в них тела горожан, трупы, засыпанные камнями, я видел страшную картину разрушения и гибели, и знаю, что чаша истины никогда не лжёт. За многие сотни лет она ещё ни разу не солгала.



– Чаша не лжёт, но ты можешь ошибаться в своём видении, жрец, ты не совершенен, твои глаза и мозг не совершенны, может быть это другой город, не Теофрасис, а столица наших врагов – Народа Чёрных Плащей? Может быть, наши Боги решили покарать именно их?

– Я узнал наши улицы, – с горечью произнёс Манидис, – узнал дворец Королевы. Поспешите, иначе вы все погибнете. Берите детей, бросьте всё остальное, на него нет времени, и уходите как можно дальше.

– И оставить в хранилищах собранный урожай, – возмутилась каста земледельцев, там столько нашего труда, мы не сможем унести всё с собой.

– Урожай не понадобится, если вы будете раздавлены страшной непонятной силой, которую я видел в чаше, – отвечал Манидис.

Вперед выбежал старый воин, потрясая копьём.

– Чаша тоже может ошибаться, если в неё давно не заливали кровь наших врагов, – закричал он. – Смотрите, как давно мы не ходили в славные походы и не приводили сюда пленных рабов из числа Чёрных Плащей, вот она – расплата за трусость!

Снова поднял руку начальник стражи Королевы.

– Народ! Если есть такая опасность, хоть четверть опасности, мы действительно должны уйти! Переждем в стороне, и если предвидение Манидиса не оправдается, вернёмся в Теофрасис!

– Вот как! – завизжал старый воин. Ты хочешь, когда все достопочтенные граждане уйдут из города, ограбить незащищенные дома и хранилища? Вы – стража Королевы, по закону лишены прав на имущество, чтобы не было соблазна запустить лапу в её казну, куда у вас есть доступ. Вам выдают пищу на один день и одежду на один земной год. Так вы решили таким образом нажиться, нищebroды?! Нищebroдам не место на общественном совете, гоните их взащей! Нищebroды не должны иметь никаких прав в Теофрасисе, это нонсенс, когда не имеющий ничего, решает за того, кто уже достиг благополучия!

В зале стоял гул. Оставить всё, стройные улицы, обжитые дома, имущество, высаженные сады и парки, одежду и украшения... Женщины плакали, мужчины требовали от рядовых жрецов, чтобы те сами вошли в комнату законов и удостоверились в том видении, которое показалось в чаше истинны старшему жрецу.

Рядовые жрецы отказывались совершить святотатство, крича, что тем самым навлекут на себя гнев Небес.

– О жалкие идиоты, – вскричал Манидис, потрясая кулаками, – вы заботитесь о запасах хлеба в закромах, запасах кованого оружия в хранилищах, золотых украшений в сундуках, и не заботитесь о своей жизни и жизни ваших детей! Вы готовы расстаться с жизнью, но не расстаться с накопленным дерьмом, которое сможете накопить снова на новом месте!

Берите паланкин с Королевой и бегите как можно дальше и как можно скорее! Вы постройте новый город, в другом месте, и там второй Храм и дворец для нашей повелительницы.

Тея обернулась к правой стене Храма, где за золотой занавесью находилась Королева. Занавесь ходила ходуном, значит, Королева волновалась, она всё слышала и, видимо, верила Манидису.

Вперёд выбежал высокий крепкий мужчина из касты рабочих-строителей. Он бил себя кулаком в грудь и кричал:

– Мы, а не жрецы, строили эти улицы, подземные ходы, лабиринты, хранилища воды и пищи. Им легко говорить – бегите! А не думаете ли вы, почтенные жители Теофрасиса, что это измена? Что мы, одуреченный народ, убежим, а жрецы захватят наши сокровища и будут владеть ими, или продадут за золото нашим врагам, и Чёрные Плащи захватят всё, что мы имеем! Наши воины правы, Чёрные Плащи уже купили их – наших жрецов, с потрохами купили, и даже Манидиса, смотрите, откуда у него на шее этот золотой медальон? Его не было, когда он выступал здесь на празднике дня рождения Королевы!

Толпа грозно загудела.

– Предатель, бейте его, мы выберем другого главного жреца, Манидис продался, смерть ему!

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. На площадку алтаря выскочил и стал рядом с Манидисом молодой человек с горящими удлинёнными глазами.

– Не смейте! Назад, говорю вам, назад, Манидис честен и предан народу. Я, Теос, сын Брахиса, говорю вам, что знаю то же, что и он. Мне было видение, когда, закрыв на минуту глаза, я увидел, как чёрная тень опустилась с неба, огромная чёрная плита невероятных размеров рухнула на город, падающие дома, разверзающиеся посередине улицы, разрушенный дворец Королевы. Бегите, глупцы, вы не успеете взять с собой даже еды на один день пути!

Тея была испугана поступком Теоса и в то же время восхищена его смелостью, если бы не необычность ситуации, то за кощунство, поспрание алтарной площадки ногами простого смертного, Теосу грозило бы заключение в казематах, откуда не было выхода.

И Тея ещё раз подумала, какой правильный выбор сделала, как ей повезло, что она встретила Теоса, и что он полюбил её. Они сейчас сбегут, поселятся в другом городе Народа Красных Доспехов, где их никто не знает, и тогда можно будет окончательно скрыть, что они принадлежат к разным кастам. Ничто уже не сможет помешать им объединиться в достойный брачный союз. Никто ничего не узнает.

Дрогнула левая стена Храма. Послышался странный низкий звук, словно что-то огромное, немислимых



размеров, приближалось к Храму, издавая через равные промежутки времени глухой удар, бух-бух... всё ближе и ближе... громче и громче...

Народ затих в ужасе...

Заплакал какой-то ребёнок, его одиночный плач отрезвил присутствующих, они ринулись к воротам Храма, давя друг друга.

Поднялся всеобщий крик, стук доспехов, проклятия, вопли боли тех, кто упал на каменный пол и по нему бежали другие, визг женщин. Треск рвущейся пелены, закрывавшей вход в помещение Королевы, шуршание опадающей со стен краски, слоями, там, где стены пошли трещинами.

Храм пошатнулся. Полетели вниз куски лепнины от карнизов. Раскрылась зигзагом кровля и сквозь неё сначала проглянуло голубое небо, потом его накрыло что-то чёрное. Потемнело, как в сумерках, и только всеобщий крик ужаса и боли метался по храму от одной шатающейся стены к другой.

Теос крепко держал в своей руке руку Теи, пытаясь вытащить её за собой сквозь толпу, но вдруг почувствовал, что она не бежит за ним, а тянет его назад. Он обернулся и увидел, что Тея осела на каменный пол, голова свесилась вниз, покрытая кровью, та самая шлястра колонны, под которой они стояли, отлетела и ударила её по затылку. Она валялась тут же. Теос взял её лицо в ладони, приподнял и посмотрел в глаза.

Они были мертвы.

Единственный, кто не бежал, был Манидис. Он по-прежнему стоял на площадке алтаря, неподвижно, выпрямив спину, в складках рта застыло презрение. Стоял до тех, пока не рухнула основная плита потолочного перекрытия, покрыв собою весь алтарь, так что между плитой и полом не осталось ни малейшей щели, указывавшей на то, что внутри, между ними, находилось тело главного жреца Храма, руководившего Народом Красных Доспехов столько лет...

ВТОРОЙ

«Рено» Николая Ивановича мягко катило по асфальту. До райцентра оставалось несколько километров. Он был доволен прожитым днём, самим собой и, главное, своим начальством. Опасения жены, что старания Николая Ивановича на работе не будут оценены, к счастью, не оправдались. Он возвращался из области с хорошим настроением, а главное, Грамотой Облсовета за прекрасные успехи в организации аграрных профсоюзов в районе.

Действительно, поначалу люди сопротивлялись идее объединить все агрохозяйства в единый профсоюз. Зачем? Если нам понадобится профсоюз, мы его построим по хозяйствам. У каждого своя специфика, там сеют пшеницу, там – специализируются на выращивании подсолнуха, и к тому же построили ещё маслобойку, от посевной до наклеивания этикеток на бутылки с маслом – единый комплекс. А в Еремеевке – животноводческий. Зачем нам проблемы друг друга?

Но Николай Иванович, который ещё с Нархоза мечтал об объединении всех хозяйств района сумел доказать, что такое объединение позволит наёмным сельскохозяйственным рабочим избежать эксплуатации владельцами агрокомплексов. Они же совершенно бесправны: не хочешь работать с утра до вечера, убирайся, на твоё место из города божьей привезут, посылат в бывшем коровнике, и те будут пахать, да ещё радоваться крыше над головой и куску хлеба.

Нельзя сказать, что в Обл администрации приняли его идею с энтузиазмом. Настолько, что Николай Иванович заподозрил, что её сотрудники во главе с губернатором заинтересованы в существующем положении вещей. Но его поддержал Облсовет, да ещё дал Грамоту. А всё потому, что Облсоветом руководил всё-таки бывший однокурсник Николая Ивановича.

Да какая разница, почему так сложилось, ладно, да и ладно. Он потом однокурснику тоже в чём-нибудь поможет.

Николаю не терпелось попасть домой, поделиться с женой новостями, показать Грамоту, определить её место в рамочке на стене, и ещё нестерпимо хотелось горячего борща. Он с утра был голоден, но пока волновался о своих делах, голод не давал о себе знать. А сейчас плескался в желудке тошнотворной волной.

Николай повернул голову вправо, ожидая увидеть, как всегда, указатель въезда на мостик через речку с ограничением скорости, но тут заметил впереди на трассе толпу.

Толпа людей, да ещё три скорые помощи, полицейские машины. Ого-го! Да там что-то случилось?

Он переехал небольшой мостик и попал прямо на полицейского, который махал палочкой, поворачивай, мол, назад. Так и есть, масштабное ДТП, рейсовый автобус, полный людей, столкнулся с грузовой фурой.

Придётся объезжать по грейдерной дороге стороной. А так хочется есть!

Николай развернул своё «Рено», вновь переехал мостик и через пятьсот метров обратной дороги, свернул влево, на грейдерную.

Начался дождь, который припущал всё сильнее.

Глинистая почва размокала, скорость машины снизилась. Николай начал нервничать. Утреннее везение



явно заканчивалось. Он включил «дворники», подумал о том, что перед выездом из дому помыл машину. «Может, не надо было мыть, и дождя бы не случилось». Уже должен был попасться на глаза указатель поворота на Красносёлку, но его всё не было. Николай включил навигатор.

Чёрт! Он проскочил поворот! И как он его не заметил, всё из-за дождя, который отвлек внимание, да ещё то ДТП из головы не выходило. Что там с людьми в автобусе? И с водителями? Две такие махины столкнулись...

Пришлось снова развернуться и поехать назад до поворота на Красносёлку, а потом напрямую к Ивановке, после неё оставалось немного по проселочной дороге, и уже будет въезд прямо на улицу Баштанную, на которой он живёт.

Проехал Красносёлку, проехал Ивановку. Почувствовал неприятный запах, шедший откуда-то спереди. Остановился.

Дождь уже закончился. Николай вышел, открыл капот. Ремень вентилятора лопнул. Он так сразу и подумал, когда от торпедо пошёл горячий дух.

А ведь давно хотел поменять! Так ведь всё некогда, всё в бегах, делах, вот и добегался. Ещё месяц назад механик его предупредил, что ремень на ладан дышит. И ведь был сегодня в области, надо было заехать на СТО поменять ремень, а он забыл на радостях. Натворил себе лишних хлопот.

Придётся закрыть машину и пойти пешком. Хорошо хоть до начала городка не далеко, полчаса неспешным шагом. А если пересечь лесополосу, не обходить её по дороге и пройти полём, то время сократится на треть.

Николай так и сделал, проверил не оставил ли чего ценного в бардачке и багажнике, закрыл машину и пошёл пешком.

«Я, наверное, нелепо выгляжу, — думал он. — Офисный тёмно-серый костюм, галстук, дипломат в руке и пешком через грязь. Хорошо, что никто не видит».

Проходя через лесополосу, поскользнулся на мокрой от дождя земле, чуть не упал, схватился свободной рукой за ближайшую ветку дерева, удержался на ногах и пошёл дальше. Ботинки от налипшей грязи стали тяжёлыми.

Вскоре он уже был дома. Жена забрала из руки дипломат, взяла снятые ботинки и пошла в ванную мыть.

Николай Иванович с удовольствием поёдал горячий наваристый борщ, его любимое блюдо, когда в комнату вошла жена.

— Колюша, — а что это у тебя на одном ботинке было налипшее, как ком чего-то красного, я сначала даже испугалась, думала, что ты в кровь вступил.

— А! Так это я наступил на большое гнездо красных муравьёв, когда поскользнулся в лесополосе, — ответил Николай. — Смой в умывальник, ничего страшного. Это не кровь. Это просто грязь, смой её.

ТРЕТИЙ

Тихо жужжали приборы, аппарат вращался вокруг пациента, лежавшего в капсуле, вокруг на высоких стульчиках расселись члены Высшего медицинского совета. На большом экране пульсировал мозг пациента, изображение которого передавал на экран сканер.

— Я и раньше был против такого эксперимента, коллеги, и жизнь подтвердила мои опасения. Запускать в организм пациента эту шваль, эту шуштуру, никак нельзя было, — произнёс Академик космической медицины Дорад, — они неуправляемы и глупы.

— Прошу вас, Академик, — возразил Эли, специалист по тонким энергиям, — как бы ни было сильно наше возмущение, давайте придерживаться этикета. Эта популяция имеет самоназвание — люди. Или человечество. Будем называть их так. Мы — воспитанная цивилизация.

— Без экспериментов наука вперёд не движется.

Это сказал Танито, ассистент профессора кафедры гравитации.

Дорад поморщился, Танито понял, почему, и смутился. Сморозил банальность. Он решил исправить впечатление.

— Теоретически мы были правы, коллеги, мы рассчитывали на то, что данная популяция под самоназванием «люди», будучи поселена в мозгу нашего пациента, произведёт там положительные изменения. Отрастит новые нейроны, которые они называют деревьями, и те начнут вырабатывать кислород, засеют обнажённые участки коры головного мозга полезными для них самих и мозга растениями, что обогатит вещество мозга минеральными элементами. Вместо этого, данная популяция принялась выкачивать из сосуда пациента кровь, которую они называют нефтью, жечь те нейроны, которые ещё у него оставались. Мы никак не могли предвидеть такой результат.

— Мы должны были сразу разработать стратегию отхода от эксперимента, на случай если он провалится, как это и произошло, — добавил Дорад, — мы этого не сделали, и в том наша ошибка. К сожалению, наша самоуверенность привела к тяжёлым последствиям для пациента. Самое страшное для него — даже



не сожжённые нейроны и выкачанная кровь. Это ослабляет его, но он справляется, заменяя уничтоженное новым. Самое страшное то, что эта шушера... – Академик запнулся и вдруг вскрикнул: – Не поправляйте меня, я сказал – шушера! – он помолчал и потом продолжил: – Эти, так называемые «люди», ведут между собой непрерывные бои и войны. Взрывают серое вещество мозга пациента, уничтожают его мыслительную деятельность, причиняют ему страшную боль. Коллеги, пациент просит избавить его от популяции людей, и надо сказать, что он абсолютно прав. Если мы не избавим пациента от этой напасти, он, в конечном счёте – погибнет.

Настала тишина. Весь ученый совет понимал, что значит, избавить пациента от запущенной в его мозг популяции микробов, которую космические медики считали полезными, а они оказались патогенными. Это значит, просто через катетер запустить в вену пациента отравляющее вещество, которое убьёт популяцию, а потом очистить мозг пациента с помощью очищающей жидкости, также запущенной через катетер.

– Но тогда погибнут все особи популяции, а ведь там есть и очень положительные личности, – тихонько возразил Танито.

– У нас нет другого выхода, – печально сказал Эли. – Либо жизнь пациента, либо жизнь популяции. Но у нас есть моральное обязательство перед пациентом, не забывайте об этом! Притом, он один из нас, а популяция нам чужда. Кто хочет высказаться?

Молчание.

– Я понимаю, что это очень тяжёлый вопрос, коллеги, и в принципе, мы ответственны и перед пациентом, и перед запущенной в его мозг популяцией. Да, тяжело решиться на приговор, но лично я не вижу другого решения. Обращаться к людям мы пробовали неоднократно. Они не слышат, не понимают, и, правильно сказал уважаемый Академик Дорад, они неуправляемы и глупы. В конце концов, если решение не примем мы, то настанет естественный конец обоим. Колония уничтожит мозг перципиента и они скончаются вместе. Хотя я понимаю, что это обстоятельство не облегчает бремя принятия решения.

Молчание.

– Хорошо, – Академик Дорад встал. – Все устали и никто не хочет признать себя палачом. Я предлагаю отложить вопрос до завтра. Все сходимся здесь, в лаборатории, в 10 утра по космическому времени. Коллеги, вы должны прийти с чётким решением. Соберитесь с силами и примите его!

Академик отошёл к иллюминатору, распахнул первую раму, держащую защитный от космического излучения лист отражателя, и, опершись руками о подоконник, взгляделся в Космос.

ЧЕТВЁРТЫЙ

Справа от блестящего в лучах звёзд корпуса лаборатории виднелся огромный беловато-синий глаз, внимательно наблюдающий за тем, что творилось внутри.

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

БУКВОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ ПОЭЗИЯ (БИП) палиндромы, анаграммы, логогрифы, омограммы и т.п.

Игра! Да, действительно! Всё, что делает художник, есть только игра. Он мучается, старается найти выражение для своих чувств и мыслей, он говорит посредством цвета, формы, рисунка, звука, слова и т.д. Для него вопрос «зачем» является малозначительным. Он только знает, «почему». Так создаются произведения искусства <...>. Так я делаю всё: это уже готово внутри меня и находит своё выражение. Когда я играю таким образом, каждый нерв вибрирует во мне, всё моё тело наполняется музыкой, и Бог находится в моём сердце.

В. Кандинский, из письма к Г. Мюнтер, 10 августа 1904 года

Отче, гобой от стола пока не взят...
язве накопал отстой о Боге что?

(ЗАГАДКА)

Формата
Формат,
Форма
Форм

...и суров, и томил,
не жал бурю,
а на юру блажен ли мотив
о Руси?..

И ЧЕРВИ, И ЛИЛИИ...

в речи учу, ужу голос –
модно ли нарушу?..

давал как лире мудро
карман-клёш
ром-юмор –
бери,
ты!..

похимичим?
...и химичу:
смоле дар беру –
мишпуру микрата –
брага шуре-мурел!..



буквами мал? –
пости так!..

я не мимо выл,
постил стих у мордилашки так!

итак, кати!
кати к палиндрому хит!

слит
с опывом!..
и меня катит соплами...

мавку беру –
меру шагарбатарки...

мурушим у ребра делом,
сучим и химичим их опыт!

и ребром юмор шёл к нам –
ракорду мерил...
как лава,
душу ранил он!..

дом,
соло гужу –
учу:
«и черви, и лилии в речи»

иди, толкователь
и диво-толкатель!..

дел стелили ли,
лили ли
лет
след?..

ПОВЕСТЬ-СИПО

Исповесь.
Отповесь.

нуклона
уклона
клона
лона
она
на
А

ОДА да О

– и Оттуда, и тут – Ода!
– О, да! и тут, и Оттуда!



от Чуда
какаду Что?

!УМ У МЕНЯ...

– ум рухнул куда, Иван?
– лунника зеро мазал,
и пел,
и лепил...
а за море закинул на виадук
лун хурму!

– це ню?!
ценю!..
– юнец!
– юнец!..

– я дуб?!
яду б!..
– будя!
– будя!

тени
дарило тепло –
тут
не мал Герцен!..
ОКОЛОКОЛИМ?!.

и тур
к чему?
меч крути –

МИЛО КОЛО?
КОНЕЦ РЕГЛАМЕНТУ!

толпе
тол
и рад,
и нет.

Оно в окне верхов
во зле
пело...
во Книппер во «логу»
дорогой елей
еле ртает во рту нежно,
он же – нутро в театре!



«лей слей
огороду голов, реп... пинков!» –
Оле пел зов.
в охре венков –
Оно!..

рот вопиет аЗЫ – Затем повтор

в окне –
верховного погон
в охре венков

ПАХАНАТА НАХАП

пахан лиротворил нахап?
пахан лировторил нахап!
нахапал зело поле зла пахан!..

в охре венков хорош вор –
он имел сам выбор,
но ваш –
репку рук!
шершав он.
робы – в масле миноров.
шорох – в окне верхов.

селфи.
кома.
замок иф.
лес.

..!лира ду-ха

...и лира – дуга
или радуга?!

лирово гудя,
лиру дурил,
яду говорил:
«кошмарит!
роскошит!
сила!
диво!.. –
видали стишок? –
сортирам шок!»



ресторана рана –
рот сер.

...ад укопал
и семя влагал в яме,
сила покуда...

БАБА...
БАБА...
БАБА...
БАБА...

*мв*Лча(я)ние

ИЛ – СЕМЯ (ям если)

если не мыто, кто отмоет?!
если не мы, то кто отмоет?!
если немы, то кто прокричит?!
если не мы, то кто прокричит?!
(вы?..
мы?..
ты?..)

...он же (ночам):
как я с лун, грев речи, червергнулся!
как мачо!
нежно.

...он же (ночам):
заказана пития и нам мания
и типа на заказ мачо нежно

...и про Это, и про то! рос?
тороши, тороши, Эрос!..
...и про Это, и про то! сор
тороши, тороши, Эрос!..

в воле сало
ловеласов:
им любые –
любимые



в окне верхов нота блестя же!..
 бурим... воду!
 чу! живу я и пишу!..
 души пия, увижу чудо в миру!..
 бежал я, сл батон в охре венков

в ок(н)е верхов тут и сурик
 соло кинул на барабан лун,
 и колоски Руси тут,
 в охре вс(н)ков

Марс, стар, волок я. Лун чем молот серп? Миры значимо кинь ли, Бурич*, о либере, плод имав?..
 «О, гол!» – метили икру (плоти) во гротик, шутили, нар хотев. «О, голова нага!» – крутили тумак вор и
 крамола. Сип о Демоне реноме дописало маркировкам утилит уркагана во логове – то хранили тушки
 торгов (и толп) урки или тем логовам идол перебил очи рубильником?! И чан зырим престолом! Меч
 нуля – коловрат(,) ССРам!

* Владимир Бурич (1932-1994), поэт, переводчик, автор термина «либрическая поэзия».

музе речи пиши и шипи через ум...
 музе речи шипи и пиши через ум...
 ты испит?..
 ты испет?..
 (ты из пят?)

меня торопя,
 бес – ого! –
 дал мило вены наряду.

сон я нарушу дурмана,
 мру,
 душу раня,
 но судя раны неволи(,)
 младого себя.

порот я.
 нем.

– он нем.
 – и что к сему?
 – в уме скотч!
 – именно.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

В СУМЕРКАХ МАЙСКОГО САДА

ПОГОВОРИ

Поговори со мной, слышишь? Поговори...
Плещется солнце в оплётках чумной зари,
Мы ни живые, ни мёртвые – посмотри,
Мы ножевые, осколочные, сквозные...

Видит ли небо хоть в ком-то из нас врага?
Не умолкай – и однажды, наверняка,
Сердце моё затрепещет в твоих руках,
Воспламенится – едва ли, но не остынет.

Поговори, приоткройся, шепчу, сим-сим!..
Мы за плечами таскаем немало зим,
Сколько же лет в беспросветном аду висим,
Ночи считая? Не припоминаю даже.

Хочется малого – хочется просто жить.
Только в потёмках скитаюсь, как Вечный Жид,
Вроде, приучена не отворять чужим –
Сердце томится запретных желаний жаждой.

Поговори же, вдохни же в меня тепло!
Окаменело нутро от небрежных слов,
Я отправляю терпение на засов
И замираю: так сделай уже, что должно.

Томная сила со слабостью пополам
Медленно переползает на задний план.
Не долетим – ничего, доберёмся вплавь.
Манна иссякнет – мы выживем на подножном.

Всё не напрасно, ко времени всё – не зря,
Даже треклятая – мать её так – заря,
Даже башка бестолковая без царя...
Вдруг на обочине этой дороги звёздной

Наши потомки построят четвёртый Рим?..
И угасает солёная рябь внутри.
Поговори со мной, слышишь, поговори!
Боги не врут, просто шутят – ещё не поздно.



ПОЭТ И МОРЕ

Е.Н.

Время не мчится – просто уходит прочь.
 Мол, ничего, брат, личного – просто служба.
 Сядь в электричку – и отправляйся в ночь.
 Город простится рябью на сонных лужах.

Город не должен век о тебе грустить,
 Даже едва ли имя твоё запомнит.
 Старая липа вслед прокрипит: «Прости,
 Мы бы сдружились – жалко, не вышел домом».

И замелькают белые пятна сёл,
 Чёрные чащи – вотчина бабок-ёжек...
 Что тебе, старче? Ты ведь уже спасён,
 И по привычной схеме блуждать не сможешь.

Ищешь совета? Главное – не спеши.
 Правда – хоть нагишом, да поди, потрогай.
 Если потянет выйти в сырой глуши –
 Не подавайся, то не твоя дорога.

После на поезд – или на самолёт,
 Что пожелаешь – лишь не увязни в хламе.
 Дальнее море воду на жёрнов льёт,
 Чтобы исполнить главное из желаний.

Встретишь ли горы древние на пути –
 Разум не слушай, умникам здесь не место.
 Знает лишь небо, сколько тебе идти,
 Где доведётся спинуть и кем воскреснуть.

Третий петух уже прокричал отбой
 Личному бесу – дал нечестивец маху.
 Поздно, родимый, поздно играть с судьбой.
 Ножницы, камень? Выбрал уже бумагу.

Сколько таких же падало, не дыша,
 В светлую бездну – и отступало горе...
 Нынче – умолкни, пусть говорит душа.
 Душу поэта слышит Господь – и море.

ХРАМ

Был рассвет, как смертная кара,
 Небеса иссякли от плача,
 И плясали черти в угаре,
 Словно впали ангелы в спячку.

Разлетелись призраки истин,
 Что поднять из пепла могли бы...
 Видно, бросил спичку нечистый,
 Предложив «по скидке» погибель,



И разверзлась адская бездна,
Поглощая левых и правых,
И толпой командовал бездарь,
Призывая к скорой расправе...

Стало всем давно не до смеха,
Но доколе пишутся главы,
Будет нас преследовать эхо
Заключённой сделки с лукавым.

Я сама не знаю ответа,
Как душа удержится в теле...
Не конец, и даже не света –
Лишь начало новой недели.

Лишь страница нового блога,
Лишь приметы нового века...
Человек ошибся ли Богом?
Бог ошибся ли человеком?

Я живу, покуда живётся,
И наивно хочется верить,
Что зажжётся новое солнце,
Распахнутся новые двери,

Но выходит, кажется, плохо...
...Был рассвет. И новые драмы.
И торговцы бросили Богу:
«Уходи из нашего храма!»

СУД

Ты, пришедший с мечом и крестом,
Я, избравшая участь блудницы –
Каждый в праве своём... Не о том
Будет речь. Пламенеют зарницы.

Ожидается адская ночь –
Нашептали мне предков могилы.
Я не в силах в себе превозмочь
Жажду жить. Никого не любила,

Никому не бывала верна –
И не буду тебе, чужестранец.
Лучше выпей немного вина.
Сколько там до рассвета осталось?

Ты не с миром пришёл, но – с войной.
Да и я не с любовью явилась.
Ты сегодня остался со мной,
Уповая на Божию милость?

Разве послан ты был для того,
Чтобы с девкой блудить беспробудно?
Злобных духов неистовый вой
Предвещает, что день будет судным.



Этот храм – как последний оплот
Тех богов, что меня направляют,
И твоя убожённая плоть
Не восстанет... Ты видишь, петляют,

Словно звенья цепочки, следы?
Это боги стекаются к храму...
Взгляд мой – отблеск холодной слюды,
Нет, не пламя. Кровавые раны

От позора тебя не спасут,
Погибай же – бесславно, убого.
Я тебя отпускаю на суд
К твоему всемогущему Богу.

ДАЧНЫЙ ВЕЧЕР

Облако цвета морской волны
Влажно скользит по небесной глади.
Зреет гранатовый плод луны
В дымчатой майской густой прохладе.

Хлеба краюшка да мятный чай –
Наш на двоих деревенский ужин.
Спрячь свой мобильный – не отвечай,
Нам ведь сегодня никто не нужен.

Плещется рыба в ночном пруду.
Рай на земле – без метро и пробок...
Только окликни – и я приду.
Наш мегаполис свою утробу

Вряд ли насытит. И мы с тобой,
Как ни прискорбно, но часть процесса.
Там продолжается вечный бой
За торжество... Говорят, прогресса,

Впрочем – не важно... Летят на свет
Бабочки, словно погибель – милость.
То, что вдали – суета сует.
Время как будто остановилось.

Ночь коротка, тишина – легка.
Небо прищурилось с укоризной.
Люди, подобные мотылькам,
Так невесомо скользят по жизни,

Чтобы однажды сгореть дотла,
Точно они и не жили вовсе...
Страшно увязнуть в своих делах.
Странно, что дышит в затылок осень.

Время стоит, но часы идут.
Воздух пропитан чужими снами.
...Жизнь состоит из таких минут,
Что навсегда остаются с нами.



ВОДА

Избавляется небо от просини.
Неприкаянность сводит с ума.
Мы навеки останемся в осени,
Даже если нагрится зима.

Бесприютны по праву рождения,
Тихий омут – туманная бель.
Я – твоё, ты – моё наваждение,
Я – твоя, ты – моя колыбель.

Я себе не солгу. Свет мой, зеркальце,
Отвечай, кто из нас потускнел?
Всё на месте. Земля ещё вертится,
Только юность уже не у дел,

Только совесть язвительно щерится
Непечатой бутылкой вина...
Не пристало нам опытом мериться –
Без победы угасла война.

Даже боль притушилась от горечи,
Даже горечь утратила соль...
Полно в кризисах возраста корчиться –
Принимать наше время изволь.

То, что всё позади – только кажется,
Пахнет памятью звёздная пыль,
Не уймётся душа, не уляжется
На печали настоящий пыл.

Сколько лет, сколько зим перемолото –
Нам печалиться, чай, не с руки.
Грусть-тоска переплавится в золото –
Не беда, что почти старики.

Просто осень повеяла холодом.
Так от робкого пальцев тепла
Пробуждается вечная молодость.
А вода... Что вода? Утекла.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Ночь непроглядно чиста –
Птицей лесной пролетела.
Требуют ласки уста –
Сопrotивляется тело.

Ломится утро в окно.
Горечь вчерашнего хмеля
Перебрoдила. Давно
Реки мои обмелели.

Ветхое солнце моё
Лижет края горизонта.
Ветер играет бельём.
Близится смена сезона.



Грозы стихают вдали –
Зной подползает лениво.
Можно ли быть на мели,
Но оставаться счастливым?

Жалко скукожилась лесь –
Всякое мы повидали.
Это неправда, что есть
Две стороны у медали.

Истина только одна,
То, что с изнанки – осадок.
Призраком бродит луна
В сумерках майского сада.

Не искушают мечты
Пеплом вчерашнего пыла.
Правда важней правоты.
Всё наносное – остыло,

Будто погасла свеча
Или фонарик бумажный...
Главное – здесь и сейчас.
Всё остальное – не важно.

МАРИНА МАТВЕЕВА

ЗУБ, ВЦЕПИВШИЙСЯ В ПУСТОТУ

*Секта – не обязательно объединение людей.
Секта – это состояние патологической психики.*

Человек – это чудо природы, но вот беда:
в тихом омуте водится сердце, лучина тлеет.
И не хочется быть мне садистом, но вот когда
мазохисты так молят об этом, я их жалею.

Кто-то хочет страдать? [*«За Христа»*] или просто так?
Приходите – получите. Сердце моё не камень.
Только, знаете, больно не танком сгибать пятак,
а живыми, до неба рассерженными руками.

Только, знаете, страшно, когда тебя – в палачи,
а откажешься – станешь [*«жалельщицей малодушной»*].
Потому не кричи, моя родина, не кричи –
ты хотела сама. Умоляли такие души!

Для которых вся жизнь человеческая – всего
только грязный, животный, греховный комок мытарства.
Значит, нужно хотеть, всем и сразу, лишь одного –
царства божьего, царства небесного, царства, царства!

[*...Умоляла она, поливая слезами пол:
«Боже, Боже, пошли нам войну, забери поболе!
Малодушных животных, кто выживет... дай им боль,
чтоб тянулись к Тебе! И побольше им боли, боли!»...*]

Потому не кричи, моя родина, не перечь –
за тебя помолались. Тебя не спросив? Так кто же
будет спрашивать «это животное», если речь
всё идёт и идёт – как пронос – о «спасенье» в боже?

[*«Человек – это мерзость природы!»*] ...Но вот беда:
в «грязном» омуте плачется сердцу о «гнусной швали».

Жизнь – жива!
И прожить её нужно, как никогда
эти смертофилички и в снах своих не живали!

Человек –
это радость природы, её печаль.
Человек –
это лучше хронического христогоза.



И важнее всех царств – то, что здесь, у тебя, сейчас
воскресает из трупно-«духовного» коматоза.

И важнее любого из выслуженных раёв,
и важнее любого из выползанных – от века
этим ложных, – один: **из себя** прорывающийся, как зов...
Что зачался в животном, рождающем человека.

Что есть гордость? Конечно, она very good.
Внутригранный алмаз, полуслойный асбест.
Мой мобильный молчит, пожирая деньги,
потому что звоню я другим, не тебе.

Мой мобильный не думает, не говорит,
соглашается, будто усталый пацак,
что безмерно тупы, примитивны внутри
все, которые мыслят с другого конца.

Позвоню-ка Эйнштейну. Скажу, что дурак.
Потому что дурак. Потому что не ты.
Наберу президента: «Я буду вчера,
в двадцать пятом часу», где кипенно пусты

банки с йогуртом, банки с валютой и сам
генетический банк, живоносный запас.
Что есть гордость? Огромнейший болт небесам
на попытки извлечь из под граней алмаз,

на попытки от стойла избавить коня,
на старания нищему втиснуть пятак,
на попытищи сделать счастливой меня...
Потому что не так. А вот так и вот так!

Воротник на дублёнке – уже не енот.
Выгорают топаз, турмалин и агат.
Жеребёнок стареет в коровнике, но
продолжает хотеть не в поля, а в дуга.

ОХ, БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР!

Веками телеса о чём-то спорят
и думают, что души их – весьма.
ОБВМ – ты радость или горе?
Ох, радостное горе! от ума.

Перед тобой вскрываются талмуды,
деревья сами строятся в мосты.
Перед тобой склоняются Иуды,
но «тридцать – каждому!» не выдашь ты,

поскольку их товар тебе не нужен:
своих таких – что ломится подклет...
...А на дворе стоит такая стужа,
как будто уйма миллионов лет



до первого удара кремнем, искру
родившего из человеческих рук...
И хочется обычную сосиску
на пышном Валтасаровом пиру,

и хочется в бомжатнике голодном
обычных соловьиных языков...
ОБВМ, ты делаешь свободным
от тех, которых не было, оков.

И было так: до сердца распахнулся,
чтоб мир выпустить – и отпустить – в себя...
Не вороны накаркают: «Рехнулся!»
Опять и снова – в зубы – голубям,

у голубей – особенные когти,
особенные когвы и клыки...
А на дворе стоит такая копоть,
что сами вспыхивают угольки.

ОБВМ! Ты – пламенное море!
Не солнцу уместаться в берега!
...Веками животы с грудями спорят
и думают, что души их, ага.

БИОБЕЗУМИЕ

Что тебе неймётся, адреналин?
Что тебе причудилось, эстроген?
Почему мне мания – глаз-маслин?
Почему мне фобия – мозга стен?

Что тебе примарилось, ДНК?
Ты чего нанюхался, феромон?
Почему мне фобия – всем отказ?
Почему мне мания – только он?

Ведь глаза пригласили: некрасив.
Памяти припомнилось: староват.
Но внутри взбесилась система СИ,
интегралом вывихнув киловатт, –

и на нём повесились, как в руках
чётки из агата, мои глаза.
Что мне током хлещется, будто скат?
Что тебе приглючилось, глюко-за?

Я не понимаю, откуда тень?
Что за нездоровая маета?
«На один бы с ним я не село пень!» –
мне орёт сознание рассудку в такт.

Но в глубинах Ида – за клином клин,
синапсы нейронные коротит...
Чтоб ему остаться без глаз-маслин!
Чтоб ему, беспутному, без пути...



...чтоб ему, невинному, никогда
не познать предательства хромосом...
Клинит – прямо клиника. Схлынь, вода!
Прихожу в сознание. Страшный сон...

...Господи, помилуй и пронеси!
Хочешь наказать – так пошли чуму,
но оставь в покое системы СИ...
А слабо попробовать Самому?

Но с Тобою может быть только блеф:
не краснел ни разу Ты, не потел,
нет в Тебе ни генов, ни АТФ,
ни серотонина, ни антител...

Даже на Земле воплотившись, Ты,
помещённым будучи в круг блаудниц,
тут же поместил их среди святых,
не заметив мании меж ресниц...

Видно, потому не к Тебе – к нему!
Не в нирвану – в сердцеугарный пыл!
Думаешь, Ты выдумал нам тюрьму?
Да напротив: этим – освободил!

И свобода наша внутри тант
ангелов завистливый непокой...
Потому мне – мания. Ныне и
присно и во веки живых веков.

Исправить – не удалось.
Гранитными были лбы.
Отчаянье сильных – злость.
Не слёзы и не мольбы.

Пусть стонет в крови суккуб,
дурманы в глазах цветут.
Отчаянье сильных – зуб,
вцепившийся в пустоту,

где воеет святая волчь
на сломанные мечи.
Отчаянье сильных – молчь
во тьме, где их свет кричит.

И вместо травы – столбы –
косить костяной ногой...
Отчаянье сильных – быть!
Не будет пускай – другой.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

ЛАПЫ ПРИСТАЛЬНЫХ ТАМОЖЕН

ПОЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ

собери про меня всё что можно найти собери
все тетради блокноты где птицы мои снегири
краснопёрая стая креплёных сибирских кровей
свет и розовый снег и тебя не отыщешь правей

собирай по слогам всю мою несусветную чушь
может я хоронюсь может родину спрятать хочу
в тополиной пурге зазеркалье слезящихся фраз
спрыгнуть с красной строки мы с тобою пытались не раз

спотыкаясь прыг-скок вдалеке от подмётных кадил
и давали нам срок только срок раньше нас выходил
и опять по пятам щипачи наших снов стукачи
тут кричи не кричи а попробуй впотьмах соскочи

как бездомных котят нас пытались любить утопить
собирай со стола всё что можно допеть и допить
разноцветные фантики тоже как гильзы от пуль
безутешный февраль талый март ненаглядный июль

собирай мою верность живущим всегда невзятая
всех моих рыбаков моряков остряков работяг
дураков и блаженных поэтов бандитов меняя
но забудь про меня позабудь про меня про меня

СОЧЕЛЬНИК

год уходит, как фраер, порвавший тельник –
все давно по домам, а этого всё несёт.
в обмороженных окнах бьётся упругий ельник.
обещали январь, а вышло ни то, ни сё –
эластичный бинт трассы,
скоро уже сочельник.

заскрипит виадук хрустальный посох –
и деревья сдадутся, ветви впотьмах воздев.
покровители беспризорных, бездомных, босых –
духи белых дорог, искавшие нас везде,
между белых домов
застынут в нелепых позах.



ну, а мы-то ведь лучшее всё надели –
впереди рождество, какая-то сотня вёрст.
ветер нашу дорогу как пополам не делит,
та срастается снова, словно кто надо вёз.
и теряются по обочинам
дни недели.

ОСЕНЬ НЕ ЛЕКАРЬ

просто картинка так и рисуй в тетрадь –
станция пудель бабка с мешком опят
с нами случилось всё уже
слов не трать
колокол колокол бьётся по ком опять

днѣ-днѣ-дон которую ночь без сна
спят цифровые люди в сетях IT
в окнах рассвет
заманчивый как блесна
нам не доплыть уже теперь не дойти

медные рыбы хлѣсткие плавники
сосны желтеют август необратим
дни в самый раз а ночи нам велики
вот и сентябрь
подельничек побратим

с веток сорвѣмся как натворим добра
и полетим прозрачные к тем кто пал
осень не очень нынче была храбра
зря ты жалеешь что под неѣ копал

но опалеешь вышепчешь не спеши
воздух пружинит больно смотреть на свет
осень не лекарь выживешь – запиши
как не услышал звона
а нет так нет

РЕЦЕДИВ

ты срезанных цветов мне не носил
боялся этой выморочной смерти
растить свои – ни времени ни сил
вот и храню два лепестка в конверте

прими и ты – сентябрь из первых рук
привал бесстрашных в золоте и дыме
но ты рисуешь круг
рискуешь в круг
и сумерки становятся седыми

мгновенно отрастает борода
у каждого из местных анекдотов
мы оставляем наши города
но не находим нужных антидотов



лиха беда начало – вот те крест
а я всё песни пела суп варила
и тьма окрест я помню этот квест
как дрейфовала наша субмарина

ты с чабрецом бодяжишь анапу
друзья дивятся ах неосторожен
а я наш страх под сердцем уношу
минуя лапы пристальных таможен

коньяк воздушно-капельным путем
последний гусь в счёт будущего года –
с тех самых пор мы в прошлое бредем
где на двери болтается щеколда

спасительного жара нацедив
поди вернись скорее отнеси ей
ведь что такое осень – рецидив
страна больна бедой и амнезией

святые девяностые в аду
кто нас учил теплее одеваться
мы молоды и к нашему стыду
мы счастливы
раз некуда деваться

БЛА-БЛА-КАР

Лето будет нежарким, последнее лето, бро.
И ни в сказке сказать –
давай, выжигай дотла,
ни пером описать этих вышедших из котла,
чтобы нашей земле опять причинить добро.

Передай по цепочке – мы связаны бичевой
непроглядной судьбы, которой не дорожат,
и не верим чужим –
тем, чьи руки всегда дрожат,
их водой отмывают мёртвой не ключевой.

И по встрече – на цыпочках,
нежные батраки,
голосует за проплывающий труп врага
и теряем опять последние берега,
причитая – хотя бы лодку не опрокинь.

И сливаемся вверх?
Так покрепче держи весло.
Я тебя не забуду, видишь – плету венок,
забираем с собой камни, звёзды, траву, вино –
чтоб и тем, кто везёт, когда-нибудь повезло.

Лето будет сырым, наше лучшее лето, бро.
Набухают от слёз попутные облака,
засекая в сердцах
наш торжественный бла-бла-кар,
рассыпающий слов горячечных серебро.



ПОКА ИДУТ

война войной а город словно снится вам
но нет верней лекарства от морщин
весна красна в чужом платочке ситцевом
встречает растерявшихся мужчин

по жизни не взрослеющее воинство
прикрывших нарисованный очаг
где так самозабвенно пьётся воется
где стынет свет в зажмуренных очах

где помнят чьи следы между сугробами
дымятся – что сгорит то не сгниёт
жаль что своих под выцветшими робами
не разглядеть пока не треснет лёд

пока танцуешь на скрипучей наледи
вбирая воздух словно чистый спирт
и только умирать выходишь на□ люди
где кто-нибудь непрошенный не спит

постой господь не жги не вынимай чеки
пока клянусь в нечаянном родстве
пока идут мои слепые мальчики
в давным-давно обещанный рассвет

ЛАДА МИЛЛЕР

ПОКА ЧАСЫ ТИКАЮТ

повесть

Est deus in nobis

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Георгий умер на рассвете.

Сразу стало обидно.

– Вот ведь, – подумал он и выругался, но вяло. – Вот ведь незадача. Только-только на пенсию вышел.

Санитарка нашла всё ещё лёгкое тело позже, она принесла завтрак ему и Пал Палычу, но Пал Палыч есть уселся, а Георгий остался лежать на левом боку, неловко подогнув под себя затекшую руку.

Он вдруг удивился, что и после смерти продолжает «чувствовать чувства», повертел эту мысль в голове и так и этак, усмехнулся.

Санитарке было некогда, она стащила с Георгия серое больничное одеяло, оголила бок, прикрикнула:

– А кому это тут специальное приглашение? – и осеклась, и понятилась, потому что работала недавно, орать уже научилась, а вот смерть видела только один раз, и то «после», а чтоб вот так – последний выдох поймать – ещё нет.

Женщина хлопнула себя растопыренными ладонями по бедрам, даже чуть присела и прошептала:

– Ой, батюшки. Ты живой или как?

Георгий был «или как», а потому ничего санитарке не ответил.

Санитарка, её звали Арина, побежала за дежурным врачом.

Хотя, почему звали? Её и теперь так зовут. Она, в отличие от Георгия, всё ещё тут.

Но ведь и он тут? Иначе, позвольте, откуда эти мысли и рука онемевшая? И потом, если он не тут, то где, по-вашему?

Врач пришёл быстро, он смертей видел много, и ему было совершенно неинтересно, о чём думает мёртвый Георгий.

Смена заканчивалась через полчаса, а это значит, что:

– Георгий, как там его? Георгий Иванович. Ага. Вижу. Сердечная недостаточность. Шестьдесят пять лет. Алкогольный цирроз. Да. Нет, уже не откачаем. Поздно.

– Дышит никак? – испуганно спросила Арина, но голос её утонул в громком тиканье часов.

– Никак не дышит, – успокоил её дежурный врач и накрыл лицо Георгия простыней.

Простыня вздохнула в последний раз и опала.

Тиканье стало ещё громче.

Врач и санитарка ушли. Пал Палыч продолжал есть, он медленно разминал беззубыми дёснами размоченный в чае хлеб, поглядывая на неподвижное тело на кровати, тиканье ему не мешало.

У маленького Гоши когда-то были часы, которые так же тикали. Отец подарил. Вернулся с войны и подарил.

Нет, не с той, которая с немцами.

Отец был на какой-то странной войне. И появился он в Гошкиной жизни очень поздно, когда тому исполнилось целых десять.

Появился, поглядел хмуро на мать, ощупал её глазами, потом обнял, ткнулся колючим подбородком ей в щёку, они постояли вплотную друг к другу несколько минут, будто заново узнавая.

Потом отец протянул маленькому Георгию руку и сказал.

– Привет, лоботряс. Я твой батька. А это – тебе.

Достал из запазухи часы, похожие на диковинную луковицу, вложил в Гошкину руку.

Часы заворачивали, притягивали взгляд. Цифры на них были выписаны тонко и заковыристо, они оказались тяжелыми, сверху крутилось резное колесико, которое раз в день надо было подкручивать, чтобы механизм внутри не останавливался, продолжал тикать.



Это почему-то Гошку пугало.

А ну как часы остановятся, а вместе с ними и время? Остановится, постоит, постоит, да и обратно покатится? А это значит, что снова вернётся война.

И Гоша каждый вечер подкручивал колесико, следил за временем, потому что не хотел, чтобы снова война.

Отец по выходным сидел на кухне, разглядывал мутную жидкость в бутылке, отпивал потихонечку.

К полудню бутылка пустела, отец темнел лицом, рассказывал сбивчиво истории про свою войну и про «врагов», не фашистов, а других, иногда ронял голову на руки, затихал, только плечи вздрагивали.

Гошка понимал – плачет.

Подходить в такие моменты он к нему боялся, а в другие отец сам его к себе не подпускал.

Через три года отец умер.

Сказали – сердце.

Гошка тогда подумал, что сердце – это хитрый механизм, как в часах, который тикает, пока его не забьёшь заводить.

А отец, выходит, забыл.

Перед смертью он рассказал Гошке про часы.

Будто изготовила их знаменитая фирма, поэтому они точные и дорогие, а через пару десятков лет им вообще цены не будет.

Пара десятков лет прошла очень быстро.

Часы не ломались, тикали так же громко, как и раньше, Гоша рос, превращался в Георгия, не забывал подкручивать золотое колёсико, глядел на то, как стрелки отмеривают круг за кругом, гадал, откуда у его отца, лагерного вертухая, появилась такая изящная и редкая штука – часы фирмы Шопард, 1900 года выпуска, с тонкой гравировкой на позарипанном временем заднике «Фире от Бори, в день бракосочетания 1938 год».

Кто эти неведомые Фира и Боря, господа, сделай так, чтобы отец ни в чём перед ними не провинился.

Но Бог, даже если он и был на самом деле, не собирался ничего делать для Гоши.

Всё было предрешиено и расписано заранее в той бухгалтерии, куда сейчас, вот в этот самый момент, отправлялся мёртвый Георгий, совершенно одеревенев в боксе больничного морга.

Кстати, про часы. Совсем недавно они непонятным образом пропали.

«Может быть, поэтому я и умер?» – возникла в голове шальная мысль, возникла и тут же пропала, провалилась в тартарары, и Георгий за ней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вы спрашиваете, был ли туннель светящийся? Был.

Георгий по нему пролетел так быстро, что ничего не понял и дороги обратно не запомнил. Пытался руками тормозить о ледяные стенки, только ладони в кровь разодрал. В самом конце ударился головой, потерял сознание, но, как показалось, совсем ненадолго.

Первое, что услышал, когда очнулся, было всё то же тиканье.

Первое, что увидел, была кухня.

Видимо, это был дом в деревне, бревенчатые стены, в красном углу тёмная икона, свечка под ней коптит. В другом углу рукомойник, он такие раньше только на картинках видел. Над столом ходики с кукушкой, деревянными шишками и маятником.

Сам стол крепкий, на толстых ножках, высокий. Такой высокий, что Георгию пришлось встать на цыпочки и вытянуться, чтобы увидеть тех, кто за ним сидел.

Две женщины склонились над жёлтым листком бумаги.

Они вытирали слёзы, хлюпали носами, снова и снова шевелили губами, будто хотели, чтобы буквы в письме сложились в совсем другие слова.

Каким-то образом, Георгий понял, что там написано, хотя от роду ему было два года, и он пока ещё не умел не только читать, но и говорить.

Георгия совсем не удивило превращение в малого ребёнка, гораздо больше его занимало то, что было в злополучном письме.

«Ваш муж, офицер Борис Константинович Шварц пропал без вести 22 ноября 1941 года».

Дудка (Георгий уже знал, что это его новое имя) подбежал к той женщине, которая была помоложе, схватился за полотняную юбку, вжал лицо в её колени.

Стало спокойно, лучше, чем раньше, да что там, стало так хорошо, как давно не было.

Женщина машинально прижала его маленькое тельце к себе, зарыдала в голос.

– Фира, Фира, – запричитала та, которая старушка, – не кричи, не кричи, может ещё ошибка? Помогите моему Богу, он добрее, поди, чем твой? Вон я Дудку-то нашего отмолила, а ведь как он болел, чуть



не помер намерднн, аж горел весь, ты даже к доктору его хотела везти, а что доктор, Бог – наш доктор, отмолила, как есть.

И она повернула своё сморщенное, мокрое от слёз лицо к тёмной иконе, сложила пальцы в щепоть, перекрестилась, зашептала:

– Боренька, сыночек мой ненаглядный, господе Иисусе, сохрани, помилуй.

Молодая женщина выпрямилась, вытерла слёзы, взяла Дудку на руки, прижала к себе так крепко, что Георгий услышал тиканье её сердца – беспокойное и горячее.

– Точно, Ольга Ивановна. Конечно, ошибка. Я и не поверила вовсе. Жив наш Боренька. Жив. А Бог – он один. Один и для всех. Слышишь, Давид? – и она повернула лицо к сыну. – Жив твой папка. И мы с тобой его обязательно отыщем.

Георгий вдруг подумал, что прекраснее лица в жизни не видел.

Обнял её и заплакал, и окончательно умер, то есть наоборот, провалился в новую жизнь, вот ведь повезло.

А прежнее его тело, как водится, похоронили.

Первые сорок дней он ещё пытался напомнить о себе, сказать тем, кто остался, что бояться нечего, что смерти-то, оказывается, и нет, что смерть – это новая жизнь, но сам про это ещё толком не понимал, а потому сбивался, мямлил и в конце концов возвращался к маме Фире и к бабушке Оле, в хмурую деревню на Волге, где вот уже пять поколений жили немцы Шварцы, те самые, с петровских времён.

Те, от которых сейчас остались лишь Ольга Ивановна, да сын её Боря, который вовсе не пропал, спаси, сохрани, помилуй, и Фира с Дудкой его обязательно найдут.

И Георгий, а на самом деле Дудка-Давид, немец-полукровок, кудрявый как ангел, с печальными еврейскими глазами в пол-лица, всё увереннее перебирал маленькими худыми ножками, учился ничего не бояться, ведь оказывается, нас охраняет неведомый Бог, который один на всех.

Так сказала мама, а мама всё знает.

Всё знает и никогда не умрёт.

Только бы не забыть про это потом.

Потом, через двенадцать лет, в воркутинском лагере, в комнате для свиданий, когда она схватится за сердце и осядет, и повиснет на его руках.

Ох, лучше бы эта глава была последней.

Но часы тикают. И спрятаться – ну никак.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Часы тикают, колесико вертится, Георгий живёт свою новую жизнь, и вот он уже не Дудка, а Давид, надо же, как быстро летит время.

– Давид Борисович!

Он оглянулся.

По больничному коридору вслед за ним спешила женщина, одной рукой она прижимала к себе букет недавно срезанных тюльпанов – лепестки тугие, влажные, другой – держала юбку, чтобы та не слишком распахивалась.

Юбка была ярко-синей, кусок льняного полотна обнимал колени женщины, приоткрывая то одно, то другое, шаг её был мелкий, глаза улыбались и были синее юбки.

– Давид Борисович!

Она догнала его, сунула в руки букет, покраснела от смущения и от досады на себя за то, что краснеет.

– Это – вам. Вы, наверное, меня не помните. Я Галя. Галя Успенская. Вы меня год назад от смерти спасли.

Ну конечно, он её помнил. То есть, глаза и колени – нет. А случай – да, была такая Успенская.

Больные запоминаются не глазами и голосом, а потом, который ты над ними пролил, и кровью, которую никак не остановить.

– Зажим. Зажим. Я сказал ещё зажим. Тампон. Здесь прижать. И здесь. Свет. Дайте мне больше света.

Операционное поле – это поле битвы. В тот раз он победил.

– Я вас помню, – Давид улыбнулся, и между ними прошёл ток. – Как ваши дела, Галя?

В тот день он получил подтверждение из ОБИРа, а это означало, что...

– Что вы сегодня делаете, Галя? Я имею в виду, вечером? Могу я вас пригласить в «Арагви»?

Её глаза стали ещё круглее, ещё синее, она молча кивнула.

Нет, это не был адюльтер. Всё было честно.

Он разведён, она одинока. Так почему бы не провести с обоюдным удовольствием эти последние две недели в Москве?



Что-то было не в порядке с визой, и две недели превратились в два сумасшедших месяца, они говорили хором, потому что думали одинаково, он трогал её, гладил шов в самом низу живота, замирал от мысли, что она могла тогда и умереть, если бы не его руки и не его голова, чувствовал себя немного Богом.

С ней было легко. Не так, как с другими. Те, другие, потускнели.

Наконец, в самый последний момент, когда уже были куплены билеты на самолёт и было невозможно тянуть дольше, он сказал ей, что уезжает, и это навсегда.

Гале показалось, что памятник Пушкину покачнулся. Отсюда начиналось каждое их свидание. Стоял июнь, парки полыхали сиренью, тополиный пух витал над головой поэта, застревал в кудрях.

Она вцепилась в его рукав и прошептала.

– Как навсегда? А я? А как же я?

Пушкин наклонил голову, прислушиваясь к его ответу.

Давид не поверил сам себе, когда сказал:

– Хочешь, уедем вместе?

Тридцать лет назад, ему, двенадцатилетнему пареньку, так же сказала Зойка Горилка:

– Хочешь, уедем вместе?

И он тоже вцепился, пусть не в её рукав, но в эти слова, потому что мама Фира умерла, и Дудка остался совсем один на свете, а человеку одному неправильно и нельзя.

Они уехали с проклятого Севера к её родне в Одессу, где Зойка всем сказала, что Давид – её сын, прижитый на зоне, а почему не писала про него, да потому что не писала вообще.

Горилка – это, конечно, прозвище.

Зойка была из вольноотпущенных, работала в лагерной столовой, подрабатывала абортками, иногда сдавала угол вот таким же горемычным, как Фира с Дудкой, которые приезжали родных навестить.

Было ей лет сорок – сорок пять, она не выпускала сигареты изо рта, такой Георгий и увидел её в первый раз – дымящей, словно паровоз, с засученными рукавами мокрой от пота рубахи, под которой колыхалась огромная грудь.

Серые улицы, серые бараки, серый воздух, пропитанный угольной пылью, она же поскрипывает под ногами и на зубах, что за город такой чудной, где нет ни одной краски, думал Дудка, а Фира ни о чём не думала, она шла по этим улицам, как на казнь, сжав губы в одну узкую полоску, внимательно оглядываясь по сторонам, схватив Дудку за его детскую ещё ладошку.

Нужный барак стоял чуть в стороне от остальных и казался ещё более серым и мрачным.

Зато внутри было на удивление тепло и пахло домом.

Зойка, выглянув из дыма и чада, выпрямилась над чаном с кипящим бельем и проговорила:

– Это ты, значит, Фира? Двое вас? Ну, располагайтесь. Спать будете вон за той занавеской, я матрас положу. Кормиться – сами. Вы насколько приехали?

Фира начала объяснять, что они ещё не знают, что всю войну искала и вот ведь чудо – нашла сведения об пропавшем без вести муже, что он здесь, в лагере, что сроку ему дали четырнадцать лет, а за что? – за ранение и плен, но он конечно не виноват, её Боренька, он...

– Понятно, – хмыкнула Зойка. – Тебе, значит, к Бабикову надо, это начальник лагеря, только его сейчас нет, но это даже к лучшему, он у нас лютей, – она оглядела Фиру с головы до ног, – давай-ка я тебе завтра устрою разговор с его заместителем, с Иваном Петровичем, его у нас уважают, а вы пока располагайтесь у меня, об оплате мы с тобой договоримся, что-нибудь придумаем.

И снова поглядела на Фиру с интересом:

– Что ж, выходит ты мужа своего с тех пор ни разу не видела?

– Не видела, – наклонила голову Дудкина мама. – Вот уже восемь лет как.

– Ну-ну, – кивнула Зойка, будто каждый день видела таких ненормальных, которые едут за мужьями на край света, даже не зная, живы ли они ещё, едут, да ещё и детей малых за собой тащат.

– А ты, пацан, выходит, сынок их будешь? Тебя как зовут-то?

– Давид, – он старался отвечать солидно, а глаза его не могли оторваться от полных Зойкиных рук, и отчего-то защищало в носу.

Вот и сейчас, тридцать лет спустя, у него в носу защищало точно так же, когда Галя бросилась ему на шею, и шея сразу же намокла от её слёз, а чутунный Пушкин взглянул на них с интересом.

– Ты правда возьмёшь меня с собой?

– Но ты же даже не спросила, куда я еду, – усмехнулся Давид.

– А какая мне разница, – пожала Галя плечами.

Он поцеловал её солёные губы, Пушкин подмигнул, мол, молодец, мужик, и небо опрокинулось над ними, накрыло с головой, и выбросило, словно волна, на раскаленный асфальт Бен Гуриона.



ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Быть Дудкой – нелегко. Да и забыл Георгий, как это – быть маленьким, вот и просыпался в первое время по ночам, плакал, капризничал, Фира брала его из кровати, прижимала к себе, носила по комнате.

Дудка протягивал ручки к окну, он любил смотреть в ночь, туда, где отражался свет от настольной лампы, где филин ухал, филин, наверное, тоже маленький и просыпается, только у него мамы нет, чтобы обнять.

Дудка склонял кудрявую голову, засыпал, прижавшись к маме, а как только она пробовала его снова положить в кровать, начинал всхлипывать, не открывая глаз.

В конце концов Фира сдавалась и брала его к себе. Пружинистая кровать жалобно взвизгивала, проваливалась, обнимала обоих, и они сладко спали до утра, позабыв про ночь и войну.

Иногда кое-что вспоминалось.

Например, часы.

Теперь и не понять уже – какое из этих воспоминаний пришло раньше – вот отец протягивает маленькому Гошке трофей:

– А это тебе, малец!

А вот Фира открывает шкатулку с нарисованной на ней изящной женской головкой, заглядывает, перебирает то, что внутри – три письма от Бореньки, одно извещение про «без вести пропал», трудовая книжка, свидетельство о рождении Дудки и – наконец – большая жёлтая луковица, да нет, это не луковица, это часы, боже мой, как же они сверкают.

«Фире от Бори...»

Чудны дела твои, Господи. Видно, вещи, как и люди, проживают несколько жизней. А сколько это – несколько? И будет ли у Георгия ещё одна?

– Иди сюда, Дудка! – зовёт его мама, и он подходит ближе, упирается животом ей в колени, чувствует запах пожелтевших листков и ещё чего-то из прошлого – запах молока? Беды?

Ему хочется спрятаться, как и всегда, когда мама вот так близко и обнимает.

Спрятаться, и чтоб никого кроме них двоих.

Ах, да. Ещё есть папа. Но он его не помнит.

– Гляди, сыночек, это часы. Они старинные, их ещё папин дедушка за военную службу получил. Он был герой, как и твой папа.

Дудка слушает, молчит.

Не то что бы он говорить не умел, про себя-то он все слова уже много раз проговаривал, просто ждёт удобного момента. Да его никто и не спрашивает ни о чём. И потом – маму так приятно слушать.

Фира склоняется над Дудкиной головой, целует в макушку.

– И ты, когда вырастешь, героем будешь. Только тогда войны не будет. Эта война – последняя. Точно.

Она переворачивает часы, гладит пальцами тонкую вязь гравировки: «Фире от Бори в день бракосочетания. 30 августа 1938 года».

– Это наше единственное богатство, запомни. Мы с тобой, когда папу отыщем...

И она рассказывает, как будет здорово, когда все они соберутся вместе, возьмут с собой бабушку Олю и поедут далеко-далеко на поезде, в гости к маминим родителям и маленькому брату в маленькую украинскую деревню, на берегу речки со смешным названием... Как же она называлась? Синяя речка, полная крови и огня, но ведь эта война последняя, правда?

– Знаешь, он ужасно на тебя похож, брат мой Сюнечка, – голос мамы льётся и льётся, она будто забыла, что говорит с маленьким Дудкой, ей кажется, что вот она в саду, за домом, и шелковица созрела, и отец зовёт домой, а они с Сюней залезли на дерево, сидят на раскидистых ветках, ногами болтают, и Сюня вдруг срывается, падает, и она кричит, кричит, и падает вслед за ним.

– Мама, мама, проснись, – Дудка вцепился в Фирино плечо, трясёт.

Она открывает глаза, видит закопченные стены, знакомую комнату с иконой в красном углу, оглядывается на Дудку, лежащего рядом, его испуганные глаза следят за ней.

– Прости, маленький, я тебя разбудила. Мне сон страшный... Погоди-ка, ты никак заговорил? Ах, ты, чудо моё, мальчик ты мой ненаглядный, заговорил, заговорил!

И она обнимает его и тискает, и снова всё хорошо, и можно спать дальше, а филин – что, и он себе маму найдёт. Нельзя человеку без мамы.

Столько лет прошло, а Давид помнит многое, почти всё, что связано с мамой Фирой.

Все эти восемь лет до зоны он мог бы пролистать по дням. Наверное, у него в голове тоже есть такая шкатулка с тонко нарисованной изящной женской головкой. А в ней – всё-всё записано – на пожелтевших листьях, на стекле, мокрым от дождя, на ломком льду на реке, один раз, весной, он чуть не утонул, пошли с мальчишками на берег, чудом всё хорошо кончилось.



А потом, когда лёд наконец сошёл, и Дудке исполнилось двенадцать, мама прибежала домой с работы запыхавшись, губы белые, глаза горят.

– Давид, собирайся. Я его нашла.

Ему бы остановить её тогда. Но разве судьбу остановишь?

Да и часы, как ни крути, должны были попасть к Георгию.

Отчего-то ему кажется, что благодаря им всё и случилось.

Что сами часы – и не часы вовсе, а золотая луковица, с бесчисленными жизнями внутри.

Выходит, повезло ему.

Потому что иначе – разве стал бы он после смерти Дудкой?

Подумашь, нелегко. Зато вон – самолёт разгоняется, взлетает, летит. Будто и не было ни туннеля, ни морга, а только долгая белая дорога и васильки вдоль. Или это не васильки? Или это Галя на него смотрит?

В самолёте взрослый, умный, добрый Дудка, да и не Дудка он уже, а Давид Борисович Шварц – хирург от Бога, он летит в новую страну с новой женщиной, и, оказывается, жизнь – это не вчера и не завтра, жизнь – это вот сейчас, эта самая секунда – и есть жизнь, дыши же её, целуй в мягкие губы, потому что завтра может и не наступить, а вчера настолько жестоко, что лучше его забыть.

То самое «вчера», где плешивая голова заместителя начальника лагеря склоняется над списками заключённых.

– Как вы сказали, гражданка?

Гражданка – это Фира.

Она подходит ближе к казенному столу, не выпуская Дудкиной потной ладошки из своей ледяной.

Георгий слышит, как колотится её сердце. Оно колотится так, что звенит в ушах – и у неё, и у него, и, наверняка, у этого неприятного дядьки.

А то, что он неприятный, сразу понятно, Дудка вообще умеет распознавать людей с первого взгляда.

– Шварц, – еле слышно произносит она, потом вздыхает, и уже громче – Шварц Борис Константинович.

Дядька поднимает голову. Смотрит на Фиру в раздумьи. Облизывает бледные узкие губы. Георгий узнает своего отца, сжимается, как перед ударом.

– Что ж, есть у нас такой. Вот только...

Он оглядывает Фиру с головы до ног, потом взгляд его падает на Дудку, скучнеет.

– Я понимаю, – говорит мама и начинает суетливо развязывать принесённый с собой кулёк. – У меня есть вот это.

В жалкой комнате становится светлее на целое солнце.

На ладони у Фиры лежат золотые часы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Израиль встретил тепло.

Стояла такая жара, что казалось, будто самолёты вот-вот прилепят к взлётной полосе и больше никогда не взлетят. Вещей у Давида с Галей было немного, они быстро прошли таможенный досмотр и попали в стеклянную кабину, где сидела пожилая женщина в военной форме. Она поприветствовала их по-русски, и они начали отвечать на разные вопросы, заполнять какие-то бумаги, не понимая, что новая жизнь – вот она, началась, и надеяться особо не на кого, разве что, на того парня наверху, но кто знает, есть ли у него на всех время?

Если кто и знает, то пожалуй, Георгий.

Ведь это он сейчас крутит в руках старинные золотые часы?

Или это не он, а другой, высокий мужчина в военной форме идёт быстрым шагом по пыльной улице в лавку гравировщика, зажав в кармане галифе полотняный мешочек, в котором тикает то ли время, то ли любовь. Та, которая не кончается.

Но Георгий молчит, а в Израиле жарко, так жарко, что даже весело.

Сначала их многое веселило. Например, апельсиновые деревья, усыпанные круглолобыми оранжевыми шарами, ведь в Москве, когда они уезжали, только-только выпал снег, потом – местные паспорта – теудатоле – в графе национальность у Гали было написано слово, которое они перевели с иврита как «национальность неизвестна».

А что тут неизвестного, очень даже известна, Галя была наполовину полькой, наполовину русской, хорошо, что они быстро расписались перед отъездом, иначе бы её в Израиль никто не пустил.

Веселил город, куда они решили поехать – Иерусалим, он был совсем не таким строгим, как им рассказывали в Москве, может, от невероятного количества роз вдоль дорог, а может, от домов из белого камня, от них отражалось солнце, слепя глаза, заставляя улыбаться.



Они поселились в большой гостинице на окраине города, ходили учить язык, по вечерам устраивали пикники в парке неподалеку, выбирали место под оливами, располагались так, будто на всю жизнь.

Потом случился первый теракт – на автобусной остановке рядом с их гостиницей зарезали старика.

Рассказывали, что это был молодой араб, он пришёл с ножом, он даже его не прятал, «во-он из той деревни, видите?» – и Галя испуганно жалась к Давиду, глядя на серые дома с пустыми окнами совсем недалеко от гостиницы – так вот, старик умер тут же, он просто истёк кровью ещё до того, как приехала скорая помощь, даже странно, что в человеке так мало крови – раз и кончилась.

К смерти здесь было особое отношение. Иногда Георгию казалось, что эта земля – последняя остановка в конце ледяного туннеля, и всё ещё возможно вернуть, и больничную койку, и серое одеяло, и даже икбу с потемневшей иконой в красном углу, лишь бы только не оставаться один на один с этим слепящим солнцем, лишь бы только не знать, как мало в человеке крови, лишь бы только...

Но туннель Георгия давным-давно позади, а впереди просторный больничный коридор, высокие двери матового стекла, и вот эта, да, с надписью на иврите «доктор Моше Крик», куда, собственно, Давиду и надо.

– Сколько, вы говорите, операций?

Заведующий отделением смотрел на Давида с удивлением.

Тот развёл руками:

– Две с половиной тысячи. Там всё указано.

– Грамотно составленная трудовая биография – залог твоего успеха там, за бугром, – наставлял его бывший начальник, Павел Васильевич Логутка, и вздыхал:

– Зря ты уезжаешь, – вздыхал и размашисто подписывал заявление об уходе, объясняющее, что Давид Борисович Шварц увольняется в связи с переездом на новое место жительства.

Точно так же сейчас качал головой его будущий начальник, но не от досады, а от недоверия – толстенький Моше Крик, с кудрявыми пейсами вдоль бороды, в чёрной кипе и белом туго накрахмаленном халате.

Моше был очень интеллигентен, мягок, говорил тихо, от этого ещё больше смешила его невообразимая фамилия.

Всё в этой стране было не так. Не так, как привычно. Непривычное слепило глаза, обнимало холм и город на нём, и Георгию казалось, что уже не вырваться, да и зачем, ведь смерть – она всегда близкая, и тот, кто уже знаком с ледяным туннелем, второй раз не испугается.

Каждый вечер огромное солнце закатывалось за крыши домов, будто золотая луковица, на которой чьей-то недрогнувшей рукой была выведена бесхитростная надпись.

– Расскажи мне про них, – просит Галя, показывая на часы.

Они лежат обнявшись, Давид гладит её огромный живот, в котором тикает и тикает новая жизнь.

– Мы назовем его Боря, да? – спрашивает она, трогая пальцами тонкую гравировку.

– Да, – шепчет он, уткнувшись в её волосы, будто ища защиты. – Всё, как ты скажешь. Всё, как ты хочешь. Именно так.

И снова вспоминает себя маленького. В том времени, которого больше нет.

– Именно так, – Фира сидит за столом, разговаривает с Зойкой, а сама будто и не верит тем словам, что произносит, поворачивает голову, крутит направо-налево, прислушивается. – Так и сказал, мол, вот он, в списке. А ещё сказал, дескать, подождите до завтра. Это значит, уже завтра мы с Дудкой его увидим, понимаешь?

Зойка вытирает мокрые красные руки о передник, наливает две чашки чаю, усаживается напротив.

К чаю – кусковой сахар в стеклянной сахарнице, к сахарнице – щипчики. Сахар вкусный, куски неровные, такой кусок за щеку положить – долго таять будет.

Фире не до сахара, а Зойка вылавливает толстыми пальцами кусочек, громко им хрустит, дует на жидкий чай, прихлёбывает.

– А что взамен отдала? – спрашивает.

Фира вспыхивает, оглядывается, будто их кто подслушивает.

– Да у меня и нет ничего. Отдала часы Боренькины. Бог поймёт и простит, правда?

Георгий мог бы многое рассказать им обоим про Бога, но молчит. Да и зачем? У каждого впереди свой ледяной туннель. А у Фиры – считай так что совсем скоро.

Дудку жалко, конечно. Но он ему поможет. То есть себе.

Поможет понять, что Бог – это Время, которое может идти в любую сторону, а в какую – зависит от тебя, что смерть – это слишком легко, на неё не надейся, что жизнь будущая, как и жизнь прошлая, лишь расплата за короткое счастье по имени «сейчас», что счастье может быть вечным, если им поделиться.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Экзамен Давиду сдавать не пришлось, стажа и количества проведённых операций хватало, чтобы начать работать в отделении хоть сейчас, тем более что язык он начал учить ещё в Москве.

И потом – как говорил молодым практикантам незабвенный профессор Лагутка:

– Всё, что нужно хирургу – это рукастое сердце. Без сердца ничего не получится.

С сердцем у Давида было всё в порядке. А уж про руки и говорить нечего.

Больница называлась Шаарей Цедек, что означает Божьи Врата.

– То есть, – подумал Георгий и усмехнулся, – Конец туннеля. Или всё-таки начало?

Отделение общей хирургии приняло Давида не слишком приветливо. Говорил он ещё плохо, понимал, что ему отвечают, ещё хуже.

Но очень скоро всё изменилось – первыми в нового доктора влюбились медсестры, потом зауважали врачи, и, наконец, ему начали доверять пациенты.

– Спасибо тебе, сынок, – голос женщины дрожит. У неё очень хорошее лицо, Давид вдруг понимает, что такое бы лицо могло быть у его мамы, если бы она состарилась.

– Это вам спасибо, Фрида, – улыбается Давид. – Операция была сложной, но вы справились. Выписка ваша готова, так что можете собираться домой. Кто за вами приедет? Дети? Внуки?

– Нет, сынок, я одна, – вздыхает она. – Муж мой умер пять лет назад, а детей у нас не было, из-за этого вот, – и она протягивает ему свою левую руку, по тонкому старческому предплечью ползут синие цифры.

– Знаешь, – и она доверительно наклоняет голову ближе к его плечу, – Знаешь, я совсем молодая была, девочка ещё, считай, но они там, в лагере, мне сделали операцию... После таких операций детей быть не может.

Давид слушает её и сжимает кулаки. Точно, как тогда, на зоне, да.

Это случилось на следующий день после разговора с заместителем начальника лагеря.

– У меня свидание, – голос Фиры дрожит, совсем как у этой Фриды, с синим номером на руке. – Я вчера говорила с товарищем... Забыла фамилию. Тот, который заместитель. Где он?

Охранник смотрит на неё мутными глазами и ничего не отвечает.

Дудка стоит рядом, его кулаки сжаты, а почему – он и сам не знает.

– Его нет, – наконец лениво произносит охранник. – Свидание с кем?

– Шварц Борис Константинович, – и Фрида, наконец, выдыхает.

– Сейчас посмотрим, – парень открывает толстый журнал, листает жёлтыми от махорки пальцами, проводит сверху вниз по замусоленной странице, поднимает глаза.

– Нет такого в списке. Ошибочка вышла, гражданка.

Фира сжимает кулаки, совсем как Дудка. И он чувствует, какой жар идёт от неё. Какая ненависть.

– Нет никакой ошибки, – говорит Фрида. – Посмотрите ещё. Я не уйду отсюда, пока не увижу моего мужа.

Что-то в её голосе, а может, жар этот, но охранник неохотно поднимается, уходит за железную дверь, его нет так долго, что Дудке начинает казаться, что всё это сон, и они сейчас проснутся у бабушки Оли, в кровати под душной периной, и Боженька посмотрит на него ласково из своего угла, и...

Парень возвращается злой от того, что поддался неизвестному ему чувству, а теперь делает вещи, которые делать ни к чему и даже вредно.

В руках у него другой журнал, пыльный, чёрный, гораздо толще первого.

Он смотрит хмуро на Фиру и с явным удовольствием говорит ей:

– Будем искать в померших.

Она будто и не слышит его. Смотрит горячо, прожигает глазами – и журнал, и охранника, и стены эти, и двери.

Всё, что было потом, Давид, а за ним и Георгий, вспоминают редко. А помнят всегда.

– Помер ваш Шварц, уже полгода как помер. А ежели могилу показать, то я могу, – голос охранника доносится издалека, наверное, из того самого туннеля.

За этим голосом идёт Фира. Идёт, протянув руки, будто слепая, натываясь на ледяные стены. Потом начинает бежать.

Зачем ей его могила? Разве что рядом лечь. Сердце её останавливается в шаге до выхода. В шаге до Шаарей Цедек.

В последнюю минуту она успевает схватить Дудку за плечо. Потом оседает на пол. Сколько он ни старается её сначала удержать, потом поднять, она ускользает, улетает от него, только свист и вой, только юбки и рукава взмываются, и мокрый ветер их полощет. Только ветер уже не северный, а самый что ни на есть южный, тот, который с моря.

– Бельё-то сними, Давидка! – кричит ему Зойка, – дождина-то какой припустил!

Он бежит во двор, а там май, гроза, и море, море чёрное от грозы, видно – это Одесса.

Мама его далеко, но рядом, мама его охраняет, мама...

– Мама!

Галя привстает на локте, касается ладонью лба.

– Эй, Давид, что такое? Что случилось?

А он спросонья и не поймёт, что случилось. Просто жизнь.

– Сон приснился, – он обнимает её, чувствует под рукой огромный живот, улыбается.

– А если это девочка? – спрашивает.

– Мальчик, – шепчет Галя и улыбается ему в ответ. – Я чувствую, что мальчик.

– Тоже доктором будет, – уже сквозь сон говорит Давид.

Георгий молчит. Он знает гораздо больше их обоих. Большое знание – большая боль. Но я об этом – никому. Только вам. Слушайте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Постепенно жизнь стала налаживаться.

Да и как иначе – страна приняла их как родных.

Может, оттого, что они приняли её?

Как спелое, круглое, душистое яблоко. Со всеми червоточинами.

– Значит так, – Ахмед – главный медбрат приемного покоя, он со всеми врачами запросто.

– Значит так, ты может у себя в России и профессором был, мне всё равно. Может ты и в операционной – бог. Мне другое важно. Если сегодня твоё первое дежурство в хирургическом приёмном покое, то ты должен знать, что у нас больные больше получаса ждать не должны. Сорок минут – максимум, понял? У нас, если дольше, то и по морде можно схлопотать от родственников, или от самого больного. Так что, если я увижу кого-то, кто недоволен, я сам его принимать начну. Стетоскоп твой на шею повешу и скажу, что врач сегодня не справляется, я вместо него.

Ахмед огромен. Лицо его тёмное. Губа со шрамом, видно родился с заячьей губой. Глаза умные, злые, глубоко посажены.

Давид смотрит на него внимательно, изучает. Им вместе дежурить. Они должны сработаться. К тому же – плохих людей не бывает. Так мама учила. Учила, пока не умерла.

– Понял, – отвечает он, нащупывая пачку сигарет в кармане. – Договорились. Если ни один не будет ждать больше получаса – с тебя утром кофе. Идёт?

Ахмед расправляет брови. Кивает.

Понеслось.

В четыре утра они в первый раз вышли покурить.

Приёмный покой затих, новых не было, а старых всех подняли на этаж.

Девочки медсестры уже сидели с тонкими сигаретами на ступеньках.

Они потеснились, мужчины уселись, небо меняло цвет на глазах, звёзды гасли.

– Ты молодец, – усмехается Ахмед. – Для первого раза неплохо.

– Ну да, – отвечает Давид, – ты смотри про кофе не забудь.

И внутри что-то отпускает. В первый раз за три месяца в больнице. Вот теперь он свой.

Потом они сидели с Ахмедом в его каморке, в деревянной времянке на территории больницы, пили густую чёрную жидкость с невозможным запахом свободы, такую крепкую, что сердце не стучало, а громыхало, будто колесо по бульварнику.

– Ты что же, здесь и живёшь? – спрашивает Давид, разглядывая убогое жилище.

– Ну вот ещё, – хрипло смеётся Ахмед, раскуривая очередную сигарету, – я на территориях живу, у меня дом огромный, у тебя, хоть тридцать лет проработай, такого здесь не будет, а ещё у меня три жены, девять детей и четыре внука. А здесь – это так, переночевать, после смены.

– Я вижу, ты тут не один ночуешь, – усмехается Давид, кивая головой на розовый лифчик на стуле.

– Бывает, – кивает Ахмед, – я ведь мужчина, разве нет?

– Наверное, – соглашается Давид, ему нечего возразить против этой правильности жизни в представлении Ахмеда.

– А как оно там, на территориях? – неожиданно спрашивает он. – Я никак не пойму, как у вас здесь устроено, что за страна такая, где всё так...

– Как? – хмуро смотрит на него Ахмед.

– Да так, – и Давид с досадой отворачивается к окну. – Знаешь, мы тогда только приехали, буквально через несколько дней, у нас рядом с домом одного старика зарезали. Да и не старик он был. Не старше тебя. Пришел араб, молодой, сильный, тоже вот с территорий, и зарезал среди бела дня человека. Его потом поймали, судили, не суть. Я про другое. Отчего у вас тут война? И надолго ли?

– Ну, во-первых, не у вас, а у нас. – Ахмед тоже отворачивается, голос его скрипит, будто наждак



по стеклу. – А во-вторых – вся наша жизнь – это война, не замечал? С рождения и до смерти – одна кровь и боль. И только в пустыне хорошо. Знаешь, у меня из окон пустыня видна. Она по утрам розовая. Розовая и мирная. А всё, что не пустыня – война. Другого не жди.

– Я бывал в других странах, – упрямо возражает Давид.

– И что? – смеется Ахмед, – Нет там войны? Что ж ты сюда-то уехал?

– Не знаю, – признаётся сам себе Давид. – Теперь не знаю.

Ахмед смотрит на него внимательно, потом вдруг кладёт руку на плечо:

– Ты помнишь сказку про двух первых братьев на Земле?

– Про Каина и Авеля? Конечно, – кивает Давид.

– Тогда ты понимаешь, что наша жизнь добрее любой сказки.

– Как же добрее? Отчего же добрее?

Ахмед прикрывает глаза, его веки коричневые и сухи, будто у ящерицы.

– Оттого, что мы не родные. А двоюродные. А двоюродного отчего же не убить?

Давид встряхивает головой, что за наваждение такое?

Пот заливает глаза, вот уже семнадцать часов в операционной.

На столе – мальчишка, ему пятнадцать. Столько же было Давиду в то лето, когда они с Зойкой Горилкой уехали из Воркуты в Одессу. То-то удивились все её родные, когда она им сказала...

– Давид, долго ещё? – анестезиолог тревожно поглядывает на него. – Мальчишка скоро просыпаться начнёт. Если скажешь – добавлю Пропафолу.

– Не надо. Мы почти закончили.

В серебряном лотке лежат два неровных куска металла.

Их вытащили из живота и бедра у мальчишки.

Живот зашили после того, как удалили селезёнку.

Бедро не спасли. Остатки ноги пришлось отрезать. Будет одноногим теперь.

Та русская, ну то есть теперь уже еврейская женщина, в которую этот арабчонок бросил самодельную бомбу, её собирали по кусочкам.

Есть такие люди – глубоко верующие. Они приходят на место теракта в специальной одежде и перчатках. Они не плачут и не ужасаются, им некогда. Самое главное – собрать всё, до последнего лоскутка. Потому что каждый лоскуток надо похоронить. Ведь плоть – это то, что так мешает свободно лететь по туннелю.

Так мешает свободе.

– Мы почти закончили, – повторяет Давид. – Жить будет.

Георгий отворачивается, закрывает глаза, спрашивает:

– А зачем?

Но его никто не слышит.

Слишком толстые стены в туннеле времени.

Слишком слабо тикают золотые часы с тонкой надписью «Фире от Бори в день...», остальное стёрто.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Больница похожа на аэропорт. Кого-то провожают, кто-то улетает сам. Потом возвращаются, конечно. Но не все.

Хирурги работают тяжело, как и лётчики. Стюардессы заботливы, словно медсёстры. Пассажиры торопятся на посадку, суетятся над своим багажом.

Но им выдают больничную пижаму, и вот уже от целого дома с пристройкой и гаражом остаётся лишь зубная щётка и тапочки.

На больничной тумбочке – очки, книга, раскрытая на середине, обложкой вверх.

«Мастер и Маргарита» – читает Давид и улыбается молодому парню.

– Не забыл ещё русский? – спрашивает.

– Забываю потихоньку, – отвечает тот на иврите, – вот, книжку взял у друга, мама написала, что хорошая. Пока тяжёло идёт.

Ваня – солдат-одиночка. Он приехал один, и сразу же в армию, родители остались в России.

– Права твоя мама. Как боли?

– Да всё хорошо, меня уже пора выписывать. Друзья заждались.

Давид проверяет швы, качает головой.

– Завтра. Ещё один день подождём. Ты же сразу на базу, да?

– Конечно, – и Ваня расплывается в улыбке.

Ваня не простой солдат, у него только имя обманчиво простое, а ещё улыбка добрая и обаятельная. На самом деле, он может убить двумя пальцами и служит в специальных войсках. Плюс – характерная



восточная внешность, отличное владение арабским, и ещё некоторые качества, про которые простому хирургу лучше не знать.

– Господи, и что этим мальчишкам в этой бесконечной войне? – думает Давид, а сам кивает, идёт дальше, туда, где на соседней койке лежит старый друг.

Он высохший, словно мумия, из живота трубка, губы узкие, сухие, кажется, что живыми остались только глаза.

– Привет, Абу, – Давид подходит, садится на край кровати, дотрагивается до жёлтой руки.

Старик смотрит на него не мигая, пытается улыбнуться.

– Как дела? – его голос скрипит, словно старое дерево.

– Это я тебя должен спросить, – смеётся Давид, – а мои дела отлично.

– Это хорошо, – кивает больной. – Когда у врача всё в порядке, значит и у больных всё будет неплохо.

Расскажи про жену. Когда ей рожать?

– В августе, а откуда ты знаешь?

– Я много чего знаю, – губы старика растягиваются в улыбку. – Даже самому странно иногда. Знаешь, сколько у меня внуков? Тридцать шесть. Может поэтому? Ведь в каждом – немного я.

– Вот это да, – удивляется Давид, а сам посматривает в карточку, видит результаты анализов, хмурится.

– Да ты не хмурься, – старик накрывает его руку своей. – Я не умру. Всё равно не умру, даже если умру, понимаешь?

– Нет, – Давид смотрит на него, будто пытается что-то вспомнить.

– Это как часы. Даже если ты их разобьёшь, время-то не остановится, правда?

Давид смотрит на старика, а сам видит двор, заросший высокой травой, песчаные островки, разбитые каменные ступени, взбежишь по ним, бросишь куртку на спинку стула в прихожей, крикнешь:

– Тётя Зоя, это я, мне сегодня первую зарплату выдали!

Зойка Горелка совсем сдала в последнее время. Курит даже меньше. Всё больше кашляет.

Давид после школы сразу пошёл на завод, жили они с Зойкой дружно, но впроголодь, поэтому мечты о медицине пришлось пока отложить в сторону.

А сегодня – первая зарплата, радость.

Он помчался на Привоз, накупил клубники, свежей сметаны, ещё мяса, чтобы сварить Зое бульон. Врач сказал, что у неё опухоль, которая изнутри грызёт лёгкие, что ей необходимо полноценное белковое питание и свежий воздух. Тогда проживёт дольше.

У Зойки в спальне кавардак, как всегда.

– Мама Зоя, – иногда Давид называет её так, – Мама Зоя, ну что ж ты окна-то закупирила? – он раскрывает створки окна, майский воздух врывается в комнату, заполняет собой все паузы, все углы, обнимает за плечи.

Зойка сидит в кресле, обложенная подушками. Кашляет в тряпку.

– Нам надо с тобой поговорить, Дудка.

Она зовёт его Дудка, как мама. Тоже нечасто. Какой-то сегодня особенный день.

– Помираю я.

Он с испугом глядит на неё.

– Да ты не бойся. На самом деле смерти нет. Часы видел? Так и человек – навряд часов будет. Даже если часы разбить, время не остановится, понимаешь?

Он кивает, а в носу щиплет, и клубника вся в кульке помялась, капает.

Зойка смотрит на него издали, будто вспоминает что.

– Мне тебе сказать что-то надо было. Как раз про часы, да. Ах, вот, вспомнила.

Когда я помру, деньги на похороны ты знаешь, где спрятаны, я тебе давно ещё говорила. Но есть ещё другие деньги. Они – для тебя. Наследство вроде. Просто у меня всё равно никого другого нет. Так уж вышло. А ты хороший парень, я рада, что тогда тебя к себе взяла. Бог мне это засчитает, может пару грехов спишет. Я ведь, знаешь, грешила много. Но не по своей воле. Там, в лагере, да.

Она откидывается, кашляет сильно, задыхается.

Дудка подаёт ей стакан с водой, усаживается рядом.

И всё время, пока Зойка рассказывает свою историю, думает о том, что может и на самом деле – смерти нет?

Третий пациент в палате – особенный. Его Давид посмотрит последним. Пожилой мужчина – тучный, благообразный, с бородой и чёрной кипой, лежит у самого окна. На ногах у него наручники.

Рядом два полицейских. Операция паховой грыжи – простая операция, и его слава богу, скоро выпишут. Выпишут и отправят обратно в тюрьму. У него большой срок. Такой большой, что, может, они ещё увидятся позже – тело человека изнашивается, его время от времени надо чинить.

Тело изнашивается, а мозг? Наверное, тоже. Хорошо бы уметь управлять своим мозгом. Заводить его, как часы, но не целиком. Некоторые участки отключать. Чтобы память сделать выборочной.



Пусть забудется то, что помнить не надо. Например, Давид мечтает забыть то, что узнал случайно от медсестёр – за что именно получил свой долгий срок этот благообразный, верующий, не старый ещё человек. Что он вытворял со своими внуками.

Но не может. Помнит, чёрт бы его побрал.

– Как ваши дела, Йоси?

Йоси смотрит на него усмехаясь. Он знает, что Давид обязан его лечить. Ему вообще все обязаны. И повара в тюрьме, и эти охранники, и медсестра в коротком белом халате с вдруг отлетевшей пуговкой на маленькой её груди.

– Голова побаливает. Наверное, от перемены погоды. Скоро хамсин.

Скоро хамсин. Очищающая песчаная буря. Как там говорит Ахмед? Всё, что не пустыня – война. Так оно и есть.

– Сегодня я вас выписываю.

– Но моя голова...

– Ничего. Я дам таблетку от головы. Сегодня вернётесь обратно. Пора.

Давид отворачивается и уходит. Ему тоже пора. Другие больные ждут. Те, чьи часы тикают слабее, чем надо. Может, от того, что надпись стёрлась, та, которая «...1938 год... День бракосочетания».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

– Мальчик. Ишь, крепенький какой.

Акушерка ловко подхватила Бобу, обтёрла от крови и слизи, взвесила, завернула в пелёнку, протянула Гале, положила между грудью и животом.

– Три девятсот. Держи, мамочка.

– Вот оно как бывает, – пронеслось в голове, и Галя заулыбалась – счастливо, бездумно, так, как улыбаются собаки, да и любые животные, когда ролят.

– Хорошо, что в больницах не только умирают, – подумал Георгий, глядя на младенца.

– Это наш Боба, – Галя повернула к Давиду мокрое от пота и слёз лицо.

Давид смотрел на них и понимал, что тоже сейчас заплачет – взрослый мужик, хирург, вот ведь чудо-то какое случилось – мальчик родился. Их мальчик.

Стены начинают кружиться, совсем как тогда, когда помирала мама Зоя, и он снова попадает в маленькую комнату, туда, где на окнах ситцевые занавески, будто паруса, надутые морским ветром.

– Это был мальчик. На таком сроке уже всё понятно. – Зойка Горилка сидела в своём кресле и раскачивалась. Кашель отпустил. Ей обязательно надо было выговориться.

– Мне обязательно надо тебе рассказать. Только я всё время забываю – что.

Она с досадой поглядела на Дудку.

– Надо было раньше. Но раньше я не думала, что умру. Мне казалось, что это про других. Оказывается – нет.

Она беспомощно оглядывается по сторонам.

– Принеси-ка мне вон ту шкатулку.

Шкатулка деревянная, глубокая, краски на крышке выцвели, когда-то там был нарисован конь и грива его красная доставала до самой земли.

Зойка запускает руку вовнутрь, перебирает бумажки, достаёт ключ.

– Иди открой последний ящик в бюро, достань оттуда мешочек серый.

Дудка приносит мешочек, Зойка берёт его в руки, бережно развязывает, достаёт что-то тяжёлое, круглое, завернутое в цветастый шёлковый платок.

От платка ли, от его буйного разноцветья, или, может, от духоты в комнате, стены начинают потихоньку кружиться перед глазами парня.

А потом появляется золотое яйцо. Да нет, не яйцо вовсе, а часы, золотые фигурные, Давид очень хорошо помнит их тяжесть и тиканье, да и платок этот, и даже запах, что это, неужели...

– Это был мальчик. Я его убила. Своими руками. А его отец заплатил мне за убийство часами. Эти часы – твои.

Стены кружатся всё быстрее, и вот уже пропадает Зойкина спальня и весь её кавардак, вместо кудрявого мая – мрак, пурга, барак, а в нём трое – Зойка Горилка – потная, злая, рукава засучены по локоть, руки и лоб в крови, потому что лоб от пота вытирала, напротив неё стоит мужчина в военной форме – он испуган, но не показывает вида, женщина на кровати, Ирка, она только что чуть не умерла.

– Эти часы – твои. Денег у меня сейчас нет, а выручила ты меня здорово. Бери. Да не краденые они, бери, говорю. Хозяева их умерли, бояться нечего.

Мужчина, в котором Георгий с ужасом узнаёт своего отца, того самого, который заместитель начальника, только спина прямая, будто деревянная, и лицо испуганное, морщится, сплёвывает на пол.



На табуретке рядом – таз с кровяной водой. Женщина за занавеской стонет.

Отец отодвигает занавеску в сторону, смотрит на бледно-синее лицо.

Черты заострились, глаза закрыты, на впалых щеках следы слёз.

– Как она? – спрашивает он.

– Жить будет, – пожимает плечами Зойка. – Если, конечно, инфекция какая не пристанет. Тут у меня, знаешь ли, не операционная.

Когда-то Зойка была нормальной акушеркой.

Когда-то была нормальная жизнь, люди просыпались утром, шли на работу, даже пили чай или кофе перед тем, как выбежать из дома в сирень, в туман черёмуховый, и чтобы море вдалеке, или, хотя бы – запах.

На зону она попала за такой же аборт, как сегодня. Поздний срок, жена какой-то партийной шишки. Уж как её любовник, совсем молодой парнишка, руки Зойкины целовал, она их ещё и вымыть не успела. Слава Богу, женщина осталась жива. Правда, ненадолго. Муж узнал, убил её потом. Досталось всем. Парнишку того расстреляли за измену родине. Со всей семьей. У него, говорили, были старенькие родители, две старшие сестры с мужьями и детьми. Так что, считайте, Зойка ещё дешево отделалась.

Она на секунду прикрывает глаза. По щекам её течет пот, а не слёзы. Потому что в Воркуте черёмуха не цветёт. И не до слёз, значит. В Воркуте пахнет углём и бедой. Беда бывает разная. Здесь, когда говорят про женщину «она попала в беду» – сразу вспоминают Зойку.

Никто не рождает в лагере. Не положено. Да и к чему нам рождаться? Чего мы здесь не видели?

Поэтому Зойка делает аборт. То есть, не потому, что ей это нравится. А так надо, и никуда не денешься, и платят неплохо.

Кто чем. Один раз мешок сахара принесли. Другой раз пачку немецких денег. Она ими потом печку растапливала. Да что там говорить – что ни давали, всему рада была. Зона. Здесь свои законы. Беззаконные.

Срок Иркин подходил к концу, последние несколько лет благодаря тому, что попала в милость к заместителю начальника лагеря, она работала в бухгалтерии, а ещё про неё говорили, что когда-то Ирка была певица, врал, конечно.

Милость эта самая кончилась беременностью, рожать было нельзя, позвали Зойку, но слишком поздно, так поздно, что...

– Это был мальчик. На таком сроке уже понятно. Даже слишком понятно. А мне, значит, за этого мальчика – часы. Теперь они будут твои. Бери, бери. Сыну передашь. Обещай мне, Дудка, что у тебя сын будет, слышишь?

И Зойка начинает кашлять, так сильно кашлять, будто хочет выкашлять свою душу, ту, от которой ей сейчас так душно, хоть умри.

Георгий садится рядом, берет её за руку, говорит, что ничего этого не было, да и быть не могло, что часы эти круглые, золотые, будто луковица, отец его привёз домой и подарил ему, Георгию, что ей не за что себя корить и так убиваться, что она больна и бредит, и скоро будет легче.

Зойка цепляется за него, заглядывает в глаза.

– Правда не было? И мальчик родился?

– Правда, – отвечает он.

Она вздыхает в последний раз – легко. Туннель захлопывается. До будущей жизни, Зойка.

Дудка берёт часы, они такие тёплые, что горячие, такие горячие, что жгут его ладонь, а тиканье всё громче и громче, будто это не часы, а сердце, и вот-вот закричит ребёнок внутри.

– Мальчик. Ишь, крепенький какой.

Это Боба. Родился и кричит. Чудо-то какое.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А Боба действительно получился чудесным.

Да и какой младенец не чудесен, скажите на милость? Оттого ли так тревожно за них? Как сказал один мудрый человек «Балуйте своих детей, вы не знаете, что их ждёт в жизни».

Вместо мамы помочь с новорождённым, к Гале приехала бабушка, строгая стройная женщина с высокой причёской и молодыми глазами.

– У тебя отличные гены, – смеялся Давид, – ишь, какая бабушка-красавица, не бабушка, а бабочка.

– Точно, – улыбалась Галя, – я её в детстве так и звала, Бабочка – Агнешка.

– А она тебя?

– Василёк. Потому что глаза синие. Как и у неё, кстати.

– Сколько твоей бабушке лет?

– Скоро восемьдесят. По семейному преданию в ней течёт королевская кровь, кровь Болеслава Храброго. Бабушка-Агнешка – уникальная личность. Я тебе про неё ещё не рассказывала, а между тем, до того, как появился ты, главным человеком в моей жизни была именно она. Хорошо, что ты ей понравился.



– А откуда ты знаешь? Она только вчера приехала, ещё и разобраться-то толком не успела – ни в нашей жизни, ни в нас.

– Агнешке и не надо много времени. У неё есть третий глаз. Она им всё видит.

Галя смотрит в полутьме на Давида, и не понятно – шутит, или правду говорит.

Боба спит в детской своей кроватки рядом, посапывает.

Слышно, как Бабушка Агнешка ходит по своей комнате, её шаги ровные и размеренные, будто часы – тик-так, тик-так.

– Что за третий глаз? – спрашивает Давид и усмехается. – Сказка из детства, да?

– Из детства, – кивает Галя, смотрит на него нежно. – Только не сказка это. А самая что ни на есть правда. Слушай.

Тысячу лет назад Польшей правил Болеслав Храбрый – первый польский король. Был он не только храбр, но и хитёр, изворотлив, как лис, вероломен и безжалостен.

Рассказывали, передавали шёпотом да с оглядкой, что если Болеслав кого заподозрит в измене или «худых мыслях» – дважды не подумает – ослепит, вырвет глаза собственными руками.

Женщин Болеслав презирал, женился многократно, тех жён, что не могли ему угодить, отсылал обратно в их знатные семьи, не брезговал и наложницами.

Но у всякого камня есть своя мягкая ямка. Дабы заручиться дружбой могучего Киевского Царства, решил Болеслав выдать замуж свою юную дочь за одного из сыновей Святого Владимира.

Выбор пал на Святополка, старшего брата, на свадьбу съехалась вся киевская и польская знать.

Здесь-то и встретил Болеслав женщину, которая перевернула его жизнь.

Это была Предслава, сестра Святополка.

До сих пор сохранились рассказы современников о прекрасной Предславе – была она стройна, высокая ростом, бела лицом, волосы имела до пят и были они чернее воронова крыла, а глаза её синие сияли, и была в них чудесная сила – говорили, что Предслава своим взглядом умела снимать порчу и хворобу, а это означало, что она обладала древним языческим знанием – то есть Третьим Глазом.

Третий глаз – способность видеть человека насквозь – на самом деле не очень помогает в обычной жизни, а попросту говоря – мешает.

Вот и Предславе помешало – на предложение руки и сердца Болеслава Храброго она ответила насмешливым отказом.

– Ты, Болеслав, жаден, хитр и лицом хмур, – сказала она, – кроме того, склонен к прелюбодейству, ну зачем мне такой муж?

Затаил Болеслав великую злобу, а больше всего на себя – каждую ночь снились ему прекрасные синие глаза и белые груди, просвечивающие через тонкую вышитую рубаху.

Не прошло и полугодя, как он подговорил своего зятя Святополка, собрал войско из наёмников-печенегов и пошёл на Киев войной.

Ярослав, младший брат Святополка, из города бежал, великим киевским князем провозгласили Святополка, а Предславу, вместе с другими пленными и награбленными богатствами, Болеслав увёз домой и поселил во дворце на Ледницком острове.

Галя замолкает, вглядывается в прошлое, будто вспоминает, как бродила по тёмным лабиринтам дворца, как останавливалась у узких, прорубленных в скале окон, смотрела в небо, мечтала улететь.

– А дальше? – спрашивает Давид.

– Дальше случилось волшебство, – говорит Галя. – Полюбил Болеслав свою пленницу без памяти. Так полюбил, что прекратил набеги на соседей, переселился из своего дворца на этот самый остров и научился счастью.

– Почему ты так уверена? – в голосе Давида сомнение. – И разве счастьем можно научиться?

– Запросто. Любовь – это и есть наука счастья. У Болеслава с Предславой родилось семь мальчиков. И каждый из них был синеглаз. А если сын похож на мать, значит, зачат в любви.

– Хорошо, что у нашего Бобы синие глаза, – замечает Давид и обнимает жену.

– А как иначе? – прижимается к нему Галя.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С именем для новорождённого всё решилось быстро, Боба так Боба, очень даже подходит, серьёзный, обстоятельный, щёки, опять же, у него круглые, наливные, чисто яблоки, Боба и есть. Зато со всем остальным всё было не так и просто.

Например – что с обрезанием?



– Ну, Давид, поздравляю, отличного парня вы с Галей родили, – похлопал его по плечу доктор Крик, – а что с обрезанием? На брит милу пригласишь?

– Да нет, я думал сделать сам, здесь, в больнице, привезу его через недельку.

– Э, нет, вот ещё выдумал, это ж праздник какой, давай, давай, назначай день, мы всем отделением придём, будет весело, вы, небось, там, в своей России, и не слышали, что такое настоящая брит милла?

– Брит милла? – Галя в ужасе смотрит на Давида. – Ты что, хочешь, чтобы нашему Бобе писюлечку обрезали?

– Да не обрезали, а срезали лишний кусочек кожи, – Давид улыбается, но ему не по себе. – Это нормально, и не так уж и больно, ему раввин перед этим каплю вина даст.

– Раввин? Вина? Ребёнку? – Галя поднимает брови ещё выше. – погоди, я, наверное, что-то не поняла. И так, ты утверждаешь, что соберутся сто пятьдесят образованных людей, проще говоря, медиков, будут есть, пить и радоваться жизни, а потом обрадуются ещё больше, ведь на эту вечеринку придёт раввин, который напоит твоего сына вином, а потом отрежет ему лишнюю кожу на... Какое-то язычество, тебе не кажется? И, кстати, что значит лишнюю? Ты хочешь сказать, что Бог создал человека несовершенным? Что человек лучше Бога знает, что и в каком месте отрезать маленькому мальчику?

– Галенька, но всё будет совсем не так, как ты себе представляешь.

– А как? – Галя разошлась не на шутку, Давид и не помнит, чтобы видел её такой, вот тебе и материнский инстинкт. – Как, по-твоему, будет? – она задумывается, но вдруг улыбается и победоносно заявляет.

– Да и не придёт никакой раввин. По израильским законам Боба и не еврей даже. Ты что, забыл, что у меня в удостоверении личности записано? Национальность неизвестна. Выходит, и у сына твоего она неизвестна. Выходит, и он непонятно кто.

– Почему же это непонятно кто, – обиженно отвечает Давид, – Очень даже понятно. Боба Шварц. Пусть наполовину, но еврей же.

– Ну, это как считать, – возражает Галя, и щеки её горят, а волосы пушистые и чёрные разметались вокруг головы, и вся она похожа на прекрасную ведьму, – Во-первых, не на половину, а на четверть, а во-вторых, а во-вторых...

Но Давид уже обхватил её всю в охапку, обнимает и тормозит свою прекрасную полку, потому что какая кому разница, насколько он еврей, собственно, все мы немного евреи, потому что от Евы, но вот перед ним его собственная Ева, и как же она прекрасна, как же ей идёт быть матерью, а все остальное мы решим, а всё остальное – ну какая кому разница – как, главное, что счастье есть, лови же его, лови.

Два тела становятся одним, и тишина вдруг такая, что только время тикает, словно бомба, но не про бомбы наш рассказ, и зачем их только люди мастерят. Впрочем, может, они и не люди вовсе.

Наутро пришлось-таки собирать семейный совет, чтобы дать высказаться каждому, даже тому, кто давно умер, или просто не смог приехать, потому что кровь – не вода, она говорить умеет.

– И так, что мы имеем? – снова горячится Галя. – Это только фашисты, чтоб они всё умерли, на двенадцать поколений назад выясняли, нет ли где примеси, неужели и мы, как они, будем? А впрочем, давайте, тогда-то уж точно, даже у меня, хоть одну двадцать четвертую часть, да найдём.

– Точно найдём, – смеется бабушка Агнешка, с ней вместе смеются далёкие Галины предки – и Болеслав Храбрый, и прекрасная Предслава, и всё те, кто рождался, влюблялся, рожал и умирал тысячу лет подряд, чтобы пару недель назад вновь появиться на свет маленьким Бобой, вон он, лежит в кроватке, глазами круглыми хлопает, будто тоже что сказать хочет.

– Посмотри-ка, – говорит Давид, – Посмотри на нашего сына. Мне кажется, он улыбнулся.

Тут же и Галя, и Агнешка, и все ангелы у изголовья, те, которым совершенно всё равно, что у вас написано в свидетельстве о рождении, – все заулыбались и тут же забыли, о чём был спор.

Георгий так и не понял, улыбался ли Боба, или просто личико своё морщил, но ему было тоже радостно со всеми вместе, несмотря на то, что в прежней своей жизни он евреев совсем не любил, а теперь, надо же как – вроде как и сам один из них, и слава тебе Господи, не самый плохой, а вернее, отличный мужик.

Георгий занёс руку, чтоб осенить себя крестом по привычке, потом опомнился, усмехнулся, подумал – а почему бы и нет, кому от этого хуже будет?

Бабушка Агнешка перекрестила малыша, Галя подула ему на лобик, Давид поцеловал розовую пятку, на том и успокоились, а обрезание – что ж, надо, так надо, устроим мы вам брит милу, хай, вэй, веселитесь, евреи.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Зойка Горилка умерла сразу после майских праздников.

Окна раздували паруса, комнату раскачивал свежий ветер с моря, а Зойка лежала на кровати, бережно укрытая цветным пикейным одеялом, руки её были скрещены на груди, лицо улыбалось.

Часы в шкапулке на секунду замерли, а потом снова застучали, пожалуй, ещё громче, чем раньше.



И опять Дудка остался совершенно один, даже не подозревая, что Георгий всегда рядом, да и толку от того, правду сказать, было не много – потому что Георгий больше размышлял, чем участвовал, больше спрашивал, чем давал советы, вот и получалось, что не Дудка у него, а он у Дудки жизни учился.

А между тем, Дудка всё больше превращался в Давида.

Деньги Зойкины пошли ему на пользу, мальчишка смог уйти с завода, найти дельного репетитора, и уже через пару месяцев поступить в медицинский институт.

Надо сказать, голова у Давида работала очень хорошо.

Может быть, из-за этого Георгию становились более понятны некоторые вещи, которые раньше казались просто дырками в узкой простыне его размеренной, не такой уж голодной и, наверно, не злой жизни.

Например, стихи.

Что там такого в этих стихах, Гошка маленький, а потом и взрослый, никогда не понимал. А Давид их находил, где ни попадая, читал наизусть и нараспев, будто молитву, так читал, что Георгию порой плакать хотелось.

«Девочка пела в церковном хоре» – нравилось ему особенно.

Всё казалось, что девочка эта вот-вот улетит, а вслед за ней улетит и Георгий, ему было приятно представлять, что вдруг он становится легче, ещё легче, настолько легче, что возможно, ещё вернётся в свою прошлую жизнь, эге-гей, туда, обратно, и, кто знает, проживет её лучше прежнего.

Хотя прежняя его жизнь, как ни старался вспомнить Георгий какой-нибудь хороший и даже главный поступок, теперь казалась ему настолько мелкой и незначительной, что было стыдно перед самим собой, и возвращаться в неё совсем не хотелось.

Он сначала не понимал почему. Ну, сами посудите, всё у него было как у людей. Родился, учился, женился. Работал, работал, работал. Вышел на пенсию и умер.

Но отчего, скажите, на похороны к нему пришло всего человек десять, да и те чужие и не симпатичные, а к этой разнесчастной Горилке, почти полгорода?

Может, оттого, что умер он глубокой осенью, когда дождь противный за воротник стекает, а Зойка, вот же повезло, в самую сердцевину мая, когда на кладбище и тепло, и сухо, и по-домашнему?

Да нет, вряд ли. Скорей всего, дело в том, что он с женой развёлся, уже давно, дети, считай, без отца выросли. Правда, на похороны пришли. Жена – та нет, не захотела. Обижена, ещё с тех самых пор, как он её бросил. А отчего бросил, он уже и не помнит. Надоело быть в ответе за других, хотелось только за самого себя, кто же знал, что радости в этом особой нет. Так без радости и прожил. Что ж, он и сам знает – виноват, но ведь и не исправишь ничего. Даже алименты не всегда платил вовремя, а бывало, что и пропускал, да что там, бывало, чаще пропускал, чем платил. Хорошо, что жена гордая была, не напоминала. Или плохо?

Детей, как пришли на кладбище, он поначалу не узнал. Слишком давно не видел. Дочка – вылитая жена получилась. Красивая. Сын тоже – высокий, статный. Пришли, положили алые гвоздики, постояли у могилы, держась за руки. Ушли, не оглядываясь. Вспоминают ли? Или, наоборот, стыдятся?

Ну, хорошо, с семьёй у него кое-как, так ведь у многих кое-как, разве нет? Да что там, у многих. Почти у всех, ведь правда?

Георгий потом несколько раз пытался с женщинами сойтись, но не сложилось. Да и привык один, за столько-то лет.

Нет, дело не в семье. Дело в работе. Сказать по правде, работу свою Георгий не любил. Но так уж сложилось, в институт он не поступил, а ведь когда-то мечтал дома строить. Тогда, много лет назад, выбирать особо было не из чего, а может, просто лень, и Георгий на первое время устроился на работу в крематорий, благо недалеко от дома, но первое время непонятным образом растянулось на всю жизнь.

Крематорий – государство в государстве, про него можно написать роман, но Георгий к писанию склонности не испытывал, и, хотя за столько лет ему было что вспомнить, ни вспоминать, ни рассказывать не хотелось. Потому-то, чем ближе к старости, тем исступлённее он мечтал о пенсии. Пенсия представлялась ему чем-то вроде острова, где есть свобода и обязательно огород, а за огородом – сад, а за садом... Что именно за садом, Георгий рассмотреть так и не успел, потому что вот незадача – умер, едва выйдя на пенсию. Умер, да не умер, снова живёт, и если бы кто ему раньше сказал, что огонь в голодной печи – и не конец вовсе, что после смерти есть обязательно новая жизнь, то он бы ни за что ни поверил.

Потому, наверно, он и жил серо, что смерти боялся, а счастьем не делился, да и где оно – то счастье?

Неужели все так живут? Да нет же, нет. Есть на свете счастливые люди, не может не быть. Каждый день им – птица, да весна, и всё-то у них в красках, и ни одной пепельной, а на часах у них вечное сейчас, вот как у Давида с Галей, например. Может, от этого теперь Георгию так нестерпимо хочется жить? Больше, чем раньше, больше, чем никогда.

Тем более, что про смерть он уже всё знает.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

– Отличный парень, дай ему Бог здоровья, – раввин Моше – невысокий молодой человек с бородакой клинышком, в чёрной кипе на почти лысой голове – растягивает слова, при этом чуть картавя, по-смешному напоминая Ленина. Он улыбается им по-отечески, передаёт в руки Давида плачущего малыша, наклоняется над ним, шепчет слова молитвы, и только что обрезанный Боба затихает, ещё помня боль, но уже позабыв, где.

Раввин Моше был, без сомнений, человеком Достоевского, перенесённым волей божьей в алебастровый Иерусалим, вместе с двумя высшими образованиями, опытом работы в госпитале Бурденко, русской красивой женой и восьмью неваляшками детьми.

Всё это вкупе с невообразимо комичным внешним видом (представьте себе Ленина в лапсердаке и с пейсами), рождало на свет этакий персонаж.

Брит-мила прошла на ура. Боба почти не плакал, Галя сумела не потерять сознание в самый ответственный момент, быстро сунула разбухшую от сладковатого молока грудь в беззубые Бобочкины десны, наклонилась над ним, так, чтоб никто не заметил, перекрестила, вдохнула его детский молочно-винный запах, заплакала тихо от счастья.

Моше переходил от гостя к гостю, улыбался, рассказывал что-то быстро, картаво, заразительно смеялся, добрые лица кружились, становились вдруг родными, как и голоса. Гале показалось, что они живут здесь давным-давно, и что весь мир – немного Иерусалим.

На следующий день Моше пришёл проведать малыша.

Ловко перебинтовав больное место, он пощекотал Бобу за ухом, а тот довольно засопел и стал завоёжено следить взглядом за раскачивающейся рукой, за пощёлкивающими весело пальцами.

– Всё у вас в порядке, приду ещё раз через три дня, но и сейчас могу сказать, что заживает всё на ура – Моше уже двенадцать лет живёт в Израиле, иврит его чист и безукоризнен, но в разговоре он охотно использует русские идиомы, которым учит своих израильских друзей, утверждая, что прекраснее русского языка может быть только язык Торы да грудь кормящей женщины.

И уже уходя, в дверях, обращаясь к Гале:

– А тебя моя жена приглашает завтра в гости, можешь прийти?

– Но куда же я с ним? – удивляется разомлевшая от материнства женщина, но голос Моше так ласков, так убедителен, что она обещает прийти с малышом, вот совсем ненадолго, правда.

Так начался новый, особенный период их жизни.

Малка, жена Моше, была добра и дородна, внешне – настоящая русская красавица, вот только вместо солидной русой косы, на голове её красовался рыжий парик с задорными вихрями во все стороны. Она занималась тем, что заботилась о Моше и вела бесплатные курсы для русскоговорящих женщин, желающих пройти гиюр¹.

Что касается восьмерых детей, то старшие заботились о младших, в доме, на удивление, был относительно порядок и, что совершенно точно, никаких жалоб и ссор между детьми.

Галя приходила два раза в неделю, сначала просто помочь, а заодно послушать умные мысли, потом, официально записавшись на гиюр, как прилежная ученица, впоследствии, уже после того, как все формальности были соблюдены, экзамен пройден, и миква², пусть и с каким-то мистическим ужасом, но опробована, Галя стала приходиться просто так, вернее, совсем не просто.

Раз в месяц их занятия посещал Моше, чаще всего с очередной лекцией.

Галя бы очень удивилась, если бы кто-то ей сказал, что она продолжает приходить в этот благословенный дом из-за этих самых лекций, из-за этого маленького картавого человечка, по десять часов в день раскачивающегося над древней книгой с замусоленными страницами.

Моше, скорее всего, был не от мира сего.

Но слушая его, было не так страшно жить.

Ведь раз отважившись...

– Раз отважившись, – воодушевленно картавит Моше, заложив пальцы за края спортука, ну чисто Владимир Ильич! – раз отважившись, вы пришли в этот мир, мало того, каждая из вас дала миру дитя, а некоторые – не одного, несколько, и что всё это значит? А это значит, что именно ваши дети этому миру не дадут погибнуть, если только вы им про это расскажете.

Я не говорю – спасут – я говорю – не дадут погибнуть. Почувствуйте разницу!

Ибо нет жизни счастливее, чем жизнь, прожитая во благо.

И неважно – сколько она продлится – двадцать, сорок или семьдесят лет.

Ибо что есть время? Лишь скорость, с которой вы листаете древние книги.

Ибо что есть жизнь? Короткая остановка перед сменой дороги.

А дорога у всех нас одна – восьмёрка, уложенная на бок, ни конца, ни начала, но раз отважившись, мы все оказались здесь, и ни одного из нас из этой самой восьмерки не выбросить, а потому – каждый в ответе за каждого, ибо все мы – лишь неразумные дети.



И пусть страница сменяет страницу, а морщины комкают нежное прежде лицо.

Вам кажется, что часы начинают тикать медленнее, а потом и вовсе останавливаются. Но это не так.

На самом деле – поменялась скорость вашей жизни, вы узнали главное, а потому вам некуда спешить.

А главное заключается в том, что вы накопили добро, ведь без добра вас не пустят в новую жизнь, ту самую, которая начнётся на следующем витке восьмёрки.

И вы начинаете делиться этим добром, кто раньше, кто позже, да это и не важно, важно другое – успеть поделиться, потому что делиться – значит умножать.

Моше начинает раскачиваться, с носка на пятку и обратно, женщины смотрят на него заворожённо, потому что «раз отжившись».

– Ведь что происходит в конце? – неожиданно тихим и проникновенным голосом продолжает он. – В конце, как в яйце, заключено начало. И только поэтому злой человек, когда приходит его очередь провалиться в ледяной туннель, летит по нему бесконечно-долго, пока не родится заново, а добрый – находит выход через мгновение, чтобы начать новую жизнь.

Я же прошу вас об одном – не забывайте заботиться обо всех – и о добрых, и о злых, ибо все мы – дети, и никому не выбраться.

Женщины слушают простые слова с непростым смыслом, им кажется, что всё ещё будет хорошо, а может быть, и ещё лучше, молитва звучит и звучит, древний язык обещает великое знание, высокое небо раскачивается и обещает покой.

Хотя бы на первые несколько тысяч лет.

Пока часы тикают хотя бы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Георгию нравилось в его новой жизни всё. И это было непривычно.

– Так не бывает, – нашептывал иногда внутренний голос. – Так не бывает, чтобы всё хорошо, даже в яблоке есть червоточины, что ж про жизнь человеческую говорить?

Георгий отлично понимал, что единственной червоточиной можно было считать этот самый внутренний голос, но, слава богу, с годами он звучал всё реже, всё слабее.

Зато появился другой. Мудрый, спокойный, неторопливый. Его приносил розовый ветер пустыни. А пустыня – это не место, пустыня – это судьба. Приходилось прислушиваться.

– Доктор, скажите, – женщина ещё молодая, удивительно красивая, только голова вся белая, и глаза такие – будто без век, будто она их никогда не закрывает, даже ночью, – Доктор, скажите, а после наркоза, когда всё кончится, и я очнусь, может ли так случиться, что у меня вот тут, – и она стучит пальцем по своему высокому, чистому лбу, – что у меня вот тут правильный человек превратится в неправильного?

Операция предстояла срочная, пришлось будить дежурного психиатра, а что поделаешь, если защемлена пупочная грыжа, и это значит – надо открыть живот прямо сейчас, а ещё лучше вчера?

В истории болезни женщины стоял диагноз «шизофрения», торчал, будто кол, мешал, болел.

Наблюдалась она амбулаторно, последняя госпитализация аж пять лет назад, то есть лекарства работают, и она не опасна ни для себя, ни для окружающих, но кто знает, что будет с правильным человеком в её голове после общего наркоза?

Станет ли он неправильным? А потом может быть хуже – родит ещё нескольких неправильных, ещё и ещё, и мозг её сначала превратится в гуляющий улей, где поселятся несогласные друг с другом пчёлы, а потом... Кто знает, что будет потом?

Дежурный психиатр не обещал райских куш, но разрешение на операцию дал, с известными оговорками, с определённым набором советов и пожеланий.

– Всё дело в том, – продолжает женщина обманчиво-доверительным тоном, – что раньше у меня в голове жило много людей, ну, всех тех, которыми я была до того, как, понимаете?

Она прищуривается и смотрит будто сквозь, продолжает с нажимом:

– Им было так трудно житься друг с другом, что у меня началась шизофрения, а шизофрения – это что-то вроде коммуналки, если, конечно, вы помните, что это такое.

Георгий в отличие от Давида помнил. Как же давно это было! Не иначе, как в прошлой жизни.

– А потом мне подобрали хорошие таблетки, – продолжает она, – И в голове осталась только Клара, а она, между прочим, очень даже правильная. Меня тогда психиатр наблюдал. Смешной такой. Он меня немного боялся, я чувствовала. Боялся, что я разбужу в его голове всех тех, кто... Неважно.

Она смотрит на Давида подозрительно, будто боится проговориться. – Это давно было, в прошлой жизни, – голос её становится уж совсем ласков, она теребит его за рукав, заглядывает в глаза. – Вы же знаете, что жизней много, да?

Давид глядит на неё спокойно, кивает.



Он сталкивался с такими больными и раньше. Главное, им не перечить. Главное, не задумываться о том, что они, скорее всего, правы.

Георгий усмехается. Конечно, правы. Слава богу, он пока только одну прошлую жизнь помнит. И то, как трудно бывает не перепутать, понять, кто ты на самом деле, не совершить то, за что потом много жизней вперёд расплачиваться придётся.

Операция прошла успешно, женщина проснулась, как и положено, задышала сама, с удовольствием и полной грудью.

Давид размылся, переоделся, заглянул в послеоперационную.

– Клара, меня зовут Клара, – женщина лежала вытянувшись, будто солдатик, уставив глаза в потолок.

– Как дела, Клара? – он накрыл её тонкую, в синих выпуклых венах, руку своей, несильно сжал, будто боясь, что она вдруг улетит.

– Клара, меня зовут Клара, – она повернула к нему потерявшее красоту лицо.

Он никак не мог уловить его выражения, выражение испарилось, а вместе с ним и красота.

Будто на лице появилась тысяча глаз, и каждый смотрел в свою сторону.

Женщина отвернулась, начала шарить вокруг руками, потом жестиковать, то кивать, то не соглашаться, рот её был плотно сжат, единственные слова, которые она себе позволяла время от времени были всё те же:

– Клара, меня зовут Клара.

– Это чтобы не забыть, чтобы не потеряться среди прошлых жизней, – подумал Георгий. – Она ещё не поняла, самое правильное – это не бояться. Никогда и ничего не бояться. Ведь самое страшное уже произошло. А значит, теперь будет только лучше.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Новый язык проникал в кровь, как солнце в виноградины.

Буквы брались за руки, соединялись в слова, слова братались, бежали друг за другом, иногда натыкаясь на чужие – русские, арабские, румынские, чтобы дальше бежать вместе.

Горячее, с притыханием, ИНШАЛЛА, ледяное БЛАДЬ, презрительное МАМАШ – слова оказывались под рукой, вернее под языком, в необходимый и единственно возможный момент времени, употреблялись с удовольствием, своею горечью и сладостью напоминая то песок пустыни, то пыльцу надежды, наполняя музыкой торопящуюся к концу жизнь.

Иногда, особенно после долгого и трудного дежурства, Давид ловил себя на мысли, что эта самая мысль пришла к нему не на привычном русском, а на иврите.

– Представляешь, я будто в чужую жизнь провалился, вдруг думать на иврите начал, – рассказывал он потом дома, а Галя сидела напротив, подперев голову кулачком, слушала, пропитывалась им, любовалась. Она и сама не могла понять, отчего так «пристально» его любит, именно пристально, так она придумала, так ему и говорила:

– Давидушка, господи, надо же, как пристально я тебя люблю.

От этой любви приходили страхи, Галя иногда просыпалась ночью, смотрела на спящего мужа, слушала его дыхание, завидовала сама себе.

А утром ему рассказывала об этом смеясь, только глаза тревожные.

Давид старался её оберегать, ничего грустного не рассказывать, но в больнице чаще грустное происходит, на то она и больница, зато именно сегодня был повод веселиться, их пригласили на свадьбу.

Свадьбу устраивал Сами – медбрат из их отделения, красавец и умница, вот уже два года он встречался с Айелет, медсестрой из онкологии, над ними все подшучивали, что им ни в коем случае нельзя заводить детей – ведь у таких красивых родителей дети будут прекрасны, словно ангелы, а так не бывает.

– Так не бывает, – кричала и билась в истерике Айелет пару дней назад. – Этого просто не может быть.

Сами тогда принёс для всех приглашения на свадьбу. Ворох белоснежных открыток рассыпался и взлетел, будто ворох лебедей.

Надпись внутри каждой была затейлива, аж на трех языках – на иврите, арабском и на русском, буквы цеплялись одна за другую, натыкались, стукались одна об другую, ослепли они, что ли?

Арабские слова высоко задирали головы, гордо сообщая, что Сами из деревни... берёт себе в жены шестнадцатилетнюю троюродную сестру Фатму, ведь они помолвлены с детства, к тому же Сами, как правильный арабский мужчина, только что закончил строительство большого дома для своей невесты, и это не просто дом, а самый большой в их деревне, ещё бы, он его строил целых два года.

– Два года, – рыдала в раздевалке Айелет, – два года он говорил, что любит меня, что не может без меня жить, приходил к нам домой, играл с отцом в шеш-беш, мама полюбила его, как сына, а я... А я... Куда же мне теперь без него?



Открытки взлетали, мы их ловили, вчитывались ещё и ещё, а ну-ка, может быть, всё ещё совсем не так плохо? Может, мы не так поняли, неправильно перевели?

Но строчки расплзались, рвались с треском, ивритские слова шатались и падали от горя и предательства, русские недоумевали и качали головами, они не понимали, что не может жениться арабский парень на еврейской девушке – не может и всё.

– Отчего же? – шептала Айелет, вглядываясь в глаза любимого.

Но из глаз на неё смотрела пустыня, та, которую не обнять.

На свадьбу, из уважения к Саму, собиралось придти всё отделение, Айелет ушла на больничный, Давид принёс приглашение домой, рассказал, что их приглашают, что деревня эта совсем недалеко, а Боба уже большой, уже даже ходить научился, пусть неуверенно, пусть ещё заплетаясь тонкими ножками, но ведь запросто можно его взять с собой, отчего нет?

– А кто женится? А кто ещё идёт? А платье обязательно чтоб в пол?

Галя так давно никуда не выходила, что порозовела и оживилась, похорошела так, что...

Давид целует её закрытые глаза, губы, засыпает рядом, успев лишь произнести:

– А платье можно и короткое. Пожалуй, даже лучше будет.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Георгий в глубине души был против этой дурацкой затеи – ехать на арабскую свадьбу, в какую-то там деревню, к этому гнилому Саму, который целых два года обманывал не только бедную Айелет, но и, как ни крути, их всех.

Неужели нельзя просто поехать погулять, например, на тель-авивскую набережную, взять с собой потешного Бобу, нащелкать фотографий, а потом пройтись вдоль моря обнявшись, ловя губами соленый ветер.

Но Галя уже сделала высокую причёску, подвела свои колдовские синие глаза, и губы ее вдруг стали еще мягче и еще слаще, а это золотое платье, гляди-ка, обхватило бедра, и дразнится, господи, как же ему повезло в этой новой жизни.

В прошлой жизни у Георгия было всего две женщины. То есть, тех, которых хотелось вспоминать, всего две.

На Светке он женился почти сразу после школы, знали они друг друга с самого детства, да вышло, что совсем не знали.

У них родилась сначала девочка, потом мальчик, но Георгию вся эта семейная жизнь была не в радость, всё время хотелось, чтоб тишина, покой, чтоб не трогал никто, не мешал... А чему, спрашивается? Уже и не вспомнить. Вроде и не было у него особых дел, а поди ты.

Так они со Светкой и разошлись, будто и не встречались, он её почти не вспоминал, как, впрочем, и детей. А может, у него внутри какого винтика не хватало? Винтика любви, например?

Потом было несколько случайных, несчастливых, жалобных, как он их про себя называл, женщин, пока он не нашёл себе Надю, была она серьёзная, хозяйственная, правда старше его, пусть ненамного, но детей совместных заводить было поздно, а несовместные его не интересовали.

Надя тоже недолго прожила с ним, умерла от какой-то сложной и быстрой болезни, он так и не понял, какой, да особо и не вникал, потому что ещё с детства боялся всего того, что связано с медициной, а может, и не поэтому.

Он особо не вникал, за умирающей Надей приехала ухаживать дочь, а Георгий исправно, раз в день, звонил в хоспис, интересуясь, как оно там, а если уже, то ну вот.

Говорю же вам, не принимал он всю эту медицину, а попросту говоря, боялся.

Надо же как получилось – боялся-боялся, а в новой своей жизни стал врачом, да не просто врачом, а хирургом, и каким!

Всего три года работает, а уже заместитель начальника отделения, уже лекции в университете приглашают читать, но самое главное – больные, есть такие, что готовы на него молиться.

А он – на них.

Потому что каждая спасённая жизнь прибавляет тебе силы.

Ведь чтобы кого-то спасти, надо быть очень сильным. Сильнее времени.

И вдруг ему стало отчетливо ясно, что каждый новый виток восьмерки, той, которая уложена на бок, помогает открыть всё хорошее, что в нас спрятано, иначе победит другое, плохое, и время понесётся в обратную сторону, покатится, будто круглые золотые часы, теряя колесики веры, винтики любви, а с ними и надежду на иную, правильную жизнь.

Ту, которую обязательно надо разделить на всех.

А как же иначе?



Но Григорий так и не успел додумать свою мысль, потому что Галя и Боба уже сидели в машине, а он – надо же – замешкался на пороге, даже вернулся, будто забыл что, только вот что?

– Не возвращайся, пути не будет, – будто в шутку крикнула ему из машины Галя, а он стоял посредине прихожей, оглядывался вокруг, не понимая, что так беспокоит, будто тикает внутри, потом вдруг догадался, прошёл в спальню, открыл шкатулку, ту самую, с милой женской головкой, за столько лет даже лак на крышке не потрескался, надо же, достал полотняный мешочек, вытряхнул на ладонь тяжёлую луковичу часов.

И опять время будто остановилось.

Тишина такая, только тиканье, а может, это летящие в пропасть камни.

Давид подкрутил колёсико на боку, потёр пальцами крышку.

Пальцы нащупали знакомые на ощупь слова «Фире от Бори в день...».

– День бракосочетания. Надо же. Вот оно что. Прямо к свадьбе этой.

И, наконец, вышел из дома, зачем-то положив часы в карман.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда Георгино было двенадцать, у него умер отец, хмурый лагерный вертухай.

Когда Дудке было двенадцать, у него умерла мама Фира, тяжело осела, вскрикнула, и больше её никогда не было.

Фуаду тоже двенадцать, и у него недавно умер старший брат. То есть, не просто умер. Его убили. Вот эти, да, которые в машине едут. Или похожие на них, какая разница.

Чем дальше по жёлтой дороге несётся машина, тем беспокойней Георгино, и тем сильнее кажется, что он немного не здесь, но если не здесь, то где?

И что такое это «не здесь»?

Всё, что осталось за циферблатом – лишь колючее больничное одеяло, оголившее мёртвый бок, да беззубое чавканье соседа по палате, ну ещё, пожалуй, шелест больничных халатов, а остальное... ни родных, ни друзей рядом, да и сам Георгий ушёл, провалился в тартарары, все локти себе изодрал об ледяной туннель.

Но позвольте, если его нет ни здесь и не там, то где же он на самом деле? И что ему эта пустыня?

Жёлтая дорога становится всё уже и уже, начинает петлять. Огромное красное солнце приглядывается к путникам, щурит свой единственный глаз, втыкает в песок горячие лучи, опирается на них, идёт устало.

Но Георгий очень хорошо знает, что Солнце никогда не устает, Солнце – это такая батарейка, от которой подзаряжается всё сущее, недаром же наши предки считали его Богом.

Вот ещё интересно – про Бога – кто он на самом деле и откуда? Надо будет додумать, но потом, потом, сейчас просто не до того, ишь, как машина разогналась, и куда они так несутся?

Георгий одним глазом следит за дорогой, другим – за неподвижным хамелеоном на обочине.

Хамелеон сидит не моргает, веки его тяжелы.

Неподалеку расположился Фуад, арабский паренёк, они чем-то похожи.

Мальчишка хамелеону не мешают, ему мешают мысли Георгия, потому что люди не должны вторгаться в неведомое, даже если они живут вторую жизнь подрада.

Георгий тоже немного хамелеон – он тоже умеет слышать чужие мысли.

Первыми приходят мысли Давида:

«Хорошо, что мы пораньше ушли, свадьба свадьбой, и родители Сами оказались приятными людьми, но Боба совсем устал, стал капризничать, вон как сморило, уснул, только в машину сели».

Затем врываются мысли оборванного мальчишки на обочине, как его зовут, кажется, Фуад:

«А если Аллах так хочет, так ведь воля его священна, значит, так тому и быть».

И тут же – мысли нахального Хамелеона:

«Про Бога ему интересно, до Бога тебе ещё столько раз умирать и оживать, что устанешь, обратно запросишься».

Чужие мысли обступают – тесно, ещё тесней – начинают кружиться – сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее, гудят, гомонят, заглядывают ему в глаза, да Георгий уже и сам обо всем догадался, он теперь точно знает, что случится через минуту, и мучительно ищет выход, зная, что в ледяном туннеле лучше надолго не застревать.

Ему начинает казаться, что он не человек, а птица, иначе как это возможно, вдруг увидеть пустыню с такой высоты?

– С такой высоты невозможно ни во что вмешаться, вот оно как, – догадывается он и холодеет, несмотря на жар близкого солнца, – так и Бог, наверное, смотрит на нас, плачет, а ничего изменить не в силах. А как устает плакать – превращается в Хамелеона, сливается с песком, слушает гиблые мысли:

«А если Аллах так хочет, так ведь воля его...».



Где она та воля? Кругом слова, слова, будто колючей проволокой опутывают они Фуада, чтобы вырваться – есть один выход – размахнуться сильнее, ещё сильнее, вот так, да, разжать пальцы, и пусть этот камень летит.

С высоты видно, как машина вдруг спотыкается на ровном месте, начинает ехать зигзагами, снижает скорость, заваливается на бок, замирает на несколько долгих секунд, а потом переворачивается, и ещё.

По лобовому стеклу расходятся лучи.

Камень ударил в него, кусок стекла вывернулся, разрезал плечо, шею и грудь Давида, ещё несколько секунд тот пытался не отпустить руль, а потом умер.

Галя сидит на заднем сиденье, она вцепилась в детское кресло, на ней ни одной царапины, даже удивительно.

Боба не плачет, он открывает рот, кричит, но без голоса, ремень крепко держит его тельце, так крепко, что страшно больно, вернее, и страшно, и больно.

Фуад подходит ближе, смотрит на покалеченную машину, на женщину внутри.

Гале кажется, что она его где-то видела.

Она думает, что он пришёл помочь, раскрывает рот и тоже кричит.

Рядом останавливается армейская машина, Георгий видит, как из неё выскакивают двое, один бежит к Гале и Бобе, второй поворачивается к Фуаду, достаёт пистолет.

И опять он слышит мысли Хамелеона, они такие громкие, что хочется заткнуть уши и никогда больше не...

– Ты можешь спасти одного из двух. Либо Бобу, либо Фуада. Тебе выбирать – кого. Маленький Боба через тридцать минут умрет от внутреннего кровотечения. Фуада через пять минут застрелят на месте.

Но учти вот что.

Если ты выберешь Бобу – он будет жить долго и счастливо.

Если ты выберешь Фуада, вся жизнь его пойдёт по-другому, и он никогда не окажется здесь, на обочине, с тяжёлым камнем в руке, и никогда не убьёт ни Давида, ни Бобу, ни многих других после.

Одна из этих жизней – твоя.

И помни – только реку нельзя повернуть вспять.

И ещё – даже камень можно сделать добрым.

А теперь выбирай.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Георгий отворачивается от машины, от Гали, от Бобы, на плечах его камень, тяжелее самой Земли.

Ноги сами несут его к Фуаду, он не думает, он не позволяет себе думать, «простая арифметика, – шепчет он, – простая арифметика, я спасаю не убийцу, а всех его будущих жертв», в конце он уже бежит, торопится, задыхаясь песчаным ветром, успеть, успеть, успеть, схватить мальчишку за плечо, – как там это было – «мы в ответе за каждого»? – оттолкнуть, подставить себя пуле, и – ох...

Всё, что происходит потом, не имеет звука и запаха, не имеет иного цвета, кроме розового и серого, розового – потому что пустыня, серого – потому что война.

Вот совсем ещё маленький Фуад, он сидит на земле, лицо его грязное от пыли, пота и слёз.

Вот старшие братья, они стоят поодаль, переговариваются, не замечают его, а может, только делают вид, зато отец совсем рядом, он сидит на каменном крыльце, смотрит как-то странно, будто не узнаёт своего собственного сына, неподалёку мать, она развешивает на верёвках хлопающее крыльями бельё, изредка вскидывая кроткие глаза на мужа.

Георгий суетится, ему хочется встать, махнуть руками, кричать, и бежать, бежать, но он уже немного Фуад, а у Фуада тяжело на сердце, и ноги кажутся ватными, поэтому он продолжает сидеть на земле, а вместе с ним и Георгий, конечно, потому что... единожды отважившись... что это и откуда?

– Вот тебе и новая жизнь, – думает Георгий, ищет глазами хоть что-то привычное, дорогое сердцу, но ничто не обещает и не зовёт – ни пейзаж – голые, бледные горы, чахлые островки зелени на них, плоские воронки в песке, будто лунные кратеры, ни звуки – гортанная незнакомая речь, да разве это и есть арабский? И где, я вас спрашиваю, горячая ИНШАЛЛА, каркающая КАПАРРА, где нестерпимая УАГА, где этот ваш Аллах, господи, прости?

– Вот тебе и новая жизнь, – думает Георгий, – Но правильный ли выбор я сделал? – а перед глазами его Боба, маленький, смеющийся, ковыляющий на слабых своих ножках к матери, которая подхватывает его, прижимает к сердцу, а в руках её пустота.

– Вот тебе и новая жизнь, – пытается он сказать вслух, подходит к Фуаду, но и братья, и отец смотрят на него по-волчьи.

– Эй, Фуад, пошли, хватит реветь, разве ты не мужчина?

Братья обступают мальчишку с трёх сторон, и тот поднимается – сначала нехотя, а в конце пружинно.

нисто и легко, он действительно гибок и ловок, он действительно почти мужчина, так откуда эти слёзы?

Четыре серых тени идут по розовому песку. Они не торопятся, но Георгию – Гошке за ними не угнаться.

Сначала он ещё пытается идти, но ноги его вязнут, тогда он останавливается – сначала на минуту, потом на две, это всего лишь время и оно тикает, пусть, это совсем недолго, стрелки на круглом плоском солнце движутся так медленно, что по Гошкиному лбу начинает течь горький пот.

– Тик-так, – слышит он, озирается вокруг себя, и вдруг замечает, что солнце спустилось гораздо ниже, ноги его увязли в песке по щиколотки, по колени, выше, выше, песок уже поднялся до груди, так, что тяжело дышать, а четыре серые тени так далеко отодвинулись от него, что он понимает, что это и не тени вовсе, а четыре стороны света, и они серые, как тоска.

Неужели он ошибся с выбором?

Хамелеон смотрит на него не мигая, не поймёшь – сердится?

Георгий пробует повернуть голову к дому – на месте дома за это время выросла гора серого песка, ни одной живой души кругом, ах, нет, кто-то всё-таки есть.

– Мама, – кричит маленький Гошка, – и мама действительно появляется, но не видит его, глядите, глядите, она занята, что это у неё в руках?

Это полощется на ветру мокрое бельё, его надо развесить, подожди-ка, подожди, сынок.

А может, это и не мама, а мама-Фира, или Зойка Горилка, но они же умерли, тогда это Галя, она просто ослепла от слёз, вот и не видит его, свою кровиночку, так подойди же к ней сам.

Женщина обращает к нему лицо, оно такое доброе, что песок начинает отступать, Георгий нащупывает в кармане часы, четыре серые тени оборачиваются, зовут, машут руками, вокруг них не песок, а пепел, нет, нет, ни за что! Он пятится, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее, и вот уже просто бежит, туда, к ней, к Гале, только бы успеть, а четыре серые тени уходят, и пусть, – он с ними разберётся потом, только бы успеть, мама, мама...

Фуад падает на землю, из пулевого отверстия в шее быстро вытекает кровь. Четыре тени исчезают.

Бледного Бобу вытаскивают из перевернутой машины, кладут на носилки, скорая, быстрее, быстрее.

– Правильный выбор, – шепчет Хамелеон.

– Боба мой, – измученная Галя склоняется над ним, целует его в щеку, лоб, шею, тербит, вытаскивает из ледяного туннеля, и он начинает слышать далёкий гром, и видеть иные краски, дождь приходит в пустыню, всё-таки здорово, что он выбрал правильную жизнь, а что бельё снова промокнет – так это неважно, вот и доктора суетятся вокруг него, а кто-то удовлетворённо произносит:

– Крепкий у тебя мальчишка, будет жить, – и солнце опускается наконец на землю, словно огромная золотая луковица, катится по пустыне, только стрелки мелькают – тик-так, тик-так, да надпись из бедуинских костров – «Фире от Бори, в день...», но дата стерта, да и не важно, что за день был вчера, главное – каким будет завтра, куда вот-вот впустят маленького Гошку, а с вместе с ним – Бобу, Дудку и нас с вами.

Идёте?

Не бойтесь, самое худшее уже произошло.

Теперь может быть только лучше.

¹ Гиюр (*ивр.*) – обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим обряд.

² Миква (*ивр.*) – в иудаизме водный резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты.

НИНА ГАБРИЭЛЯН

ХОЛМЫ НАД ЖЁЛТЫМ ВРЕМЕНЕМ

ПАМЯТЬ

Левону Мкртчяну

ПАМЯТЬ ПЕРВАЯ

Там, в памяти – от солнца жёлтый двор
И красный мяч, упавший под забор.
Там девочки бегут через ручей,
Там чей-то смех, а может быть, ничей,
Там продают прозрачный виноград
И там никто ещё не виноват.

ПАМЯТЬ ВТОРАЯ

Там, в памяти – какой-то тусклый двор
И тянется, и тянется забор.
Глухой поток речей, речей, речей.
Чей это смех? Нет, кажется, ничей...
Авоська. Очередь. Кухонный чад.
И каждый перед всеми виноват.

ПАМЯТЬ ТРЕТЬЯ

Там, в памяти – больничная стена,
И виден жёлтый дворик из окна:
В нём девочки бегут через ручей,
В нём чей-то смех, а может быть, ничей.
На тумбочке – прозрачный виноград.
Уже никто ни в чем не виноват.

Голубая калитка сада...
Ах, когда, когда это было?
Небо, цвета дикого мёда,
Тёмным жаром набухшие маки.
Над щербатой миской с черешней
Золотая пчела кружила,
Выводила в воздухе смуглом
Золотые тайные знаки.
Ах, когда, когда это было?
Мама розовую салфеткой
Отгоняет пчелу от миски,
Письмена золотые рушит.



А над самою головою
Там, где с веткой срастается ветка,
Домовитый паук свивает
Зыбкий мир из прочнейших кружев.

Где калитку эту найти?
У отца моего был сад...
Но нету туда пути
И нельзя вернуться назад –
В тот полдень, под тот небосвод,
Под шелковицу ту...
А я всё который год
К этому саду иду.
Там отец мой и рядом – мать...
Беседуют, шурясь на свет...
Но слов мне не разобрать,
Потому что меня ещё нет.
Шелковица тихо шуршит,
С листьев каплют блики лучей.
Из-под корней бежит
Белый ручей.
И множество смутных лиц
Дрожит в водяной пыли –
Это те, кто не родились,
И те, кто уже ушли.
И смотрят отец и мать
В зеркальное бытие,
И я не могу понять,
Какое из лиц – моё?

Давят горло чужие пальцы...
Где мой голос, корявый и хриплый?
Мне бы деревом оставаться,
А меня превратили в скрипку.
Обрубили грубые корни,
Уходившие в глубь земную,
Мне, питавшейся почвой чёрной,
Пившей воду небес ледяную.
Может быть, я избыток силы
Воплотила бы в жарком плоде!
Кто воловьи вялые жилы
Приживил к моей дикой плоти?

Кудрявый ребёнок сидит под горой
И красное яблоко держит в руке.
Кольшется, плавится бронзовый зной,
Ползёт по камням и дрожит на реке.



Кудрявый ребёнок сидит под горой,
И стадо спускается на водопой,
И бык меднорогий склоняется, пьёт
Могучую силу полуденных вод.
Вот так бы всё длилось века и века:
Ребёнок, и полдень, и зной, и река.

ХОЛМЫ

1

Холмы, холмы над жёлтым временем
Пылают в бликах голубых.
Как в чреве женщины беременной,
Спит прошлое до срока в них.
Холмы, холмы,
К земле приросшие.
Погружено в утробный сон,
В них глухо шевелится прошлое,
Словно гигантский эмбрион.

2.

Долина, пламенем объятая,
Сверкает в голубой пыли.
Здесь наши города богатые
Под землю некогда ушли.
Как бережат лучи полдневные
Шиповника кровавый плод!
Прильну к земле, услышу – древняя
Из-под земли зурна поёт.
И вижу я сквозь время смутное
То, что сокрыто под холмом:
Там девочка играет смуглая
С большим коричневым жуком.
И детских рук так хрупки линии
В тяжёлом бронзовом песке!
И платье такое синее,
Как вена на моей руке.

3.

Холмы, холмы,
Большие, голые,
А может, вовсе не холмы,
А вздохи пращуров тяжёлые
Восходят из подземной тьмы.
Как дышат тяжело
Умершие!
Прислушайся, услышишь сам.
Холмы, холмы, окаменевшие
На поддороге к небесам!



СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРМЯНСКАЯ МИНИАТЮРА

Армения бредёт сквозь кровь и пепел бурый,
 А здесь, в монастыре, склоняясь над листом,
 Художник Киракос рисует миньятюры
 И красный с голубым цветут на золотом.
 Горячий чёрный зной навис над древним краем,
 Над смуглым ужасом иссохших детских лиц.
 Художник Киракос рисует двери рая,
 И яркую листву, и разноцветных птиц.
 Твори, ведь у тебя такая есть свобода,
 Как велика она – размером в целый лист:
 Там дерево цветёт и под зелёным сводом
 Стоят апостол Пётр и Марк-евангелист.
 Копытами коней, храпящих, сумрак пьющих,
 Раздроблено лицо страны твоей родной
 И кисточка дрожит, плулая в райских кущах,
 Залитых ласковой небесной синевой.
 Спеши, ведь там, в грязи горячей умирая,
 Стенают матери, прижав детей к груди.
 И если ты сейчас не нарисуешь рая,
 То после смерти им куда с детьми брести?

*И пробудился я, и встал.
 Костандин Ерзнкаци*

Встань, уйди в голубые поля,
 Где предутренный свет колосится,
 Где бредёт сквозь туман бытия
 Одинокая ранняя жнища.
 Наступая на блики планет,
 В промежутке меж светом и тьмою
 В даль бредёт, где мерцает просвет
 Между небом и синей землёю.
 В промежуток меж светом и тьмой
 Встань, пойди за жнеей одинокой –
 И увидишь тогда пред собой
 Уходящую в вечность дорогу.

ЕЛЕНА ФРОЛОВА

РЕЖИМ ПОЛЁТА

Этот запах прелых, упавших на землю листьев,
Чуть прижаренных солнцем, уставшим от гулко-го лета,
Этот запах всегда янтарный, холодный, чистый.
И ещё – горьковат, как проигранная вендетта.

Этот запах опять заставляет купить до Рима
Или лучше Лондона билет с пересадкой в Вене.
И тогда твоя жизнь становится неощутима,
Как потерянный евро в хрусткой пачке размена

Где-то в Гэтвике. В сумке бутылка виски,
Карамель в коробочке – пульками от пулемёта.
Тот, кто будет писать мне вдогонку свои записки,
Не дожждётся. Я выключена. «Режим полёта».

Платаны Хайд-парка огромные, как руки Бога.
Трогают зелёными пальцами низкое небо.
Стая гусей, численностью палаты лордов,
на дорожку присела по-русски и просит хлеба.

Вот и я, как эта стая, лечу по свету,
всё ищу чего-то, вглядываюсь в чужие лица...
Кажется, ничего лучше дороги и нету,
но только домой хочется возвратиться.

За поворотом тихие сады,
уютный домик, чайник со свистком,
сверчок, прохлада, бархат лебеды
и крошки хлеба мышке под столом.

За поворотом тоненький ручей
от слив промытых в синеньком ведре,
и пыльный пёс, и общий и ничей,
оставленный не нами в сентябре.

За поворотом влажная гроза,
пришедшая к нахмуренному дню,
и девочка с косичками назад
и пыльными ладошками к дождю.



За поворотом долгий, долгий день.
И я смотрю в него который год,
в грозу, в дождём прибитую сирень,
в судьбу, к которой девочка идёт.

Помолись обо мне, развесёлая райская птица,
в этом старом саду, где не собран, стоит виноград,
где луна, как хурма, над горою в ночи золотится,
где никто мне не друг, где никто мне не враг и не брат.

Где меня не найти никому, кроме дочки, которой
снится мальчик с глазами черней, чем абхазская ночь.
Помолитесь о ней, безмятежной, огромные горы,
чтобы ей эту жизнь так легко, будто сон, превозмочь.

Потому, что не так и не с теми случаются встречи,
и уходим не к тем, с кем хотелось идти по пути.
Помолись же о нас, кипарисы качающий ветер,
и ещё помолись, чтоб слова мне об этом найти,

чтоб сказать ей потом, здесь сложившей доверчиво руки
у меня на груди и уснувшей в ночной тишине,
что сильнее любви на земле этой только разлуки
и дороги к любимым подобные долгой войне.

Мальчик еврейский играл на закате на скрипке.
Он приезжал на лето к соседям на дачу.
Я каждый вечер стояла в тени у калитки,
Слушала, как его скрипка смеётся и плачет.

Бабушка говорила: «Глупая девка!
Это ж еврей, а ты татарчонок раскосый...».
Я убежала под абрикос на скамейку,
Прятала слёзы в длинные чёрные косы.

Впрочем, купаясь на острове, что у речки,
Были мы все одинаковые друг другу.
Мальчик крутил из травы мне смешные колечки
И надевал на пальцы на каждую руку.

Остров давно обмелел. Обрезаны косы.
И где тот мальчик, где его нежная скрипка?
Но иногда мне снится: под абрикосом
Смотрю на колечки из трав и прячу улыбку.

Собака у моря пахнет солёной рыбой.
Скормишь ей хачапур, погладишь по холке.
И мы её забрать, конечно, могли бы,
но собака сидит и сидит у моря. Осколки



зелёных бутылок обточены морем нежно.
Посмотришь сквозь них на солнце – солнечный зайчик.
Её забыли случайно, случайно, конечно,
и как там теперь весёлый вихрастый мальчик?

Собака думает, смотрит в глаза кротко.
А мы свои отводим, смотрим на волны...
На горизонте плывёт старая лодка,
такая старая, что не боится шторма.

Собака верит. Сезон давно закончен.
Под лежачком у моря так сладко спится.
Ген человечности, видно, давно заколочен,
как чьё-то кафе на пляже с синею птицей.

Выдохни это лето из живота
пчёлкою, бабочкой, мухою, стрекозой,
развоплощенье которых есть пустота
гулкога неба, сомкнутого над головой.

Выдохни это лето из живота,
сдёрни, как будто бы пыльные шторы с окон,
где остаётся осени лишь маета
и незакрытой калитки не смазанный стон.

Выдохни это лето из живота
синею жиакой, пульсирующей на виске,
перед прыжком с голубого, как море, моста
не на резинке – на тоненьком волоске.

Он знал, что любит она другого,
но всё равно приезжал из Ростова,
пряников привозил, цикория, всего такого,
и никогда не говорил ни слова.

Когда ей особенно было хреново
она писала ему: «Приезжай, Вова,
лучше пораньше, на полшестого.
А я приготовлю вкусного плова...».

Он знал, что есть у неё какой-то Вова,
и что она убегает к нему снова и снова,
пытается полюбить его, ищет слово,
но любит его одного такого.

История эта совсем не нова,
Бессмысленна она и бестолкова.
Но если любовь всему основа –
то я за Вову,
за Вову,
за Вову...



Она никогда не читала Грина,
а он не отказывался от наследства.
Но встреча была их неотвратима
не потому, что жили они по соседству.

Он был проездом, пресыщен, в дурном угаре.
Она торговала не корабликами, а любовью.
И когда он снял её в пустующем баре
это было просто, само собою,

что она повела его на яхту за скалами,
старую, пахнувшую то ли солью, то ли слезами,
и им всё время мешала какая-то книга со сказками,
затёртая, с нарисованными алыми парусами.

От неудобства, совпавшего с одиночеством, холодом,
они, обнявшись, под утро уснули мгновенно.
И восходило тусклое зимнее солнце над городом,
и смотрело на них, то ли сочувственно, то ли надменно.

Выдержка у любимого твоего вина
никогда не будет больше, чем моя вина,
даже если вырытая глубина
для твоих сосудов давно равна
глубине земного того ядра –
нет прощения мне у одра.

До одра, конечно, ещё далеко,
на губах не высохло молоко,
но, хотя, я в том возрасте, где легко
говорить о возрасте этом, ко
всему привыкаешь и к мысли той,
что однажды станешь земной корою.

И когда я стану земной корою,
прорасту деревьями и травой,
или камнем стану, потом стеной –
не возникнет радуги надо мной.
От того, что в жизни своей иной
не должна, но всё же была с тобой.

Это «всё же» – как рыбе крючок в губу,
как манищее сладостное табу,
то, что делает из цариц рабу,
и тавро это я уже не отскребу.
И к тому, кто зарится «не на своё»,
прилетает в сад вороньё.

И когда меня в тот сад понесут,
станут землю рыть и найдут сосуд,
разобьют лопатой, вино прольют
и «осанну» вороны запоют –
остывающим сердцем проговорю:
«За любовь ту – благодарю...».



Тайна, помноженная на дни, месяцы, годы,
превращается в огромное математическое число.
Маленький Мук отдаёт мне свои сапоги-скороходы,
девушка с веслом отдаёт мне своё весло.

Они мне кричат: «Уплывай, улетай, убегай отсюда,
не оглядывайся, эта тайна – плохая игра!».
Я доедаю сыр с любимого нашего блюда,
думая не о нашем завтра, а о нашем вчера.

Аленьким цветочком теплится в сердце надежда,
но ты говоришь – вырывай её сразу же, на корню!
А Вий говорит: «Поднимите тяжёлые вежды,
дайте на дуру на эту я сам посмотрю».

А Маленький Принц говорит: «Хочешь, я выну барашка
и спрячу тебя в коробочку, чтобы он не нашёл?!».
Я смеюсь. Я люблю эти милые сказки,
в них даже горе заканчивается хорошо.

А тайна на то и тайна... Тянется ниточка,
снова плетёт из неё сеть у корыга старик.
«Твоё молчание, – говорит он, – милая деточка, –
это и есть самый страшный и долгий крик».

Недочитанной сказкой обрывается жизнь.
А казалось, что завтра наступит счастье.
Буратиный ключик в карман положи,
Просто так, без сочувствия и участия.

Недоваренным варевом гаснет очаг.
А казалось, что к вечеру будет ужин.
Положи-ка хворост на тот верстак.
Хотя здесь и верстак никому не нужен.

Над театром выцветут все флажки.
Карабасья плётка – за три монеты.
А шарманку старую отнеси
к морю.
Между зимой и летом.

ЕЛЕНА РЫШКОВА

ТЕКСТ

ХРИСТА РАДИ

я держала её за руку, Христа ради,
девочку, читавшую будущее с листа,
в кармашке фартука у неё зеленела падалица
тёмная, как запах сырца.
тростниковый сахар привозили с Кубы –
мы ходили смотреть на сладкие горы,
они пахли будущим – тем, ниоткуда,
что приходит внезапно и сладко, как Голем.
я держала её за руку крепко, не отпуская
и она стояла тихо, только вздрагивала чуть-чуть
девочка, похожая на меня, но другая
с лёгкими завитками морщин
у старческих губ.

БЕЗМОЛВИЕ

как резко стих раскалывает время
на «до» и «после» – встречной полосой
накатывает грузовик творенья
на запрещающий движение покой
и давит сердце жадно и нелепо –
по скомканному впопыхах листу
расплавлено стекает в урну лето,
стихами отгрызаясь на ходу.
и, немотой перед рассветом маясь,
заглядывая в пустоту двора,
в который раз испытываю зависть
к безмолвию, доступному богам.

ВРЁТ ОНА

пробирается дождик по осени,
словно старый потрепанный ёж,
между иглами жёлтою проседью –
то листок, то осинника ложь,
и такой вроде дождик умеренный,
а топочет совсем, как большой,
осень нынче красивая ветрено,
словно бал у неё выпускной –



завитками от рыжего к алому
бесподобна кленовая прядь,
как легко её ветры заставили
перелётные крылья менять,
прошепчу те слова, что заброшены
по рябиновым к ночи стихам –
пишет осень, что схожи не очень мы,
но расходится небо по швам
и сквозь дырочку в ткани сатиновой
светит долго ночная звезда,
обещая, что время помилует –
врёт она.

ВОЛШЕБСТВО

убавить громкость, шёпотом сказать
то, что само, как гром из поднебесья –
какая преданность отчаянная песья
у осени в синееющих глазах
когда идёт забывчивым дождём,
холодных щёк нечаянно касаясь,
и кажется – она уже босая
и след простыл хрустальных башмачков.
а фея обнищанне своё
давно упаковала в саквояжи,
горят костры – готова к ночи сажу,
чтобы мараить небесное бельё,
но в синей шапочке немного набекрень
уже на утро встрепенётся зяблик –
и осень поведёт ветвями зябло,
и старой тыкве кликнет лошадей.

НАХАЛЬНОЕ

не прося иного имени –
чтобы ближе к божеству,
я всегда прошу – возьми меня
ровней твоему плечу,
чтобы было чем открещивать
всех, кто ходит по пятам,
бормоча – «вот это женщина,
бог такую целовал»,
пусть горит огнём отметина,
что под чёлкой – не видать,
прячет кожу платье летнее,
а под кожей сущий ад.
как тебе, мой вышний суженый,
рядом с пламенем печи?
если знаешь, как остуживать –
непреренно промолчи.

ВСЁ МЕНЬШЕ

всё меньше хочется читать,
всё больше
смотреть туда, где небо вспять
стекает в «проще



молчать» и только вопреки
 движенью ветра
 то перистым, то грозовым
 менять ответы.
 всё меньше хочется любить
 вечерний сумрак –
 сиреневый настой обид
 в словах «подумай»,
 латать былые кружева
 и дачный воздух,
 всё меньше хочется добра
 для общей пользы.

Я ВЫПИЛА СТАРОСТЬ

я старость глотнула домашним вином –
 ударила в голову, навья,
 теперь не понять, сколько лет за окном
 в полёт собираются дальний
 и чертят дорогу скворчинным крылом
 на долгое к ночи зимовье,
 я выпила старость
 цикуткой хмельной
 затем, чтоб живым не досталась.

ЗА МНОЙ ПРИДУТ

за мной придут два ангела в плащах
 из серого заляпанного шёлка,
 и, не доев до доньшка борща,
 пойду за ними сквозь ушко иглки
 суровой ниткой, вервием простым,
 что зашивает колотые раны,
 вселенная, уж ты меня прости,
 за то, что обрываюсь слишком рано
 и грубый след в материях твоих
 искусной вышивке чужой опять не ровня –
 за мной придут, чтоб написала стих
 и залатала то, что было больно.

ЛОДОЧКА

лодочка моя одноместная –
 ноги только вытянуть,
 спину упереть,
 не скрипят уключины песнями –
 стонут до утра упыри.
 днище тонко,
 низко посажена,
 как бы не наехать на мель,
 лодочка моя –
 мерил саженью –
 что получишь видно теперь.



всё плывет
никак не закончится
Леты её злой ручеёк
в кулаке потеет просроченный
выпешдший в расход пяточок.
лишь вода остылая катится,
отмывая старую ржу,
свято-пусто место под платьищем
там, где сердце пуговкой шью.

В РАЮ

мы будем там жить –
помидоры растить в грязи,
кормить с руки прилетевших на зиму пернатых,
в раю происходит то, о чём не просил,
но это лучшее из невозможных занятий.

там судный день, как все остальные, длинен
и так же часто его замедляют повторы,
мы вспомним – откуда, не зная – зачем идём,
давно не пугаясь конечного приговора.

и будем там жить неспешно и не дыша,
а главное – не познавая различий,
но, глядя вниз, где смерти бьётся душа,
мечтать о яблоке с привкусом прошлой жизни.

ТЕКСТ

жизнь – это текст с неправильными рифмами,
прочтёшь, не зная знаков препинания
и хочется, чтобы тебя урывками
отметили оценкой пятибалльной.
но будет шесть или четыре с присвистом –
написан текст с коротким послесловием,
душа влетает с веточкой сосновой
в любую точку, за которой избранность.
а на полях и за полями – красные
отметки исправлений удивительных
так радуют...
божественно бесстрастная
вселенная не знает алфавита.

В НОЧНОЕ

день ложится в тесные рамки вечера,
изворачивается наизнанку,
на другой стороне луны чернотой начерчено –
время жалко.
что потрачено попусту – то составляет вечность,
разбегается красными муравьями,
однобокой луне не спится по-человечески
в неба яме.
и стоит немота на часах у бессонной вежи,
день лежит у неё на руках,
звёзды смежив.

ЕЛЕНА СЕВРЮГИНА

ОЧЕНЬ РОДНОЙ ТИБЕТ

бережно касаться пустоты,
что была вселенной до «сегодня»,
канул в море камень алатырь,
с плеч обуза... стало ли свободней
в шумном одиночестве дышать,
жить в миру легко и безголово...
бьётся в окна прошлого душа –
болью обескровленное слово

черви обезличенных ночей
копошатся в сердце полусонно –
спит пересыхающий ручей,
голоса росток до срока сорван,
чуть водой из космоса плесни –
оживёт, поднимется до неба...
скорбный странник – «мыслящий тростник» –
кем ты был, когда в помине не был

отчего заветный горизонт
затворил невидимые грани -
вспоминать о главном не резон,
если мир обыденностью ранен...
но однажды чей-то робкий свет
сердце до краёв собой наполнит,
чтобы сокровенный человек
в нём пустил невидимые корни

два гения совпали – Бог и Бах...
затрепетав у мира на устах,
вспорхнули птахи – терции и кварты,
и начался фонический потоп –
дизов звёзды, лили альтов
с полей небес подобием валторн
лились в азарте.

два гения, две правды – Бах и Бог,
и снова задышала – выдох/вдох –
разбуженного неба диафрагма,
и, проиграв прелюдии на бис,
земные горизонты поднялись,
и вырвался на волю жизни смысл,
как магма...



два гения – и ожил в этот миг
век, что лежал, бесплотен, безъязык,
и звуком был вселенной вправлен вывих –
и ветру было сказано «шуми»,
и грому было сказано «греми» –
вдох/выдох...

ОСЕНЬ БЛОКА

осенняя пора... memento mo...
ночь улица фонарь уже не в моде
но ты как будто пишешь мне письмо
но ты как будто дышишь мне письмо
как выдох-вдох на выходе и входе

туда где свет откуда путь назад
заговорён до точки невозврата
но прыгает глазная стрекоза
перебирая строчек образа
внезапной невесомостью распята

нисколько не боясь перегореть
горит свеча среди природной хмари
к заветному приблизившись на треть
приказываю телу умереть
и растворяюсь в палевом тумане

и видит твой печальный материк
что до меня добраться так же просто
как мне остаться в осени на миг
как мне остаться в осени на крик
слегка суицидального подростка

не доверяя дням календаря
ты на мгновенье прикрываешь веки
и видишь как друг в друге повторяясь
астральные осколки фонаря
стучатся в дверь заброшенной аптеки

ТАК СЛУЧАЕТСЯ...

так случается – он приходит всегда внезапно,
не сообщает времени (месяца, дня, минуты) –
ты узнаёшь его голос, походку, запах,
и, едва на него взглянув, попадаешь внутрь
колеса сансары, где снова тебя встречает
твой забытый слегка, но очень родной Тибет –
он берёт тебя на руки, словно дитя, качает –
ибо если ты в нём, то значит и он в тебе.
ты плывёшь в его море – не страшно тонуть, не жалко,
что мальком бултыхаешься в кровной своей плаценте –
а потом набираешь вес, расправляешь жабры,
вычленишь знакомые ноты в чужом акценте.
в тело водорослей ныряешь, ищешь какую-нибудь
особенную, не похожую на другие...
а когда находишь – ложишься под ней вздремнуть
и тебя до утра берегут её берегини...



а к утру ты теряешь дом, окруженье, компас,
твой зелёный глазок навсегда потухает в чате, но
ты понимаешь – с тобой приключился Космос –
и тонешь уже окончательно.

НА «Л»

в твоём саду растут мои стихи
люпины лебеда и лопухи
на «л» три слова...
ты спросишь что я делаю в саду
зачем сюда без повода бреду
но голос сломан

свистящий ветер выстрелит в гортань
и станет больше на одну из ран
и будет равной
рассвету ветка пороху трава
но жизнь что не по-новому нова
прервётся рано

я в тело сада медленно уйду
мои стихи растут в твоём саду
а счастье в доме
и засыпая в сердце тишины
я буду падать яблоком хмельным
в твои ладони

и будет ветер-вертер голосить
неся мою тоску от сих до сих
от страсти к страсти
и просыпаясь бисером в траву
произнесу когда я оживу
ну здравствуй мастер

в моём саду растут твои стихи...

выживем в августе – выплывем в январе,
вызвав заранее звонкой весны лекала.
это особое время иное вре...
мятные звуки томятся на дне бокала
ты их искала?
вот же они, держи,
жизни желай тому, что в тебе томится,
мчится дрожит по натянутым рекам жил
снов твоих рыцарь.
вновь из парада радуг, из прозы гроз,
из лабиринтов рук,
из любого плена
явится звук, моментально идущий в рост,
перекрывая размеры твоей вселенной
ритмы твоей все лен-ной –
зыбкой назойливой фразой набив мозоль,
ты постигаешь заново и навечно
канны и карму, звёзды и мезозой,
рот обжигая кровотокающей речью



ВРОВЕНЬ

тебя окликну на пути
по зову крови
хочу растить себя расти
с тобою вровень
с тобой до сумерек седых
стареть не стану
и буду вечно в молодых
как стих Ростана

и пусть не писан тот устав
оттенка стали
что нужен стан себе под стать...

себя оставив
тому в чей мир не возвращу
лучей весенних
тому в ком столько лет ращу
своё спасенье
я буду нянчить на руках
больное лето
но будет вложена строка
в иную лепту...

и будет лёгкое письмо
летать по миру...
его пишу себе самой
ступай же с миррой
ступай не стой ступай не с той
пусть будет рада
под именем и темнотою
скрывая правду...

а мне держать в морозный зной
стеклянный стебель
и подниматься над волной
с крючками в теле

и безрассудный делать шаг
от мира тайно...
горит сивиллова душа
свечой алтарной

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

НЕОБЫЧАЙНЫЙ МАТЕРИК

заметки об Индии

Любой, кто хоть раз побывал в Индии, не забудет эту поездку никогда. Индия – это действительно отдельный материк со своими ни на что не похожими пейзажами, правилами, жизненными устоями. Собственно, она и была когда-то отдельным субконтинентом, пока за каких-то пятьдесят миллионов лет не придрейфовала к Евразийской плите и не припечаталась к ней, да так, что возникли самые высокие на планете горы – Гималаи. Поэтому всё в Индии немножко другое. Ну, или множко. Не буду спорить.

Отношение к Индии у всех разное. Кто-то её боготворит и мечтает туда переехать, кто-то уже после первой поездки предпочитает держаться от неё подальше. Вторых, честно говоря, меньшинство.

Индия – это целая вселенная. Описывать её можно бесконечно. Поэтому сразу хочу предупредить, что эти заметки не претендуют ни на полноту, ни на объективность. Это лишь наскоро записанные наблюдения, сделанные сразу после трёхнедельного путешествия по удивительной и прекрасной вселенной под названием Индия.

Всего лишь вздох удивления.

Умом Россию не понять, а Индию – тем более.

Не стоит даже пытаться. Нахождение взаимопонимания с индусами – тема для отдельного большого разговора. И дело тут не только и не столько в языковом барьере – в процентном соотношении гораздо больше индусов, нежели украинцев, могут объясниться на английском. Дело в специфике их мышления. Например, если попросить водителя тук-тука просто провезти вас по центру города, он непременно привезёт вас к базару, где всё очень-очень дёшево. И покупать ничего не надо – достаточно просто посмотреть. При этом по дороге вы раз пять скажете ему, что устали от базаров, всё уже купили, что у вас закончились деньги... Он будет кивать головой и везти вас к базару. А потом недоумевать, почему вы ругаетесь. «Странные прихоти богатого белого человека» – думает он. «Я же хотел, как лучше». На самом деле он просто получит потом свою комиссию – десять процентов от суммы покупки. А если вас привезёт таксист, он получит уже двадцать процентов. И тут есть своя иерархия.

Жадность обуревают индуса при виде белого человека. В большинстве случаев сначала называется цена, завышенная раза в три. Да, это не китайские шесть, но всё же... Правда, и тут работает китайское правило – не смотреть продавцу в глаза, не смотреть на товар и ни в коем случае не спрашивать, сколько он стоит, конечно, если вы не хотите это купить. Иначе продавец от вас не отцепится. Мальчик лет восьми, грязный и чумазый, как и положено, отталкивая других таких же, бежал за нашим тук-туком в Агре, призывая купить брелки с Таж-Махалом на сносном русском языке. А всё потому, что я имел неосторожность спросить, сколько ему лет и откуда он знает русский. Пришлось остановиться и купить. Конечно, когда переводишь стоимость покупки в гривны, несколько успокаиваешься, но всё равно понимаешь, что тебя обманули и продали вещь намного дороже, чем её купил бы индус. Хотя, наверное, индус никогда не купил бы эту ерунду.

Да что там уличные торговцы – официальный билет в Таж-Махал для европейца стоит 750 рупий, для индуса – 70 рупий, для непальца – 10 рупий. Почувствуйте разницу.

Но вернёмся к особенностям мышления. Индусов много. Очень много. Конечно, среди миллиарда с небольшим жителей Индии есть множество представителей среднего класса, интеллигенции, но турист с ними не сталкивается. Они ведь работают и не так уж часто пользуются общественным транспортом. А те, с кем доводится общаться – водители, персонал гостиниц, просто случайные прохожие – непременно вас поразят. В Дели мы жили в совершенно новой, только что построенной гостинице в районе *Karol Bagh* – вокруг был гигантский базар. В новой гостинице жить хорошо – её ещё не успели запачкать везде, где только можно. И бельё чистое, без пятен и дырок, как в гостиницах чуть постарше. Ничего, что в ванной остались следы цемента, что стены в коридоре мокрые и сырые, и в лифте неприятно пахнет. В других местах гораздо хуже. И вот – так как гостиница открыта меньше месяца назад, в ней ещё не оборудовано помещение для приёма пищи. Поэтому предлагается рум-сервис. И номер



для вызова: 666. Звоним. На том конце провода интересуются, из какого мы номера. Говорю. Потом медленно диктую заказ. Голос на том конце говорит: «Йес, сэр» и снова спрашивает номер комнаты. Я повторяю.

Ожидая еду, смотрю в окно. Прямо напротив, через дорогу, идёт стройка. Точнее, идут подготовительные к ней работы. Из большого котлована выносят строительный мусор и камни старого разрушенного дома. Как почти всё в Индии, это делается вручную. Нужно же чем-то занять это огромное количество необразованных и бедных людей. Мужчины выносят большие камни на головах. Чтобы их было удобнее нести, на головах намотаны тюрбаны. Камни сружаются в тележки, которые потом увозят куда-то за угол. Работает человек пять. Около котлована стоят зеваки. Взрослые мужчины, которые не смогли пройти мимо такого завораживающего зрелища, как разбор старого дома. Они стоят и глубокомысленно наблюдают за работой. Я специально посчитал – зевак было девять. Половина из них – в приличных костюмах, с галстуками и портфелями. Время от времени кто-то из них уходил, но свято место пусто не бывает – место ушедшего сразу занимал новый прохожий.

Наконец раздаётся стук в дверь. Открываю. Молодой человек спрашивает, что мы хотим заказать. Я повторяю то, что уже говорил по телефону. На его лице отображается мучительная работа мысли. Он кивает головой и уходит. Через несколько минут – опять стучат в дверь. Пришёл другой парень, уже с листиком и ручкой. Тщательно всё записывает и уходит. Минут через двадцать третий приносит нам еду, забыв при этом несколько позиций. После двукратного напоминания ничего не меняется. Зато почти сразу приходит новый молодой человек – забрать посуду. Мы не успели доест, но он не уходит. Наверное, ему просто интересно за нами наблюдать. Взяв поднос, не спешит уходить – ждёт чаевых. Мы заказываем три чёрных чая и масала чай. Через пять минут он приносит два чайника и четыре чашки. В одном чайнике – просто горячая вода. В другом – масала. В трёх чашках – пакетики с чаем. Горячей воды хватает только на две чашки. Мы снова звоним по чудо-номеру и просим её принести. История повторяется. Сначала приходит парень, который уточняет, чего мы хотим. Через несколько минут приходит другой парень и снова уточняет. Видно, что он в недоумении. Хочет принести ещё один чай, но мы требуем воду. Он уходит и приводит третьего, который, услышав, что нам нужна горячая вода, тоже искренне недоумевает и говорит, что в душе есть горячая вода и они включили бойлер. После крепких слов и объяснений на несколько повышенных тонах он уходит, и, наконец, приносит ещё один чайник. Тем временем все три предыдущих персонажа толпятся у нашей двери, слушая наш диалог и ожидая чаевых.

Когда двери, наконец, закрываются, мы долго смеемся. Горько смеемся. Через несколько часов нам предстоит выезжать в аэропорт. Лететь домой. И вот мы у стойки рецепции. В то время, как упитанный менеджер с пухлыми пальцами в кольцах пытается нас обчитать, самый непонятливый из obsługi парень стоит и с лицом младенца (и открытым ртом) слушает наш диалог, переводя глаза с одного на другого. Менеджер что-то говорит ему на хинди, он подходит к нашему багажу и считает чемоданы. Потом подходит к менеджеру и тоже что-то говорит – понятно, называет число чемоданов. Менеджер раздражённо отвечает, и парень исчезает. Через минуту он приводит ещё двух заспанных помощников – всё-таки уже два часа ночи. Теперь все они смотрят на наши чемоданы. Ну конечно, сам он не смог бы вынести их по очереди. Во-первых, до этого нужно додуматься. Во-вторых, менеджер хочет, чтобы люди работали. Вокруг каждого занятого каким-то делом человека кормятся несколько «помощников» по особым поручениям. Таких разнорабочих, точнее – разнослужников. Наконец подъезжает такси. Нам не удаётся отбить чемоданы у парней, и они долго толпятся у машины, сначала решая, какой чемодан засунуть первым и куда, потом – ожидая чаевых. Наконец мы уезжаем. Мелочи на чаевые водителю уже не остаётся.

И напоследок – ещё один интересный штрих. В большинстве туалетов, расположенных в индийских ресторанах и гостиницах, вам не удастся побыть одному. Буквально с первых секунд вас будет поджидать человек, который возьмёт в руки полотенце или салфетки, которые вы и сами прекрасно могли взять, и будет предлагать их вам в надежде на чаевые. Причём если вы зайдёте второй раз, он снова будет тут как тут. В одном из таких туалетов услужливый мужчина, поняв, что чаевых я не дам, просто перекрыл вентиль на трубе с водой. Видимо, он решил, что так я охотнее его отблагодарю. Не за салфетку, так хоть за включение воды.

Держи ноги в тепле...

«Держи ноги в тепле, а голову в холоде» – учили нас мамы и бабушки. Видимо, мамы и бабушки индусов что-то перепутали. А может, это наши перепутали... В общем, жители Индостана поступают с точностью до наоборот. С наступлением темноты на улицах появляются странного вида люди с замотанными головами. Создаётся впечатление, что у всех отваливается челюсть и нужно срочно её поддержать. Или же все заболели свинкой и греют уши. Или у всех вечером начинаются приступы зубной боли. Как будто бы попал в палату отделения челюстно-лицевой хирургии. Помните героя фильма «Приключения Шурика?» Того, который выдумал новый способ сдачи экзамена – когда друг подсказывает ему ответы по радио? Помните, как было заматано его ухо? Примерно так заматывают уши индусы. При этом они

предпочитают белые платки и шарфы, которые с учётом индийской страсти к чистоте очень скоро становятся грязно-серыми. Ноги при этом как были босыми, так и остаются.

Помню сценку в Харидваре – священном индийском городе на берегу Ганга, в предгорьях Гималаев. Справедливости ради скажу, что в Харидваре гораздо чище, чем, например, в Джайпуре, или, не дай Бог, в Агре. Я даже видел, как там подметают обочины дороги, по которой ходят пешеходы. Не подумайте, тротуаров там тоже нет, как и в большинстве других индийских городов. А зачем, собственно? Есть же придорожная пыль... Так вот, в самый что ни на есть полдень, под уже палящим солнцем на мосту через Ганг лежал мужчина. Он спал. Голова его была тщательно замотана красным шарфом. Голова лежала в самой пыли. Зато уши были в тепле. Босые ноги с чёрными пятками – такие почти у всех, мне даже трудно предположить, сколько раз за свою жизнь индусы моют ноги, – лежали на проезжей части. Машины, мопеды и велорикши аккуратно объезжали ноги. Коровы так же аккуратно их обходили. Никто не хотел потревожить спящего.

Я не говорю, что это плохо. Это просто есть.

Да, для справки. Средняя ночная температура в центральной Индии – плюс 20.

Вегетарианцы и мы.

«В Индии такой насыщенный воздух, что кушать почти не хочется» – сказал нам наш проводник, или, если угодно, гид по Индии. В отличие от большинства других его утверждений, это оказалось правдой. В Индии действительно можно целый день ездить на экскурсии, ходить по базарам и нормально себя чувствовать, съев банан на завтрак и банан на ужин. Индия – первая страна, в которой я вдруг понял, что мог бы стать вегетарианцем. И это несмотря на то, что диеты по группе крови утверждают, что моя пища – мясо. Плов с фруктами днём, апельсиновый фреш и чай вечером – и чувствуешь себя совершенно превосходно. Правда, найти фреш в Индии – задача не из лёгких. За три недели наших бесконечных перемещений по стране – мы проехали полторы тысячи километров и побывали в восьми городах, – фреш мы встретили только в двух местах. Там, где больше европейцев.

Неприятные типы.

Всюду в Индии вас окружают типы. Довольно неприятные типы. Нет, не подумайте – это не люди. *Tip* – чаевые по-английски. Если Китай – страна чая, то Индия – страна чаевых. Их нужно давать за каждый чих и каждый вздох. Только потому, что ты белый. И если в остальном мире чаевые – это благодарность за хорошо оказанную услугу, признак того, что ты остался доволен сервисом, в Индии это не так. Честно говоря, у подавляющего числа индусов понятия о хорошем сервисе сильно отличаются от европейских. Но чаевые давать нужно по определению. Поэтому их нужно прибавлять к стоимости любой услуги. Нет-нет, я не говорю о чаевых в отеле за то, что в ваш номер принесли чемодан. Хотя отельные, с позволения сказать, портье (хотя назвать их так язык просто не поворачивается) напоминают пираний, поджидающих у дверей номера свою жертву. Как правило, в каждом отеле таких работников в избытке. Вспоминаю наш выезд из довольно сносной гостиницы в Рангамборе – там расположен Национальный заповедник с тиграми. Уж не знаю, откуда эти товарищи узнали, в котором именно часу мы собираемся высылаться, но под нашей дверью уже дежурило три молодых человека с лицами голодных рыбок. Как только я приоткрыл дверь, они стали ломиться в номер, жадно окидывая его взглядом в поисках багажа. К их разочарованию, чемоданов было всего два, да и те были небольшими. Я не стал издеваться над молодыми людьми и лишать их удовольствия поработать, хотя снести чемоданы вниз мог бы и сам. Оценив ситуацию, я вручил оба чемодана ближайшему гарсону. Ему и достался весь чай. И что бы вы думали? Двое других с неописуемым выражением лиц шли за ним вниз, до самого выхода. Может быть, они надеялись, что он уронит чемоданы, и они смогут их перехватить? Кто его знает. Дойдя до дверей отеля и поняв, что это всё, они снова ринулись на второй этаж – к дверям наших друзей.

Но это понятно. Непонятно другое. Например, вы договариваетесь с хозяином транспортной фирмы о цене, за которую вас довезут из Дели в Харидвар. При этом, наученные горьким опытом, вы оговариваете, что вам не придётся дополнительно платить на каждом блокпосте – за пересечение границы штата и за всё остальное. Дороги в Индии преимущественно ужасные, но платные. Нас искренне поражало то, что через каждые пятьдесят километров нужно снова и снова платить усталым злым работникам, сидящим в грязных будках, за проезд по этим ужасным дорогам. Хотя, впрочем, берут же у нас деньги за парковку на обочине в пыли? Так что нам есть куда развиваться. Так вот, вы договариваетесь с хозяином транспортной фирмы о том, что цена включает в себя всё. И всё же не торопитесь вносить эту сумму в свой бюджет. Вам нужно будет заплатить чаевые водителю, и размер их зависит только от его жадности и вашего умения отстаивать свою позицию. Вам будут объяснять, что все деньги забирает злой хозяин, а водитель вынужден влачить жалкое существование на сущие гроши. Наверное, поэтому индийские водители совсем не жалеют свои машины, смело въезжая в ямы. Машины ведь хозяйские, их не жалко. То же самое происходит в гостиницах – зачем ремонтировать их, поддерживать в хорошем состоянии и в чистоте, пусть жадный хозяин сам обо всём заботится.



Или, например, вы заказываете машину прямо в отеле. Ну, тут уж чаевые давать не за что – вы и так прилично переплачиваете, разбегая по пыльным улицам Джайпура на джипе. А ваш водитель – вполне обеспеченный по индийским меркам человек. Водитель джипа вообще стоит на верхней ступени индийской дорожной иерархии – все уступают ему дорогу. Судя по всему – я имею в виду довольный упитанный вид и даже чистую униформу, – наш отельный водитель вполне доволен жизнью и собой. Но не тут-то было. Как только вы поворачиваете за угол, он начинает непрозрачно намекать на все тяготы водительской жизни и утверждать, что именно для нас он будет сегодня особенно стараться. После этого он объявляет, что в форте Амбер нас будет сопровождать гид – его хороший знакомый. Мы, конечно, можем отказаться, но не стоит – ведь услуги гида будут стоить всего 150 рупий. Я уточняю сумму – гиды обычно просят в два раза больше. Водитель подтверждает – сто пятьдесят. Замечательно. Мы гуляем с гидом по форту, потом он ненавязчиво заманивает нас в магазин, где мы, естественно, покупаем нужное и ненужное барахло, потом везёт нас на слоновью ферму и, наконец, заканчивает экскурсию. Мы решаем дать не 150, а 250 рупий – ну чтоб не обидно было. По лицу гида видно, что ему всё же обидно. Водитель стыдит нас – это же так мало, гид старался для нас целых три часа! Про первоначальные сто пятьдесят он уже не вспоминает. Ну что ж, добавляем ещё сто. Гид по-прежнему недоволен, но, наконец, уходит. Потом он вернётся и в магазин, и на ферму и получит свои отступные – минимум десять процентов. Но мы всё же чувствуем себя неблагодарными. После множества подобных случаев у меня сложилось представление, что с чаевыми ты всегда попадёшь впросак. Дашь мало – тебя будут считать жадным зажавшимся буржуем. Дашь много – идиотом. Хотя – разве бывает слишком много чаевых?

Плохой сервис и вымогательство чаевых – визитная карточка Индии. Хотя мы не были на Гоа. Возможно, там ситуация иная. Всё ж таки этот штат долго был португальской колонией. Вполне возможно, индусов там воспитали, как воспитали китайцев в Гонконге. Теперь это не китайцы, а самые что ни на есть настоящие англичане. По менталитету, конечно. А в Индии с нами случались совсем курьёзные случаи. В Ришикеше наши друзья остановили тук-тук и договорились с водителем о цене – сто рупий. Понятно, что это всего два доллара, но так же понятно, что по счётчику (на тук-туках стоят счётчики) набежало бы максимум пять рупий. Поэтому водители тук-туков так любят европейцев. Во-первых, европейцы садятся в тук-тук максимум втроём – сиденье ведь рассчитано на троих. Индусы в такой же тук-тук садятся вдесятером. Во-вторых, европейцы платят в десять раз больше, чем индусы. Так вот, друзья договорились и поехали. И тут через десять метров водитель останавливается и говорит: «А давайте вы мне заплатите не сто, а сто двадцать рупий. Двадцать будут на чай». Ребята опешили – какой чай, если тук-тук твой? В отличие от такси, водители тук-туков являются их хозяевами. Но, конечно же, согласились – не спорить же из-за трёх гривен.

Такие вот чаевые дела. Хотя всему есть объяснение. Недавно я прочитал, что бедным человеком в Индии считается тот, кто зарабатывает меньше 67 центов в день. Это 33 рупии. В переводе на гривны – чуть больше пяти. И хотя в Индии всё дешёво, но не настолько – бутылка воды стоит минимум 10 рупий. Хотя, как я понимаю, те, кто живёт на 33 рупии в день, воду в бутылках не покупают.

Люди и животные.

Я бывал во многих странах. Конечно, я не был в центральной Африке, да и в южной тоже не был, но был во многих азиатских и центрально-американских странах. Европейские в расчёт не берём. Так вот, Индия – это одна из тех редких стран, в которой люди так близко и тесно сосуществуют с животными. Не сожительствуют – сосуществуют. Животные в Индии есть везде. Коровы, буйволы, ослы, лошади, верблюды, слоны и, конечно же, обезьяны живут рядом с людьми не только в деревнях, но и в городах. В четырёхмиллионном Джайпуре нам довелось увидеть много любопытных сценок. Вот, например, открывается новый магазин, продающий смартфоны. Вход в магазин украшен аркой из синих и белых воздушных шаров – совсем как у нас. Девушки в ярких сари, стоя у входа, улыбаются прохожим. А рядом с ними стоит верблюд – на него одет баннер с рекламой телефонов Самсунг.

Или другая картинка – вечерний час пик, начало седьмого, уже стемнело. Торговцы на базаре закрывают свои магазинчики и едут домой. Вообще весь центр Джайпура – это огромный базар, построенный двести пятьдесят лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировавшийся. Мы едем на велорикше в гостиницу. Целый день провели в фортах и дворцах. Выбрали велорикшу именно потому, что такая поездка даёт максимальный эффект присутствия – ты ничем не отгорожен от улицы. На этой самой улице – столпотворение. Такое впечатление, что всем резко понадобилось куда-то ехать. На небольшом мопеде едут по четыре-пять человек – муж с женой и дети. В тук-туках, вместо положенных трёх, сидят вдесятером. Тут же грузовики, тут же легковые автомобили, тут же неизменные верблюды, которые везут телеги с дровами. Хаос полный. Все непрерывно сигналият друг другу, пытаются подрезать, влезть в зазор между транспортом, и, наконец, выехать из центра. И вдруг среди этого шума и суеты появляется слон. Он идёт неторопливо, взирая на суету свысока. И мы чувствуем себя лишь маленькой частью природного разнообразия...

Память цепко хранит увиденные в Индии картинки. Вот корова, воспользовавшись минутным отсутствием торговца овощами, ест с прилавка лук. Мимо неё пробегает семья небольших кабанов – мама

с детьми. Кот, пугливо озираясь и прячась в листве деревьев, идёт по забору. Котов в Индии мало – им трудно выжить. Вот обезьяна ловко открывает пакет чипсов, который она выпросила у туристов. Вот несколько коров жуют газеты, толстым слоем покрывающие улицу. Газеты, наверное, вкусные – они ведь пропитаны жиром объедков, выброшенных из расположенного рядом кафе. Тут же, в тазу, стоящем на земле, моет посуду официант. Вода насосом подаётся по шлангу прямо из Ганга, в котором стирают бельё индийские женщины.

Всюду жизнь.

Чистота и дорожное движение.

Раннее утро в Харидваре. Ночью сорвался ветер. Он шумел кронами деревьев и трепал коричневые занавески в нашей комнате, да так сильно, что приходилось укрываться одеялом по самую макушку.

Из зеркала в ванной красными глазами смотрит на меня помятое небритое лицо с невымытыми всклокоченными волосами. Это, наверное, я. Вытираться грязным полотенцем не хочется, и я иду в комнату мокрым. В индийских отелях редко встречаются чистые полотенца. Разве что вы захватите их с собой из дома.

Европейцы, однако, быстро адаптируются к индийским стандартам чистоты. С нами в самолёте летели молодые ребята из разных стран, явные завсегдатаи Индии. Они были уже готовы ко встрече со страной: грязные свитера, растрёпанные невымытые волосы, а главное – общий вид. Вид бродяги, не нуждающегося в комфорте. Правда, думаю, до того, чтобы спать на улице, завернувшись в одеяло, как это делают индусы, у них не дошло, но всё идёт именно к этому. Индусы вообще ведут здоровый образ жизни. Миллионы из них спят на улицах, на свежем воздухе, ложатся рано – с наступлением темноты, осенью это около семи. Большинство имеет два покрывала – на одно ложатся, другим укрываются с головой. Хотя в Харидваре я видел мужчину, спящего прямо на мосту в полдень – голова его лежала в пыли, босые ноги, которые не мылись, вероятно, с рождения, лежали на проезжей части. Машины аккуратно объезжали его, коровы так же аккуратно обходили. И даже обезьяны не беспокоили отдыхающего.

Дороги в Индии прелюбопытнейшие. Никто не озаботился тем, чтобы сделать для пешеходов тротуары. Люди ходят по пыльным обочинам разбитых дорог, отскакивая от сигналивших им тук-туков, мотороллеров и машин. На дороге крутить головой нужно постоянно, иначе можно легко угодить под колёса. Индийское дорожное движение напоминает броуновское – оно такое же хаотичное, совершенно беспорядочное. Машины, тук-туки, велорикши, верблюды, слоны, коровы, люди – всё это смешивается на улицах в постоянном движении, правил никто не соблюдает, знаков на дорогах нет, светофоров и пешеходных переходов тоже. Все непрерывно сигналият друг другу, едут по встречной, подрезают, влезают без очереди – и всё же умудряются обходиться практически без аварий. Единственное правило, чётко соблюдаемое тут – преимущество дорогого транспорта перед дешёвым. У кого тачка круче, тот и прав. Самая нижняя ступень дорожной иерархии – это велорикши. Их может обидеть любой – в смысле, сигналом потеснить с дороги. Чуть выше их – тук-туки. Очень удобный вид транспорта. На них даже установлены счётчики, как когда-то на наших такси. Ещё круче – легковые автомобили. Ну, а если вы едете на джипе – вы король дороги. Грузовой транспорт стоит особняком, но грузовики обычно уступают дорогу легковушкам и джипам. Индийские водители редко останавливаются. Они сигналият, петляют, маневрируют, вылезают на обочины, втискиваются в щели – но продолжают движение.

Индийские грузовики – это что-то совершенно особенное. В Индии вообще с первых минут складывается впечатление, что здесь все куда-то едут, что-то везут и непрерывно сигналият при этом. Каждый водитель грузовика старается украсить его как можно лучше и богаче. И это не только надписи и картины а-ля Пирсmani типа «Лев, поедающий оленя». Впереди и сзади на каждом грузовике висит «дождик» – точно такой, каким мы украшаем новогодние ёлки. Ещё грузовики любят украшать разноцветными тряпками, подвешивают кисточки, а сзади привешивают всё, что угодно – от пластмассовых автомобильных колячек до пары кроксов. Вообще, можно взять и привезти тридцать индийских грузовиков в киевский Мистецький Арсенал – и будет готовая выставка современного искусства.

Возвращаясь к ночующим на улицах. Самое большое впечатление произвели на нас люди, спавшие под огромным мостом в Дели, недалеко от автовокзала. Десятки замотанных в грязные покрывала людей, лежащих в пыли, походили на мумии или трупы, завернутые в саван. Жутковатое зрелище. Покрывала были большей частью белыми. Точнее, когда-то были белыми. Индусы вообще любят одеваться в светлые одежды. Неважно, что они остаются светлыми всего несколько часов. Неважно, что на них пятна и грязь. Зато ярко.

Пыль сопровождает тебя в Индии повсюду. Противная серовато-белая, иногда желтоватая пыль. Наверное, индусы любят её. Они смело вступают в неё босыми ногами. Под тем же мостом в Дели любовь индусов к пыли проявилась особенно отчётливо, выпукло. Власти, видимо, решили облагородить мост – под одной его половиной была посажена травка, кусты и даже небольшие пальмы. Там спал всего один человек. Под второй половиной моста не было ничего, кроме густой жёлто-серой пыли. Там всё было забито лежащими людьми, как бывают забиты у нас пляжи в самый разгар сезона, когда с трудом находишь место для подстилки.



Путешествуя по Индии, мы с художником Игорем Гусевым даже придумали проект под названием «Школа БОМЖа». Ведь тысячи людей из Европы и Америки ежедневно прилетают в Индию не только затем, чтобы оттянуться на пляжах Гоа и покурить травку, но и чтобы заняться Йогой, найти Учителя и вообще повысить уровень духовности (каждый понимает под духовностью что-то своё). Пряный аромат Индии манит своей мистикой. А вдруг индусы знают что-то такое, чего не знаем мы? Вот и едут тысячи людей для того, чтобы подышать праной, почистить ауру и улучшить карму, развернуть кундалины и поработать с чакрами. Мы с Игорем придумали термин «прочистить брахмапутру». У тебя плохое настроение? Это значит, что ты с утра плохо прочистил брахмапутру.

Так вот, «Школа БОМЖа». Называем это элитной эксклюзивной школой духовного очищения. На вводной лекции приводим примеры из истории – рассказываем про киников, Диогена, Франциска Ассизского и о том, что для повышения уровня духовности нужно избавиться от привязанности к материальному хотя бы на время. А где лучше практиковать освобождение от материального? Конечно же, в Индии. Во-первых, это же самая духовная в мире страна. Во-вторых, там тепло и есть почти не хочется. В-третьих, практикующий не будет вызывать ни удивления, ни подозрения – на улице живут миллионы индусов. Ну, а самое главное – это действительно экстремальное погружение в духовность. Всего две тысячи долларов – и месяц повышения духовности всем желающим гарантирован. Практикующим выдаются два одеяла, пиала и кувшин для воды. На питание выделяется два доллара в день. На более продвинутом уровне – доллар. Самые просветлённые не будут получать ничего, они будут просить подаяние или питаться в ашрамах. Помимо духовного очищения у такой практики есть ещё и мощный оздоровительный эффект. Адепт проводит все дни на свежем воздухе. Ложится спать рано – с заходом солнца. Встаёт с рассветом. Восстанавливаются естественные биологические часы. Мало ест – организм очищается. В нём происходят мощные процессы похудения и омоложения. И так далее.

Написал это – и даже самому в такую школу захотелось. Думаю, две тысячи мало. Надо просить три. Всё-таки услуга эксклюзивная.

Ладно, оставляю шутки. Хотя в каждой шутке, как известно, только доля шутки, остальное – правда. Но вы это и без меня знаете.

Пушкар.

Индия, Пушкар. Священный город на берегу священного озера. При въезде указатели предупреждают нас, что есть мясо и пить спиртное в городе запрещено. Ни в кафе, ни в магазинах вы не купите ни того, ни другого.

Маленькое озеро мелеет, тёмно-коричневую воду нагнетают в него насосами. В индийские храмы нельзя входить в обуви, нельзя ходить обутым и по берегам священных озёр. Оставляем обувь у лестницы, которая ведёт от торговых улочек к озеру, в надежде, что многочисленные коровы присмотрят за ней. По возвращению обувь оказывается на месте. В знак благодарности мы фотографируем коров с разных ракурсов.

Идём босиком по бетонной набережной, старательно обходя коровьи лепёшки и битое стекло. Весёлый индус чертит мне на лбу красную чёрточку, прилепляя туда несколько зёрнышек риса. Держатся.

В коричнево-бурую воду опускаются для омовения мужчина и женщина. Мы решаемся её только потрогать – не отвыкли ещё от европейских представлений о чистоте.

Пушкар разительно отличается от Джайпура – в нём чувствуется влияние европейцев. Тебя не рассматривают, как обезьяну, за тобой не бегут мальчишки, а уличные торговцы – о чудо! – ничего не пытаются «впарить». Европейцы, американцы и израильтяне приезжают туда в основном для того, чтобы курить травку. Везде множество надписей на иврите, а на покрытой толстым слоем пыли центральной улице даже работает синагога – наискосок от Вишнуитского храма, куда иностранцев не пускают. Любавичские хасиды – самая динамичная религиозная община.

Перед входом в синагогу – обязательный охранник. Он пристроился за насыпью из мешков и сразу не заметен. Я вошёл внутрь – охранник не пошевелился. Правда, было уже поздно.

Чуть дальше синагоги – снова лавки. В одной из них продают текстиль. Одежду. Обычно одежда в Индии стоит копейки и выбрасывается после нескольких стирок. Вещи на полках тоже покрыты слоем пыли, продавец – молодой улыбчивый парень, – сидит за швейной машинкой. Вокруг него на полу сидят люди, говорящие на иврите. Парни и девушки. Курят. Знакомый устойчивый запах помогает парню работать. Судя по улыбке, не только запах. Но сейчас он занят – пытается застрочить очередную дыру на цветной рубашке. Мы покупаем у него блузку. На ней тоже дырка. Подходим к продавцу, и он принимается за дело. Дырка исчезает за десять секунд.

Я даю ему купюру в тысячу рупий. Он рассматривает её с нежностью. Я бы даже сказал – любитесь.

– Как вы думаете, эта купюра завоюет мир? – спрашивает он, улыбаясь.

– В смысле – станет ли индийская экономика одной из лидирующих в мире?

– Нет, именно эта купюра – полюбят ли её люди? Станет ли она такой же популярной, как сто долларов?

– Даже не знаю, – растерянно отвечаю я.

– Посмотрите, какая она красивая! А в вашей стране деньги красивые? У вас есть с собой?

Я достаю двадцать гривен, за ними – сто, случайно оставшиеся в кармане. Парень разочарованно смотрит на них, не желая даже взять в руки. Его эстетическое чувство почти что оскорблено. Я впервые осознаю, что деньги могут служить не только средством платежа.

Я жил тогда в Джайпуре пыльном...

Дома в центре Джайпура, построенные и покрашенные в красный цвет лет триста назад, держатся на честном слове. Напоминают старые, недавно снесённые корпуса Привоза. Собственно, весь центр Джайпура – это один сплошной базар. На первых этажах – лавки, на вторых – комнаты, кафе. Страшно смотреть на людей, стоящих на балконах – никому не ведомо, когда эти балконы обрушатся.

Для белого человека прогулка по базару – нештучное испытание. Торговцы не дают прохода, мальчишки бегают вокруг и кривляются, нищие ползут следом, прося милостыню. Искренне обижаются, когда получают десять рупий – хотя это хорошие деньги для жителя страны, черта бедности которой определена в 60 центов в день. То есть если человек зарабатывает доллар, его уже никто не назовёт бедняком. Но белые должны давать много, потому что белые – богатые. В «Городе обезьян» на окраине города за нами долго шли мальчишки, прося, а потом требуя милостыню. Когда мы дали, наконец, их вожажу приличную сумму, он начал издеваться над нами, показывая пачки денег, собранные за день, и рассказывая, что ему подают сотни долларов. Даже многочисленные обезьяны вокруг вели себя приличнее.

В Джайпуре с нами случился презабавнейший эпизод. Однажды, когда мы, вырвавшись наконец с базарной улицы, повернули в сторону Городского дворца, за нами увязался паренёк, обвешанный барабанами. Я люблю барабаны и после пятого обращения «мистер» имел неосторожность спросить, почём они.

– Шестьсот рупий – маленький, тысяча – средний, тысяча четыреста – самый большой, – отвечает парень.

– Спасибо, не надо.

– Сколько даёте, мистер?

– Сто за маленький.

Сходимся на трёхстах. Я вешаю барабан себе на шею и уже собираюсь играть на нём, но не тут-то было.

– Мистер, вы не хотите барабан побольше? Вы можете продать мне этот барабан, добавить ещё двести рупий и взять у меня барабан побольше.

Я ошалело смотрю на продавца.

– Ну если бы я хотел барабан побольше, я бы сразу и купил его!

– Да, мистер! Но вы же купили маленький барабан, он хороший, но тот, который побольше, гораздо лучше!

– Да мне и этот не нужен был! Мне его ещё домой как-то увезти надо!

– Ну вот и возьмите большой. Всего двести рупий!

Наш диалог продолжается ещё несколько минут, после чего я решаю его прервать. Как ни странно, индийские торговцы понимают русский мат лучше, чем вежливое обращение по-английски. Наверное, общие корни русского и санскрита дают о себе знать.

Парень исчезает.

Вымотанные общением, мы идём дальше. Откуда-то сбоку наперерез нам бежит ещё один увешанный барабанами парень. В глазах его воодушевление – он увидел, что висит у меня на шее.

– Мистер, у вас такой маленький барабан! Давайте я у вас его куплю, вы доплатите всего триста рупий и я вам продам большой!

Пытаюсь спокойно объяснить ему, что лучше поискать других любителей барабанов. Наконец он понимает.

– Ну а за сколько хоть маленький взяли?

– За триста.

Парень цокает языком и делает непередаваемое движение головой.

– Переплатил? – спрашиваю я.

В ответ он просит посмотреть мой барабан. Я даю.

– Хороший барабан, – говорит он.

– А сколько стоит маленький у вас?

– Триста рупий. Но лучше возьмите большой.

В ответ начинаю барабанить на своём маленьком. Парень разочарованно уходит.

Этот барабан и сейчас у меня. Перевозил в ручной клади. Барабанно часто.

Всякая всячина.

Болливуд, фильмы которого воспринимаются нами сейчас с иронией, а когда-то, с детства, вос-



принимались с восторгом, играет в жизни индийцев огромную роль. Красивая картинка в телевизоре словно компенсирует им невзгоды реальной жизни. Яркие одежды, пафосные слова и театральные жесты, смешные драмы – индийцы живут в этом мире, куда бы ни занесла их судьба. У моих знакомых индийских программистов, успешно работающих и давно живущих в Амстердаме и Праге, постоянно включён телевизор, по которому показывают болливудские сериалы, в которых коварство и жестокость соседствуют с безграничной наивностью и верой в чудеса. Вне всякого сомнения, всё это впитывается с молоком телевизора и становится частью индийского характера. А сами звёзды Болливуда давно стали не только одними из самых богатых и влиятельных людей, но и, фактически, иконами и образцами для подражания. В бортовом журнале самолёта компании *Air India*, на котором мы летели домой, была заметка о великом и прекрасном Амитабхе Баччане, который вынужден был ждать вылета из Дели в Бомбей почти шесть часов. И – о чудо – он не роптал, не гневался, а терпеливо жал и снисходительно принял извинения пилота и всего экипажа. Эта заметка отлично характеризует индийские нравы. Сын Баччана, Абхишек, женат на Айшварии Рай. Получился семейный подряд. Их – и представительей другой кинодинастии, семьи Капур, – можно увидеть чуть ли не в каждой второй телерекламе. Телерекламе, которая точно так же, как и фильмы, не имеет практически никакого отношения к реальной жизни. Например, в рекламе недорогого семейного автомобиля показана счастливая семья, которая выходит в чистой одежде из своего чистого и аккуратного дома и по ровно подстриженному газону идёт к машине. Потом они радостно едут по ровным чистым улицам и останавливаются перед светофором с пешеходной дорожкой, чтобы пропустить таких же радостных и чистых пешеходов. Ничего этого в действительности нет. Даже в Дели есть всего лишь несколько светофоров, перед которыми никто и не думает останавливаться. А пропустить пешеходов, идущих по переходу (их тоже практически нигде нет) – вообще дикость.

Если же говорить о многочасовых опозданиях самолётов и поездов – Баччан, как и все остальные индийцы, к этому наверняка привык. В Индии это дело совершенно обыденное. Наш поезд из Агры в Дели опоздал на восемь часов якобы из-за тумана, которого на самом деле не было. И это – вовсе не уникальный случай. Приходя на вокзал, индийцы готовятся провести там много времени – целые семьи рассаживаются на платформах, раскладывая еду, словно они на пикнике. Индийские вокзалы и поезда – словно картинки из фильма «Ташкент – город хлебный».

И несколько последних штрихов – в завершение картины. Индийцы очень любят яркие одежды и украшения. Украшают не только себя, но и всё вокруг. Всё это моментально становится грязно-серым.

Индийские дороги – это испытание. Они гораздо хуже украинских. Расстояние в двести километров, преодолеваемое у нас за два часа, в Индии вы проедете минимум за пять. Мы доехали за шесть.

Нам повезло – мы увидели много свадебных процессий. Индийская свадьба – зрелище настолько экзотическое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вся косметика и бытовая химия, все средства гигиены продаются в крошечных упаковках. Даже туалетная бумага – на два захода в туалет. На большие упаковки у индийцев нет денег.

В Индии очень мало супермаркетов. Процветает мелкая розничная торговля. Лавчонки занимают почти девяносто пять процентов рынка ритейла. Всё потому, что нужно чем-то занимать огромное количество неграмотного населения. У каждого продавца – по пять помощников. Основное их занятие – глазеть на покупателей и крутить головой по сторонам.

Школы в Индии очень чистые и аккуратные, чистая и форма у школьников. Видно, что правительство делает упор на образование.

Белокожие девушки, а особенно блондинки – объект пристального внимания со стороны местных жителей. Их будут бесконечно трогать, дёргать за волосы или поглаживать, с ними будут фотографироваться сотни людей в день.

Запомнилась сценка в Дели – у дверей ресторана (на самом деле, конечно, забегаловки) *KFC* стояли два вооружённых солдата. Они отпихивали и били прикладами попрошайек, пытающихся вползти вовнутрь.

В аэропорт Дели, очень приличный, кстати, попасть можно, только предъявив вооружённому охраннику билет с близким временем вылета. Если бы не это условие, в нём жило бы полгорода.

Если в Китае для переезжающих из сёл в города людей строят с небывалой скоростью жилые комплексы, дороги и всю прочую инфраструктуру, в Индии всё ровно наоборот. Там не только не строят, но добивают старые дома халатным к ним отношением. Поэтому приезжающие работать в Джайпур, например, спят под кустами вдоль дорог. Туалет у них тут же, «во дворе». Если индеец заработает на хибару площадью в двадцать квадратных метров, он считается зажиточным.

Индия толерантна ко всем религиям. Это та страна, в которой каждый из нас может придумать свою религию, найти адептов и стать святым. По телевизору постоянно показывают проповеди приверженцев различных религий и конфессий. На христианских проповедников любо-дорого смотреть – они могут быть одеты в ярко-голубые рясы с ярко-оранжевыми крыльями, вышитыми на спине.

На этом, наверное, остановлюсь. Михаил Михайлович Жванецкий сказал как-то, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Так же и с описанием Индии – удивительной вселенной, в которую невозможно не влюбиться.

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

ДУРАЛЕКС

пьеса

Действующие лица:

Девочка

Женщина

Почтальон, палач, мужчина – один актёр

Феминистка

Гинеколог

Юноша

Действие 1.

Эпизод 1.

На сцене фасад розового домика с окошком, из которого смотрит девочка с двумя косичками и двумя пушистыми белыми бантами в них. На лице у девочки написано ожидание, она высматривает что-то вдалеке и перебирает косичку. Она видит раньше зрители, что кто-то приближается.

Девочка: *(радостно, без примеси упрёка)* Наконец-то ты пришёл! Я жду тебя столько, сколько себя помню!

Почтальон *(входит размашистым шагом, на ходу доставая из сумки-через-плечо сложенный листок бумаги):* Вам вызов! Получите *(протягивает ей листок)* и расшифруйте *(изящно достаёт из нагрудного кармана ручку, нажимает на кнопку, подаёт).*

Девочка быстро подписывает, радостно повторяя «наконец-то», «я так ждала», «спасибо», «спасибо». Возвращает листок почтальону. Тот разочаривается, чтобы уйти.

Девочка: Постой! Куда же ты? *(почтальон вопросительно поворачивается к ней)* Ты даже не рассказал мне – какая она? Красивая? А добрая? А он? Ну пожалуйста, расскажи...

Почтальон *(сдвигая шапку на лоб, почёсывая затылок):* Ну в общем, она такая... Такая... *(делает неопределённый жест руками, задумывается).* Знаешь, я как-то – не рассмотрел. Она такая... обычная...

Девочка *(возмущённо):* Обычная?! Да как ты можешь так говорить о ней! Это же моя... *(отворачивается от окошка в поисках слова, мы видим её затылок, поворачивается)...* *(вложив в найденное слово всю любовь и нежность)* мама.

Почтальон *(виновато):* Прости *(сжматывается, строго),* а я и не должен никого рассматривать. Это не входит в мои обязанности. И вообще *(смягчаясь),* сама потом всех рассмотришь. Я лучше расскажу тебе один бородастый анекдот. Но ты его не знаешь. Я всегда его рассказываю. Слушай. Сидят два близнеца в утробе матери. Один у другого спрашивает: «Как ты думаешь, есть ли жизнь после рождения?». А второй ему отвечает: «Не знаю. Ведь никто оттуда не возвращался».

Девочка *(смеётся):* Хороший анекдот! *(с восторгом)* Да, ты прав – я сама потом всех рассмотрю! *(выбегает из дверей домика, крепко обнимает почтальона)* Ты прав, ты прав! Спасибо тебе, добрый вестник! *(отпускает его. Почтальон со словами «Доброго рождения!» уходит).*

Девочка раскрывает створки домика, как ворота, и мы видим розовую девчачью комнатку. Она начинает там хлопотать, вытирать и сдувать пыль, наводит порядок, напевая без слов известную песню Козна «Аллилуйя». Сцена медленно поворачивается, скрывает её и открывает другую комнату.



Эпизод 2.

Спальня, посередине стоит большая квадратная кровать, на которой лежит полуголый мужчина и переключает каналы телевизора. Из двери ванной выходит женщина, у неё встревоженное лицо, она несёт в руке какой-то небольшой продолговатый предмет, издавая напоминающий градусник.

Мужчина (мельком взглянув на вошедшую, вяло): Кто-нибудь мне сегодня сделает завтрак? (женщина нерешительно топчется на месте). Эй! (продолжая смотреть в телевизор) Я говорю: кто-нибудь – кто-нибудь сделает мне завтрак? (женщина подходит к кровати и садится на край). Что такое? (удивлённо смотрит на неё).

Женщина (слегка ошарашенно): Представляешь... я беременна. У меня... у нас будет ребёнок. (поворачивается к нему) Даже не представляю, когда это... Наверное, помнишь, после юбилея у Мендельсонов, ты ещё сказал, чтолюбишь меня... я стану матерью...

Мужчина: Мать... матерью? Погоди, погоди! О чём ты? Какой ребёнок? (встает на кровати в трусах) Мы же много раз обсуждали это. Я всегда был честен с тобой. Ты помнишь?

Женщина (упавшим голосом): Да, конечно. Я помню. Но раз так вышло...

Мужчина (начиная злиться): Как – вышло?! Нет, ты прекрасно знаешь мои обстоятельства. Это невозможно. Не обсуждается. Я тебя предупреждал.

Женщина: Но для меня это тоже неожиданно. И не вовремя. Это ломает все наши планы. И мне страшно. Представляешь, во мне кто-то другой поселился и растёт (она расширяет от ужаса глаза), растёт, ест меня, а когда он родится – из меня начнёт течь молоко... Это как фильм ужасов.

Мужчина (энергично): Согласен! Очень похоже. «Другие» или «Чужие» или как там? (показывает стремительную пантомиму, в которой из его живота мучительно и страшно появляются монстры). Но бояться нечего – ведь он не родится.

Женщина: Смерть до рождения...

Мужчина: Я тебя умоляю!!! Если аборт – детоубийство, то онанизм – геноцид.

Женщина: Давай хотя бы подумаем? Ведь так уже случилось...

Мужчина: И думать не о чем! Мы не готовы (переступая и путаясь в простынях). Я – не готов! Какой из меня отец? (заглядывает ей в лицо)

Женщина (смотрит на него внимательно): Да, ты прав (отворачивается).

Мужчина: Ааа (прищурившись и грозя пальцем, истерично) ты просто воспользовалась мной. Так я и знала! Мама предупреждала меня! (несколько раз подпрыгивает на кровати, торжествуя) Теперь ты будешь меня шантажировать. Ну конечно! (наступает) Теперь ты будешь мне угрожать?!

Женщина (поднимаясь с кровати и отступая): Ну подожди, я просто не могу так сразу...

Мужчина (гоняется за ней, хрипло восклицая, она убегает): Не можешь так сразу?! Подождать?!!! А там глядишь, ему уже 14 и аборт делать поздно?!

Женщина (сжавшись в углу): Ты не даёшь мне возможности даже прийти в себя, не разрешаешь мне вы-брать...

Мужчина (нависая над ней) Отчего же! (благородно) Выбирай: или ребёнок – или я!

Женщина (с ненавистью, тихо): Я выбираю тебя.

Мужчина (успокаиваясь, подходя к ней, обнимая за плечи): Ну вот и умница, вот и хорошо (облегченно вздыхая) Пойду, сварю нам кофе.

Женщина (шепотом): Мне страшно...

Мужчина: Не бойся, я же с тобой (уходит).

Женщина остаётся одна, она опускает голову, закрывает лицо руками, свет становится немного глуше, на стене тикают часы, их звук нарастает. Сцена поворачивается.

Эпизод 3.

Очередь к гинекологу. Пять человек. Шесть стульев. Наша Женщина подходит, спрашивает, кто последний, отзывается (холодно «за мной») девушка неопределённого возраста с короткой стрижкой, в очках, модно одетая, не накрашенная – будем называть её «феминистка». В руках она вертит трость с набалдашником в виде головы пуделя. В очереди есть изрядно беременные, большая часть сидит, уткнувшись в айфоны. Регулярно раздаются характерные звуки приходящих сообщений. Женщина садится рядом с феминисткой на свободный стул. Из двери кабинета выходит беременная, со стула поднимается другая беременная, заходит в дверь и прикрывает её за собой.

Женщина (обращаясь к феминистке): А вы не знаете, кто там сегодня принимает – мужчина или женщина?

Феминистка: Не знаю. Да и какая разница? Главное, чтобы выполнял свою работу. А то я недавно была у хирурга – пожилая женщина, с опытом, но лезет не в своё дело. Я попала к ней с подозрением на аппендицит, она мне поставила беременность и – давай уговаривать оставить ребёнка. Какое её дело вообще? Злит страшно. Ненавижу. Сама всю жизнь прожила в рабстве и нас туда тянет.

Женщина (*придвигаясь и понижая голос*): Простите, а вы тоже... ну... на аборт?

Феминистка (*громко*): Да, на аборт. (*Беременные оглядываются на неё возмущенно, она не замечает*). Надеюсь, здесь не будет всей этой волокиты с психологом, временем на размышления и прочей дребеденью. Придумали тоже! Это же ограничение свободы человека, а меня бесит любое ограничение свободы! Это ограничение фундаментального права человека распоряжаться своим телом и судьбой.

Женщина: Простите, если это бестактно... Вы уже не в первый раз? Можете рассказать мне – как это? Как это пережить?

Феминистка: Да ну бросьте! Ну как удаляют гланды? Главное, не надо в себе развивать это чувство вины. Вы ни в чём не виноваты. Женщине навязывается стыд, даются указания, что она должна делать, когда, с кем. Это не приведет ни к чему хорошему.

Женщина: Да, но аборт – это же всё-таки... (*шёпотом*) всё-таки аборт – это (*ещё тише*) убийство.

Феминистка: Что?!

Женщина (*громче, срывающимся голосом*): Убийство...

Феминистка: Если аборт – детоубийство, то (*делает паузу*) минет – людоедство. (*гордо озирается, продолжит, нравуучительно распаляясь*) Аборт – это не право на убийство, это право распоряжаться своим будущим самостоятельно. За женское тело отвечает сама женщина, в эти вопросы не должен влезать больше никто. Вы же не спрашиваете ни у кого разрешения постричь себе ногти? Это ваши ногти и больше ничьи, делайте с ними, что вам заблагорассудится.

Женщина (*робко*): Но ребёнок не совсем – часть женщины, у него же даже может быть другая группа крови, другой резус-фактор, другой пол...

Феминистка (*на секунду замешкавшись*): Чепуха! Всё это не имеет значения! Вы просто не определились, сомневаетесь.

Женщина (*печально*): Да нет, определилась, по-другому нельзя. Конечно, я не смогу родить этого ребёнка сейчас, всё против этого.

Феминистка: Что именно?

Женщина: Ну, во-первых, муж категорически против. Во-вторых, работа. Если я сейчас уйду в декрет, то всё, к чему я столько времени стремилась, накроется. И мама меня не поддержит, у неё тоже работа. Я совсем одна. Но главное, мне просто страшно. Я боюсь – ответственности, когда ребёнок родится. Как я справлюсь? Боюсь самих родов – это же очень страшно, смертельно страшно... Боюсь беременности. Я хочу, чтобы этого просто не было. Надо покончить с этим и забыть. Но неприятность в том, что покончить тоже боюсь, и что забыть не получится – боюсь...

Феминистка (*иронично, свысока, поглаживая голову пуделя на тросточке*): Мда, тяжелый случай. Не знаю, что вам сказать. Вам просто заморочили голову все эти мифы о «детоубийстве». Надо их развенчивать. А знаете, сколько искалеченных судеб у тех, кто вовремя не решился принять меры? (*ласково, положив ей руку на плечо*) Вы имеете право на выбор. Не бойтесь ничего.

Женщина (*жам*): Я имею право на выбор. Главное, ничего не бояться.

Тем временем, подходит очередь феминистки, она встаёт, заходит в дверь кабинета.

Женщина (*раздумчиво*): Это моё тело. Слышишь? Ты просто часть моего тела. Я хочу, чтобы тебя не было. Да тебя ещё и нет. Ты просто несколько клеток. И ты ничего не чувствуешь. Тебе не больно. И не страшно.

Сцена поворачивается.

Эпизод 4.

Девочка гладит белье в центре своей розовой комнаты. Она прикладывает к себе поглаженное маленькое кружевное платье, смотрит в зеркало, смеётся: «Нет, пока оно мне ещё маловато». Вдруг начинает мигать электричество. Утюг вспыхивает и перегорает. Дымит.

Девочка (*испуганно*): Вот это да! (*выдёргивает утюг из розетки*). Что там у них творится? (*смотрит наверх*).

Распахивается окно, начинается сквозняк, шум голосов, как на вокзале, хлопает дверь, звуки прекращаются. Входит почтальон, останавливается, снимает свою шапку, кладет её в сумку, достаёт оттуда головной убор палача, натягивает его.

Девочка: Ты не знаешь, что там у них происходит в мире?

Палач (*охотно*): Стабильности нет.

Девочка (*любопытно*): А почему ты переделался?

Палач: Потому что я принёс тебе плохие новости.

Девочка: Плохие новости?

Палач: Да, вот тут тебе надо подписать (*достает бумагу и ручку*). Это разрешение на аборт.

Девочка (*растерянно*): На аборт? Но... но я не согласна!



Палач: Это не важно. По закону тебя ещё нет (*прячет бумагу*). Мы можем обойтись без этих формальностей.

Девочка: Но я же есть! Дурацкий закон.

Палач: Dura lex, sed lex, как говорили древние. То есть – закон есть закон.

Девочка: Вот именно, что дура. Откуда берутся эти ваши законы?

Палач (*уныло*): Они защищают право женщины на своё тело, право на выбор. У человека должна быть свобода выбора.

Девочка: А как же я?.. Может, они чего-то не понимают?

Палач (*неохотно*): Наверное... Ну что приступим?

Девочка: Подожди, подожди... Может, они не знают, что мне больно? И страшно? Что я не хочу умирать?

Палач: Знают. Но скрывают от себя.

Девочка: И ничего нельзя сделать?

Палач: Ничего.

Девочка: Но это же подло.

Палач: Да, но злиться на них нельзя. Они же не виноваты... идиоты грёбанные. Ну что, ты готова?

Девочка (*всхлипывая*): Нет, я не готова, подожди. Дай мне настроиться. (*палач смотрит на часы, засекает время*) Мне страшно. Мне очень страшно. Что со мной будет?

Палач: Не стану тебя обманывать. Тебе будет больно. Но недолго.

Девочка: А потом?

Палач: Потом ты будешь, но тебя не будет. К сожалению, родиться после аборта повторно уже нельзя. Ты попадёшь в такое место, из которого нет выхода. Это похоже на... стеклянную банку. Или на... глубокий колодец. Там нет звуков, нет света, есть только те, от кого отказались. Они молча ползают друг по другу, хотят есть, спать и на ручки. И иногда тихонько плачут. Я не хочу обманывать тебя. Я говорю тебе как есть. Готова?

Девочка: Ещё минутку! (*некоторое время молчит, потом произносит спокойно*) А мама? Как она будет жить после этого?

Палач (*довольно*): А вот это хорошая новость! Это зависит от тебя.

Девочка: От меня?

Палач: Да. Ты можешь пожелать ей никогда больше не иметь детей, или чтобы они родились у неё больными, она любила бы их, а они потом умерли. Ты можешь пожелать ей самой умереть от рака. В страшных мучениях. Ты можешь даже пожелать ей совершить самоубийство. Ну или просто прожить в тоскливом одиночестве всю жизнь. И так и будет, поверь мне.

Девочка: А могу я пожелать ей счастья?

Палач (*пожимая плечами*): Можешь.

Девочка (*серьёзно и ответственно, без надрыва, спокойно*): Тогда я желаю ей счастья. Я желаю, чтобы она не болела, чтобы была здоровой и весёлой. И чтобы и мысли не допускала о самоубийстве. Чтобы родила себе ребёнка, когда будет к этому готова. Или даже двух... Скажи, а она дала мне имя?

Палач (*тщательно записывая пожелания в блокнотик*): «или даже двух...». Имя? Нет, не дала (*смотрит на часы*). Прости, но я должен приступить – время не терпит. Готова?

Девочка: Нет!

Палач: Да сколько же можно откладывать?! Почему ты никак не настроишься?

Девочка (*прицокнув языком и разведя руками*): Мотивации не хватает!

Палач (*подбегает к ней, она удивляется, это выглядит, как игра*): Ладно, сейчас я тебя догоню!

Девочка (*пробежав по стульям и столу, нараспев*): Мир ловил меня, но не поймал!

Палач (*удивлённо*): Вот это да! И откуда ты знаешь Сковороду?!

Девочка (*проползая под столом в другую сторону*): Какую такую сковороду? Из «Федориного горя»?

Палач: А «Федорино горе» откуда ты знаешь?

Девочка: Да кто ж его не знает!

Девочка (*внезапно ойкает, бледнеет, хватается за руку*): Рука отнялась (*смотрит на палача растерянно*). Ой, и голова закружилась (*шатается*).

Появившиеся в комнате существа в чёрных облегающих костюмах, чулках на голове и белых перчатках начинают толкать её, кружить, трясти, поднимают и опускают.

Палач тем временем достаёт из сумки и выкладывает на гладильную доску, предварительно застелив её выглаженной детской пелёночкой, страшные медицинские инструменты.

Девочка (*жалобно кричит*): Пожалуйста, подожди, я ещё не готова! Прощу тебя! (*палач берёт скальпель и идёт на неё*) Мне страшно! Не надо!

Свет выключается. Раздаётся захлебывающийся детский плач. Он звучит несколько секунд. Потом резко обрывается. Некоторое время тишина и темнота.

Эпизод 5.

Комната с квадратной кроватью. За столом сидит, вытянув спину, женщина. Её голова обмотана полотенцем. Перед ней стоит стакан с водой. Тихо тикают часы на стене. Женщина берёт пузырек, капает в стакан, считает: два три... пять, шесть семь... (некоторые числа произносит про себя, потом снова вслух), двадцать пять, двадцать шесть... тридцать. Подносит стакан ко рту, нюхает, сморщившись, ставит на стол.

Женщина (*оживлённо, в зал*): Невозможно пить эту гадость. А без неё не сплю. Не могу уснуть. Завтра важное совещание, надо быть свежей. Сон постепенно совсем оставил меня. По секрету: я боюсь засыпать. По ночам мне снится, что я ползаю в темноте в чем-то склизком, пахнущем кровью, шевелящемся, живом. И у этого копошения нет конца. Просыпаюсь в холодном поту. Этот сон первый раз приснился мне ещё тогда. Сразу. В первую ночь после того, как я сделала аборт. И вроде всё в жизни идёт нормально. С мужем мы, правда, расстались. Не могла я его видеть после этого. Но карьера резко вверх пошла, да и мужским вниманием я не обделена. Но вот ведь в чем облом... не нужно мне всё это. Совершенно не нужно. А что мне нужно? Да самая малость. Только одно. Мой ребёнок. Чтобы я его не убила тогда (*выпивает залом капли*). Смешно. Стихи начала писать. Раньше даже не читала и вот на тебе (*отрывисто и страшно смеётся*). Декламирует:

кто я? ни имени возраста цвета глаз голоса
памяти даже ногтей и кожи
не удостоившаяся при жизни
в космосе матери в тёплой полости
полной дыхания и колыхания – кто же
я если не ты? скажи мне
что они думают что у них на безумье
страшных идущих убить своего младенца?
хоррор кровавые пальцы ночная стража
режущая беспомощного беззубого
плачущего захлебывающегося всем сердцем
зовущего маму кого же ещё? когда же
всё уже кончено они могут ходить разговаривать
выглядеть как обычные люди даже
кажется что они не убийцы
что их души ни капельки не окровавлены
что они не уроды что их Бог не накажет
что они поступили правильно

Поднимается со стула, стягивает полотенце с головы, фроняет его на пол. Волосы стоят дыбом. Говорит:

Господи, если бы только было возможно всё вернуть. Пожалуйста, прошу тебя! (*вид делается окончательно обезумевшим, в глазах стоят слёзы*). Ведь ты же можешь всё вернуть? Я не заслужила – нет, нет – не из-за меня. Из-за неё (*плачет*). А я ведь дала ей имя... Маша. Машенька. Я никому этого не говорила, только тебе (*становится на колени*). Знаю, что невозможно – верни мне её, дай нам ещё один шанс (*ложиться на пол, шепчет*). Пожалуйста... пожалуйста...

Действие 2.

Эпизод 1.

Очередь к гинекологу. Женщина сидит рядом с феминисткой. Растерянно осматривается, пока феминистка говорит.

Феминистка (*неожиданно грассируя, как Владимир Ильич*): Аборт – это не право на убийство, это право распоряжаться своим будущим самостоятельно. За женское тело отвечает сама женщина, в эти вопросы не должен влезать больше никто. Вы же не спрашиваете ни у кого разрешения постричь себе ногти? Это ваши ногти и больше ничьи, делайте с ними, что вам заблагорассудится.

Женщина (*уверенно*): Но ребёнок совсем не часть женщины в этом смысле, у него же даже может быть другая группа крови, другой резус фактор, другой пол, наконец.

Феминистка (*на секунду замешкавшись*): Чепуха! Всё это не имеет значения! Вы просто не определились, сомневаетесь.



Женщина (*радостно*): Да нет же, определилась! По-другому нельзя! Вы даже не представляете, какое это счастье! Как я счастлива! Конечно, я смогу родить этого ребенка. А вас я отлично понимаю, вы не думайте! Вам просто страшно. Это как в блокаду на войне женщины убивали младенцев и съедали, чтобы выжить. А когда наступало мирное время, они вешались. Потому что, если совершить подлость, то хорошо уже не будет. Никогда. Но никто не ведёт этого полового просвещения. А запретами ничего не решить. Если запрещено кем-то снаружи, то запрет всегда можно обойти.

Феминистка (*сухо*): Не понимаю вас.

Женщина: Да я и сама ничего не понимаю. Знаете, ведь и у вас есть сейчас второй шанс. Вы тоже можете родить себе сына. Я точно знаю, что у вас будет сын. Только не спрашивайте, откуда я это знаю. Он будет таким спортивным, будет любить играть в баскетбол. С характером мальчишка. Тёмноволосый, смуглый... И хотя в детстве он будет капризничать из-за еды, и тяжело болеть корью, и в школе вам не раз придётся краснеть из-за его проделок, и женится он на той идиотке из Солнцево с длинной русой косой – несмотря на всё это вы ни разу не пожалеете о том, что он у вас появился.

Феминистка: Да вам лечиться надо. Вы не к тому доктору пришли.

Женщина (*весело*): А мне вообще не надо к доктору. Мне надо домой (*уходит*).

Феминистка (*вслед*): Психичка! И с чего она взяла, что у меня будет мальчик?

Из кабинета выходит очередная беременная, феминистка оглядывается – больше никого нет, заходит. Сцена сдвигается.

Эпизод 2.

Кабинет гинеколога. За столом сидит такая же феминистка – очки, стрижка – только старая. Она что-то пишет. В кабинете кроме стола и стульев, находится ширма.

Гинеколог (*строго*): Заходите, садитесь (*указывает на стул рядом со столом*). Пришли становиться на учёт по беременности?

Феминистка (*злобно*): Нет. Я пришла делать аборт.

Гинеколог (*спокойно, не поведя бровью*): Отлично.

Феминистка: Что именно – отлично?

Гинеколог: Что вы собираетесь сделать аборт.

Феминистка: Почему?

Гинеколог (*поднимая глаза от писанины и откладывая ручку*): Ну как вам объяснить? Некоторым людям лучше не рожать (*смотрит на неё в упор*). Лучше некоторым людям не размножаться.

Феминистка (*склочно*): С чего это вы взяли, что мне не следует размножаться?

Гинеколог: Интуиция (*подняв указательный палец*). И опыт.

Феминистка (*вскакивая*): Да ну вас всех к чёртовой матери! Аборт спокойно сделать не дадут.

Гинеколог: Милочка, успокойтесь. Никто не ограничивает ваши права, напротив. Я руками и ногами за то, чтобы вы реализовали их в полном объёме. Вы у меня последняя. Заходите за ширму, я вам прямо сейчас сделаю аборт (*подмигивает*). Быстро и недорого. Только надо сначала взглянуть вас на УЗИ.

Феминистка растерянно заходит за ширму вслед за гинекологом.

Гинеколог: Так... так... Сейчас будет немного холодно. Хотите знать пол ребёнка? У вас мальчик.

Сцена поворачивается.

Эпизод 3.

Розовая комната. В ней удивлённо озирается девочка. Вбегает запыхавшийся потный почтальон с шапкой набекрень.

Девочка: Что произошло? Как я тут оказалась?

Почтальон: И не спрашивай. У меня сегодня сумасшедший день. Целых два возврата. И всё надо оформить. Подпиши (*протягивает бумагу и ручку*). Вот здесь (*тыкает пальцем*).

Девочка (*берёт ручку, задумывается*): А это обязательно – подписывать? Может, можно и так обойтись? Как в прошлый раз...

Почтальон: Что ты? Ни в коем случае. Надо обязательно подписать.

Девочка: Это имеет значение? Я – имею значение?

Почтальон: Ого! Конечно! Ещё какое! (*подмигивает ей*)

Девочка (*старательно выводит подпись*): Ну хорошо. Вот. Готово.

Почтальон выхватывает у неё листок. Любуется на вытянутой руке, затем бережно складывает пополам и прячет в сумку.

Почтальон: Ладно, мне надо ещё одну такую бумагу подписать. У одного вредного мальчика. С ним ещё придётся повозиться, он так сразу не согласится. С характером! Весь в маму.

Девочка (улыбается): Скажи, а почему ты меня обманул тогда?

Почтальон: Когда?

Девочка: Ну тогда. Когда сказал, что она не дала мне имя.

Почтальон: А она дала? Я не знал.

Девочка (улыбаясь): А я знала. Я всегда знала.

Почтальон: И как же тебя зовут?

Девочка собирается ответить. Тут из-за сцены раздаётся голос: «Эй ты, долго тебя ждать?». На сцену выходит смуглый черноволосый юноша спортивного телосложения. Он видит девушку и резко останавливается. Видно, что она произвела на него впечатление. Девочка смущена. Но парень тоже ей явно понравился.

Юноша (обращаясь к почтальону, не сводя с неё глаз): Кто это?

Почтальон: Знакомься, это твоя будущая жена.

Юноша: Да ладно! Не может быть. Какой день сегодня с утра хороший. Вот сразу задался. Ты иди, друг, а я с ней хочу познакомиться. Всё-таки жена.

Почтальон: Ладно. Знакомься. Только ведн себя с ней прилично. В шахматы там поиграйте, что ли. Музыка послушайте. Я вам сейчас поставлю свою любимую песню.

Юноша подходит молча к девушке, они смотрят друг на друга. Почтальон достаёт из нагрудного кармана продолговатый предмет, похожий на градуслик, направляет его куда-то вверх и включается «Аллилуйя». Сцена поворачивается.

Эпизод 4.

Комната с квадратной кроватью. За столом сидит, вытянув спину, женщина. Её голова обмотана полотенцем. Перед ней стоит стакан с водой. Тихо тикают часы на стене. Женщина берёт пузырёк, вертит в пальцах, оттирает что-то невидимое, ставит пузырёк на место. Вдруг начинает мигать электричество. Лампочка вспыхивает и перегорает. Комната погружается в сумерки, освещаемые только отблеском уличных огней из окна. На фоне светящегося квадрата снаружи возникает мужская фигура, человек запрыгивает в комнату. Женщина вздрагивает, но не поворачивается. В мужской фигуре легко узнать палача.

Женщина (устало): Наконец ты пришёл! Я жду тебя столько, сколько себя не помню.

Палач молча достаёт из сумки и кладет перед женщиной повестку и ручку.

Женщина (рассеянно посмотрев на повестку): Мне сейчас такой сон чудесный приснился. Но я его плохо помню – маленький кадр только. Как будто я его оттягиваю с усилием на такой тонкой резинке, а он снова возвращается в темноту, не хочет выходить целиком. Ты не знаешь, как вспоминают сны?

Палач: А меня ты помнишь?

Женщина: Не совсем... А кем ты был?

Палач (нараспев): «Я был только тем, чего / ты касалась ладонью...». *(встаёт со стула, становится у неё за спиной, кладёт ей руки на плечи).* Я очень виноват перед тобой. Знаешь, у меня ведь жизнь была собачья. Мама не хотела меня рожать, просто пропустила момент... Помню, когда я был маленький, у меня не было кровати. Я спал на сундуке. Он был твёрдый и покатый. Ночью я часто просыпался от того, что сваливался с него и ударялся головой. Наверное, поэтому и вырос таким дебилом. *(Обходит женщину, садится на стол спиной к ней)* А однажды маму увезли в райцентр – там была больница, отец поехал за ней. Я остался один. Дома не было никакой еды. Совсем. На второй день меня стало мутить от голода, я вышел на улицу и стал искать на земле. И за домом соседей нашел картофельные очистки. Они меня и спасли.

Женщина: А сколько тебе было?

Палач: Шесть лет. А ещё через два дня родители вернулись с маленьким братом. Я потом много думал обо всем. Помнишь Кевина Картера, фотографа, которого затравили, и он покончил с собой? Из-за фотографии, на которой умирающая смуглая девочка и терпеливо ожидающий стервятник. Понимаешь, он сфотографировал, а не помог ей. Но в Сомали два миллиона детей умирают от голода и засухи. Никто не спасает их. Я думал – не милосерднее было бы их не мучить короткой жизнью с долгой бессмысленной болью? А дети, рождающиеся у женщин, которые их не хотели и так и не сумели полюбить. А, может,



просто ненавидят и шепчут им по ночам: «Умри, умри, почему ты не умираешь!»). Как в том фильме – как его? – Ингмара Бергмана. Забыл название...

Женщина: «Персона».

Палач: Да-да! «Персона». Понимаешь? Оставить жить – это тоже ответственность, тоже решение.

Женщина: А в чём ты виноват передо мной?

Палач: Не только перед тобой. Есть ещё несколько. А одну не смог уговорить.

Женщина: Уговорить на что?

Палач: Она говорит: «Не могу я – чувствую, что он живой внутри. С первых дней». Представляешь? Чувствую, говорит, его сознание во мне, его вкусы. Вот мне раньше не хотелось томатного сока и мятных пастилок, а сейчас дня без них не проживу. Я ей говорю: «Так это просто твой организм определённых веществ требует». А она: «Так всегда ведь по-разному. Вот мама со мной на пирожные налегала. А с сестрой на зелёный горошек – просто за уши не оттащишь». Я уже и так, и так с ней – но какая тут логика? Упёрлась. Это, говорит, женщина принимает решение. Ты можешь мне не помогать. Тяжело нам, конечно, с ребёнком будет, но что делать? Если бы каждый, кому тяжело, кого-нибудь мочил, чтобы полегчало, это был бы ад какой-то. И вообще, крик, кто сказал, что всё должно быть так уж безоблачно? И родила нам дочку. Я, конечно, повыпендривался, а потом всё равно женился на ней.

Женщина: Вот это ты правильно поступил. Скажи только – а эта твоя работа... Как думаешь – это наказание за то, что тех, других, ты уговорил?

Палач: Хм. По мне, так это награда – не знаю только за что. Я ведь одно понял: что и запретить убить нельзя и убить нельзя. Но это только изнутри, не снаружи.

Женщина: А ты знал, в Южной Корее день рождения отмечают с момента зачатия?

Палач: Логично! А ещё я заметил, что все сторонники абортотворения – это люди, которые уже успели родиться.

Женщина: Это же ты повторяешь за Рональдом Рейганом!

Палач (*улыбаясь*): Да, но истина не тускнеет от повторения.

Женщина: А это сказал Хаджа Насреддин.

Палач: Вот видишь, память возвращается к тебе. Скоро ты вспомнишь и свой сон.

Женщина: Я вспомнила стихотворение. Только автора пока не помню:

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, –
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

НЕБА – НАСКВОЗЬ

кино-проза

1, ПРОЛОГ

Внутри – хорошо.

Торопыга, спрятавшийся в уютную черноту панциря, и не думает высовываться наружу.

Какой-то усиленный, гремящий голос, – звучит отовсюду.

– 10...

Торопыга понимает говорящего отовсюду человека, но, ах... до чего же страшен – его громяющий голос.

– 9...

Торопыга нежится – в уютной внутренней черноте, напоминающей черноту звёздного неба.

– 8...

Голос звучит отовсюду.

Напряжённый, чеканный, пугающий.

– 7...

И зовущий...

КУДА?!

– 6... 5... 4...

Байконур, оставшийся за пределами панциря, к сожалению, разочаровал.

Так много грохота, неживых механизмов...

А запахи?!

А травы?!

Травы, совсем не похожие на обычные, земные?

В панцире – хорошо.

Можно расслабиться и размышлять... реф-лек-тировать, как называли это – рыжие обитатели ЦУП'а.

Именно они рассказали ему...

Но тсс...

Лучше – не вспоминать.

Зачем?

Это – осталось снаружи.

Внутри же – ласковая, знакомая чернота и ласковые, знакомые мысли...

О, если бы не голос...

ЯРОСТНЫЙ,

РЕВУЩИЙ,

ЧЕКАННЫЙ,

ЗОВУЩИЙ...

Куда-а-а?!

– 3...

Зовущий,

Зову-у-ущий...

ЗОВУ-У-У-УЩИЙ.

– 2, 1...

И Торопыга бросается вон. Из уютной, знакомой...

И видит – необычайно высокое, синее небо и её... ракету, устремлённую ни-ку-да.



2

Огро-о-омная и прекрасная, ракета упирается в небосвод...

– Ох, – думает Торопыга. – Неужели это – единственный способ... Остаётся – подняться по металлическим конструкциям и забраться в кабину.

Торопыга не знает, что такое кабина...

Да, рыжие обитатели ЦУП'а рассказывали об устройстве ракеты, но разбирать их сбивчивое стрекотание...

К тому же – увлекаясь, они отчаянно шевелили крылышками, и Торопыга переключался на это шевеление, забывая о сути.

– Значит, кабина находится – в самом верху.

Торопыга запрокидывает головку и ужасается...

Ох, и высоко-о-о-о...

Если бы не странное – для обычной улитки – желание полёта...

Если бы не...

Он мог бы – и не увидеть, не ужаснуться, восторгаясь...

Ра-ке-та.

Самое прекрасное, что Торопыга увидел в своей неторопливой и маленькой жизни...

Сверкающее чудо, нацеленное – в ослепительную синеву...

– Нет, об этом я подумаю, забравшись в кабину, – решает Торопыга и – торопится навстречу – нацеленному в зенит жучиному, улиточному счастью.

3

Точно такая же...

Рыжие узнавали её – по чертежам.

Они узнали – каждую деталь её корпуса, узнали, как работают Ступени...

Но чертежи – не реальность.

Маленькие чертежи и – огро-о-омная, свер-р-ркающая, нацеленная...

Торопыга позвал рыжих – с собою.

Но они – отказались.

Они слишком привыкли к чертежам и умным беседам.

Теоретически отпадающие Ступени...

Трескотня и шуршание.

Нет, Торопыге хочется – совершенно другого.

Ему хочется

– ощутить ледяной холод металлического корпуса;

– ощупать рожками – каждую маленькую деталь;

– осознать себя – частью, маленькой частью несущегося в небо...

Несущейся в небо...

Она, описанная рыжими, и она же, но уже...

ВОТ!!!

Это – две разные ракеты.

– Милая... – лопочет Торопыга, и ему кажется, что он её... да, он – её – любит.

И гораздо больше, чем знающие умные слова обитатели ЦУП'а.

Они – только знают, он – хочет большего.

Он, Торопыга, – хочет гораздо большего.

4

– Ты куда полз-з-зёшь?!

Мошकारа изумлённо таращится на ползущего Торопыгу.

– Ты раз-з-зве не боишься?!

– Чего? – удивляется Торопыга, не отрывая взгляда – от сверкающей, нацеленной...

– Ну, как ж-ж-же... огня!!

Мошकारа оглядывается на ракету и жужжит, зудит – уже совершенно нечленораздельно.

– Какого ещё огня?! – интересуется Торопыга, но мошकारа срывается с места и уносится прочь, подалее и от ракеты, и от вопрошающего Торопыги.

– Огня... – думает Торопыга. – Они ужаснулись какого-то огня... Но я – не вижу никакого огня. Только – ракету. Прекрасную и неподвижную.



Торопыга решает, что огонь... это экзистенциальное, не поддающееся рефлексии...

Но рациональному Торопыге, воспитанному рыжими из ЦУПа, бояться – надуманного, придуманного, не существующего огня?!

– Глупые мошки, – ворчит Торопыга – и ползёт навстречу...

Исключительно – навстречу.

5

– Странно...

Нет, Торопыга знает о смене дня и ночи...

Но синее, высокое, заполненное лёгонькими облаками – и чёрное, бесконечное, страшное, в котором увязают крохотные, жалкие огоньки...

И всё это – небо?!

Торопыга сворачивается, втягивается – в панцирь.

Чернота-а-а...

Но уютная, привычная...

Выбирается – наружу.

Синее...

Оно – тоже уютное, привычное, в нём чувствуешь себя, как...

Синее – это же... панцирь?!

В который можно спрятаться, испугавшись – бездонного, ледяного, с маленькими огоньками, такого...

Но именно к бездонному, ледяному – и устремится ракета.

Или – в него.

Скорее – в него.

Ай!!!

Торопыга прячется – в панцирь. Прячется – от собственных мыслей.

Но мысли – не оставляют его – и в панцире.

– Чего же ты обретёшь, покинув ласковый, синий панцирь, о, Человек?!

6

Облако, похожее на Торопыгу, застыло – практически над ракетой...

Словно разглядывает – её совершенные очертания.

А-ах...

Облако, влюблённое в ракету...

Торопыга не ревнует.

Ракеты – хватит – на всех.

– Ты видишь? Она – идеальна.

Облако меняет форму, словно поворачивает к Торопыге свои крохотные рожки и стебельки глаз.

Ну, разумеется, видит.

– Она...

Облако не торопится за горизонт – как прочие облака.

Его интересует – исключительно ракета.

И Торопыга...

Странно...

Облако умеет летать. Оно – летело бы за уходящим Солнцем, оно – свободно в ласковой синеве, но даже оно... никуда не торопится.

Влюблённое в ракету.

Даже оно...

Но Торопыга – всё же торопится.

Если ракета стартует без Торопыги, и Торопыга останется на Земле...

Зачем тогда – всё?!

И это небо, и это облако, и сам Торопыга? Живущий – теперь, или всегда? – но ради ракеты.

7

– Ай!!

Облако распадается на множество пушинок, клочков...

– Оно не сумело... коснуться – её, оно распалось... Это – любовь ра-зор-ва-ла его на клочки!!



Торопыга сочувствует несчастному облаку. И прислушивается – к внутреннему, собственному, рвущемуся...

В Торопыге – как в панцире, только мягком и нежном, прячется – нечто, большее Торопыги, прячется – и рвётся...

– Тише... – уговаривает Торопыга. – Если ты – вырвешься, я перестану быть... как облако-улитка... Кто же тогда...

Как больно...

Облако – не сумело коснуться...

И всё...

ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ.

Для облака.

И только ли – для него?!

– Тише, ти-и-ише...

Торопыга должен – коснуться.

Хотя бы – коснуться.

– Ну, пожалуйста, – всхлипывает Торопыга.

И оно... успокаивается.

Оно...

ОНО...

И значит, можно и нужно – ползти.

И Торопыга ползёт.

За себя и за облако.

8

– Поттише, – продолжает умолять Торопыга. Уже не внутреннее, вроде бы – притихшее...

Солнце...

Оно как будто – торопится скатиться с небес...

Понятно, что ему – всё равно, что Торопыга может опоздать...

Оно – Солнце.

Не мошкара и рыжие.

С теми можно договориться...

А с Солнцем?!

Мало того, что оно – чересчур высоко и едва ли услышит слабенький голосок Торопыги...

А если услышит?

Поймёт ли оно – Торопыгу?!

– Интересно, на каком языке разговаривают звёзды?

Кажется, рыжие называли их – неживою природой?!

Неживая...

Но они – движутся?!

Загораются?!

Гаснут?..

Может, рыжие не понимали – этой специфической жизни?

Торопыга жмурится – на живое, катящееся Солнце...

Неживая природа...

Умные, но глухие рыжие...

Конечно, оно – не услышит его жалобы и просьбы, конечно, оно – скатится с небосвода...

И когда вернётся с другой стороны, ракета – поднимется, сорвётся со ступеней... и рванёт-о-отся – вверх!!

Без него, Торопыги...

– Ты можешь не останавливаться и не слушать... Ты – Солнце... Лучше я – сам – постараюсь успеть, – кричит Торопыга. – Дурацкие рыжие научили меня... реф...лек...тировать...

Ха!!

Лучше – ползти.

Просто – ползти.

Всё ближе – к ракете.

Всё ближе – к полёту.

– Ты – высоко, но я – доберусь и до тебя, – смеется Торопыга.

И ползёт...

Сквозь бесчисленные травинки Байконура,



сквозь предостерегающее гудение мошкары,
сквозь себя самого...
Всё ближе...
ВСЁ БЛИ-И-ИЖЕ.

9

Время ползёт – не быстрее Торопыги...
Он влюбился в ракету – ещё ранней весной...
Ранней весной – узнал о Старте...
И оставил рыжих, и отправился – к самому сердцу Байконура.
Раннею весной...
Но, кажется, это были – разные весны.
Разные...
О, нет...
Торопыга – не мог опоздать.
Это – единственная весна, и время ползёт – не быстрее...
Да и... что такое – время?!
Ночь, день, ночь...
Весна, Лето...
На Земле...
Но Байконур и его сердце – совершенно другое.
Они – вне.
И дня, и ночи.
И Лета, и Осени...
И времени...
И Земли...
И Торопыги...
Нет.
Торопыга – успел.
Уже – успел.
Вот же оно – сердце Байконура, ограниченное стапелями...
Ещё неподвижное, но готовое содр-р-рогнутья – и удар-р-рнуться о синеву...
И р-р-р-р-рвануться – наружу.
Торопыга – успел.
И что ему – время?!
Теперь?!
Ползущее – не быстрее...

10

Наконец-то...
Уф...
Ракета нависает – прямо над Торопыгою, невероятно большая и... брр, ужасно холодная...
И хочется – оглянуться...
Да, оглянуться.
Что он оставит – и навсегда, – соприкоснувшись с ракетой, став её малою частью?!
ЧТО?!
Презрительное прозвище Торопыга, данное ему сородичами...
Нет. С этим можно не расставаться.
Торопыга!!
Рядом с ракетой это звучит... как ревущее пламя...
Тор-р-р-ропыга!!
Что же ещё?
Капельки росы, выпавшей на чудесные, зелёные листья...
Сверкающие капли росы...
И Солнце...
Не часть планетарной Системы, не ступок огня, но маленький шарик, согревающий Торопыгу...
Замирающий над краешком Земли...



Утопающий в облаках...
 – АХ!!
 А дождь?
 Тепло и свежесть проливающейся с неба воды...
 Так – много – всего.
 И всё это – за ним, за его панцирем...
 И всё это – ждёт.
 Обернись, Торопыга!!
 Обернись и – останься!!
 Тебя – раздавят перегрузки!!
 Тебя – сожжёт раскаленное пламя, рвущееся из сопел!!
 Тебя...
 Маленького...
 Ничтожного Торопыгу...
 ОБЕРНИСЬ!!
 И Торопыга оборачивается... но видит не капли росы, но Человека, спешащего – к нему и ракете.
 Слишком устремленного и большого, чтобы разглядеть за ним – тихое счастье и полноту бытия. Уже не нужную, лишнюю и вовсе не полную... полноту бытия.

11

– Товарищи...
 Прощаясь, Человек пожимает руки сопровождению.
 Человек в красно-белом панцире с надписью СССР.
 Человек-улитка!!
 – Он – спрятался в панцирь, он, наверное... боится?!

Торопыга тянется к Человеку в панцире...
 Почувствовать – его внутреннее, укрытое панцирем естество.
 – Товарищи...
 Вот же – ракета, лифт...
 Один-единственный шаг...
 Человек не оглядывается на ракету, он знает, – она никуда не улетит – без него.
 Он чувствует её – каждую клеточкою своего реального, укрытого панцирем тела.
 Разве не это – звучит в его негромком «товарищи»?!

– Не бойся!! – умоляет его Торопыга, и стебельки его глаз наполняются слезами.
 Торопыга уговаривает Человека, умоляет – Человека, требует...
 – НЕ БОЙСЯ!!!

Человек – не имеет права – бояться.
 Человек – не Торопыга.
 Зачем он спрятался в панцирь?!

Зачем он – задерживается?!

Зачем не рассмеется, шагая в кабину лифта?!

Синее небо – панцирь, в который прячется Человечество...
 Разве Человечеству не хочется – вырваться на-ру-жу?!

В огромное,
 невероятное,
 ещё не обозначенное словами,
 выр-ва-ться – из панциря синевы...
 – Ты...
 Оставаясь внутри, никогда не узнаешь,
 не почувствуешь,
 не поймёшь...
 Только – наружу!!
 С рёвом Ступеней, перегрузкою, болью...
 Покидая панцирь, ты становишься – совершенно другим.
 Уже это желание – покинуть...
 Не потому ли Торопыга пугал своих сородичей?!

– Но ты – Человек. Ты – должен...
 И Торопыга бросается – к Человеку – и требует, требует, глотая ненужные, лишние слёзы...



Бросается, буквально выскакивая из панциря,
из прежнего себя,
из своей медлительной ничтожной природы...
Наружу...
НАРУЖУ!!
И ВВЕРХ!!
В УЖАСАЮЩЕ ПРЕКРАСНОЕ!!!

12

– Ты не имеешь права... ос...та...нав-ли-ваться...
Человек – не Солнце, он – должен услышать. Обязан – услышать.
– Ты...
И Человек... слышит, и склоняется над Торопыгою и подхватывает его, и поднимает, подно-
сит – к глазам...
И Торопыга... обмирает, окунувшись – в синее, рвущееся из глаз...
Смеющееся,
неукротимое,
Человеческое...
– Ты?! – смеётся Человек.
– Ты?! – смеётся Торопыга.
Смеются, узнавая – друг в друге...
ЧТО?!
Может, стремление – наружу?!
Или – горение внутреннего, его, внутреннего, – неутолимую жажду? Жажду – себя – иного?!
Смеются...
– Гм, гм.
И сопровождение пожимает плечами. Пожимает, не понимая.
Вылитые рыжие из ЦУПа.
Умные...
Глупые.
– Ты!! – смеётся Человек.
– Ты!! – смеётся Торопыга.
А ракета – уже зовёт их, звенящим металлическим голосом зовет их – обоих.
Вырваться – прочь.
Выр-вать-ся.
И зовёт, и смеётся.
– ТЫ!!
– ТЫ!!
– ТЫ-Ы-Ы!!!

13, ЭПИЛОГ

– Ты, – лопочет счастливый Торопыга и – тянется навстречу синему, льющемуся из глаз Человека...
Тя-а-анется – и ударяется, утыкается в собственный панцирь. В собственную внутреннюю черноту.
– 3, 2...
И не может понять, куда же делся Человек...
И ракета...
Неужели Торопыга... прорвался – сквозь них – и оказался... в собственном панцире, из которого и
рванулся – навстречу...
О, стремительный бросок – через весь Байконур и бесчисленные мысли – о себе и ракете...
И узнавание – Человека...
Всё это закончилось – ударом о панцирь.
Причём – изнутри.
Рвануться – наружу – и пройти всё – насквозь?!
И опять – услышать:
– 3, 2...
И почувствовать – желание вырваться...
И что-то – о пламени...



Какой-то нелепый, приснившийся зуд...
И облако-улитка...
Распавшееся – от любви.
Разорванное – любовью.
И Человек...
И всё это – насквозь.
И что-то – о пламени...
– 2, 1...
И желание – вырваться...
Выр-вать-ся?!
ВЫР-ВАТЬ-СЯ!!!
И время – заме...е...едмилось...
Коне...ечно, вы...рва...ться...
На...ру-у-у...жу...
В си...и...и...нее...
И-и-и...
И Торопыга рвану-у-улся – навстречу короткому:
– СТАРТ!!!
И багровое,
раскалённое,
большее и времени, и огня,
хлынуло – отовсюду...
И, становясь частью...
не ракеты,
не Человека,
но хлынувшего – отовсюду, –
Торопыга смеялся...
ТОРОПЫГА СМЕЯЛСЯ.

ГЕННАДИЙ ГАНИЧЕВ

СЛАДОСТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ рассказ

Но сердцу чудится лишь красота утрат.

Иннокентий Анненский

- Как ты, Валера? – крикнула Раиса Николаевна, войдя в квартиру.
- Я? Да ничего. Всё хорошо, – радостно ответил Валерий Александрович. Он улыбался. Его кособоко стриженная голова появилась в проёме коридора. Она повесила шубу и вошла в комнату:
- О чём мечтал весь день? А суп-то мой доел или нет?
- Представь, нет! Забыл!
- Опять мечтал напропалую, да?
- Конечно, Раечка, конечно.
- Витал в грёзах! Помнишь, лет десять назад я тебя спросила вот так же, придя с работы: «Где ты был?».

Ты вот запомнил, как ты ответил?

- Я сказал, что мечтал.
- А как мечтал?
- Сладко мечтал, – он засмеялся в ответ.
- Нет! Давай точнее. Ты сказал, что был в «сладостном путешествии». Так и сказал!
- Даже так! Невероятно.
- Помнишь, как мы смеялись?
- Да, да, да! Помню. Как же! Да, я такой.

- Дитяtko моё! – с нежностью думала о нём жена. Ей всегда нравилось заботиться о нём.

Жена пошла, по её выражению, «приходить в чувство после работы», а он вспомнил ссору двадцатилетней давности, когда вот так же, вернувшись с работы, Раиса Николаевна объявила:

- Ты мне всегда изменял!
- Тогда ему стало не по себе, зато как приятно вспомнить сейчас!
- Тогда она гордо и свысока посматривала на мужа.
- Да когда же? – тогда он тяжело вздохнул и посмотрел на неё усталым, остановившимся взглядом.

Он уже тогда был болен, но ещё на что-то надеялся, – а теперь болезнь стала всей его жизнью. Он знал свой медицинский диагноз, но верил, что настоящий непрописанный диагноз его болезни – враждебность мира. Да, он ничего не мог противопоставить этой огромной, железной стене, что зовется «эпохой», «временем» или как там ещё.

Отношения с женой были идеальны – и эта сладость жизни чуточку, приятно в свою очередь тяготила Валерия Александровича.

Нет, нет, всё надо повторить! Открутить назад этак тридцать лет – и изменить жене, и поругаться с ней, наконец!

- Пусть она объявит:
- Ты мне всегда изменял!
- Пусть он скажет:
- Да когда же? Разве я бы посмел?



И в ответ она снисходительно улыбнётся: так, мол, и быть: поверю. И так хорошо немножко поцапаться, зацепить друг друга, чтоб потом, как в молодости, броситься друг другу в объятия.

Они прожили вместе сорок лет, постарели – и соскучились по выяснению отношений. Они примирились с прошлым – и зачем бы им злиться друг на друга? Но Валерий Александрович скучал по всему, что было связано с прошлым: ему так хотелось жизни, критики, упрёков, – но это всё ушло.

Раиса Николаевна уже пошла на кухню что-нибудь приготовить своему «деточке».

Да, своего старого, больного мужа она нежно звала «деточкой» или «детонькой»: таким он стал слабым и беспомощным.

Она ушла, а он продолжал сидеть в своём кресле-каталке. Вот он уставился в альбом с картинами Боттичелли, привычно и торжественно принялся его листать, а сам слушал, как жена шурудит на кухне.

Звон тарелок, кастрюль, позвякивание ложек ужасно нравились Валерию Александровичу.

Со старостью его взгляд стал напряжённым, он не любил смотреть собеседнику в глаза – и на его глазах часто и беспричинно выступали слёзы.

И сейчас он плакал. Просто по привычке. А почему бы не быть сентиментальным? Скоро они пожинают вместе.

Он поставил было альбом обратно, но вот опять взял его со стеллажа и нерешительно открыл. Альбомы стояли столь плотно, что нужны были усилия их втискивать и опять вытаскивать – и это занятие нравилось Валерию Александровичу.

Боттичелли! Неплохо. За ужином скажу жене, что он нравится, – и жена это оценит.

Ему и на самом деле нравились картины Боттичелли, потому что в них было много ярких красок, потому что он эти картины катастрофически не понимал, – а больше всего нравилось само имя художника: о нём можно было мечтать, под него можно было забыться.

Время от времени он важно говорил жене:

– Я люблю Боттичелли!

Тогда она с уважением смотрела на него.

Ну да, это была игра, складывавшаяся десятилетиями, – но для них эта игра была смыслом жизни.

Им было за семьдесят. Она продолжала работать в своём отделе, а он сидел дома: его слабые ноги позволяли лишь минимальное передвижение. Его настоящей жизнью стала их библиотека. В течение жизни они собирали её целенаправленно, с увлечением – и копаться в книгах было для Валерия Александровича то же, что перебирать страницы его ушедшей, истлевшей жизни.

Да, именно так он думал о своей жизни.

Ему не было смысла просыпаться рано, и всё же он послушно, преодолевая растущую слабость, вставал, чтобы выпить с женой кофе, а потом до двери проводить её на работу.

Раиса Николаевна, будучи методистом экскурсионного отдела известного музея, не могла себе позволить опоздание на работу – и потому отсыпалась только по выходным.

Он оставался один. Странно, что он, такой говорун всю жизнь, полюбил молчание.

А была зима; необычайно снежная зима. Двор внизу замело снегом – и утром, после ухода жены, с высоты своего пятого этажа он со сладким замиранием сердца смотрел, как дворник безутешно сражался с неубывающими сугробами, а фигуры жителей неуклюже копошились возле занесённых снегом машин.

А снег-то идёт, идёт!

Теперь он мог весь день сидеть перед окном и с радостью смотреть на снегопад. Он вспоминал, что так любил в детстве делать их сын.

Сын Виталий до сорока лет, как он говорил, «искал» себя, а потом сообщил (это было всего год назад), что уходит добровольцем – и не сказал родителям, куда: то ли в Донецк, то ли в Сирию. Перед исчезновением он прислал сто тысяч рублей: трёхмесячный заработок жены.

Прежде сын никогда подолгу не молчал, названивал каждый месяц – и потому затянувшееся молчание слишком красноречиво говорило об его смерти.

Да, смерти, ведь старики догадывались, что сын зарабатывал добровольцем в «горячих точках»: начиная с Сербии. Тогда, во второй половине девяностых годов прошлого века, в его двадцать с небольшим лет, он вернулся из Сербии с простреленным плечом – и с гордостью рассказал о своём ранении родителям.

Он так и никогда не понял, в какой ужас их поверг! Сын – наёмник!

Но Виталий считал эту опасную, тяжёлую работу своим призванием.

Да, его убили – и боль его смерти не давала покоя старикам, но о ней старались не говорить.

Сын с ними никогда не жил, кошку они не могли завести: жена была аллергиком как раз на кошачьих, – а отсюда и получалось одиночество.

К тому же, у Валерия Александровича вдобавок к более серьёзной болезни была ещё и аллергия, требовавшая строгой диеты.

– Ты мне всегда изменял!

Он опять вспомнил эту фразу. Он всегда её вспоминал, чтобы встряхнуться и ожить. Да, ему нравилось это беззлобное обвинение жены.

Раиса Николаевна казалась ему красивой. И не ему одному! Она хорошо сохранилась; как она считала, «неплохо законсервировалась в музейной беготне».

Он всю жизнь не представлял себе, как бы он мог не любить свою жену, – но другое дело, это трепетное отношение к жене не мешало ему добиваться благосклонности других женщин. Он не домогался их, но и не отказывался от близости с ними. Он шёл на близость, если, как он выражался, «это не требовало дополнительных усилий». Это не были коллеги жены, но всё же до жены доходили слухи об его похождениях.

– Будешь брокколи? – звонко закричала она.

– Конечно! – радостно завопил он в ответ.

Да, завопил: он так ждал, что она крикнет!

Они всю жизнь безуспешно пытались узнать, как сын жил все эти годы, – и это было невозможно. Между тем, домысливать биографию сына стало чуть не основным занятием Валерия Александровича: посмотревшись новостей, он воображал, он видел в душе, как его сын сражается за Донецк – и он часами сидел весь в слезах от гордости за сына, живо представляя себе его окопную жизнь и частые перестрелки... А то он видел, как его убивает украинский снайпер и как его тело после почестей сжигают в передвижном крематории.

– Так интересно и приятно смотреть на жену, – сладко думал он. – После работы у неё ещё есть силы готовить ужин. Если бы мы остались жить только на наши пенсии, без её зарплаты, это было бы трудно. Ей за семьдесят, так что формально её могут уволить в любую минуту. Из завов. Тогда она перейдет в экскурсоводы – и мы всё-таки без особого напряжения сведём концы с концами. Так что я слишком завишу от жены. Как же мне с ней повезло!

Он жил на равнине. Окрина города, это большое поле, было заставлено высокими, очень похожими друг на друга белыми коробками-домами. Вечером они торжественно мерцали по всему горизонту.

Он любил свои сны наяву. Вот закроет глаза – и видит солнце, и он куда-то бежит. И видит маму, и говорит с мамой – и так целые долгие счастливые часы. А потом он чувствует на своём лице слёзы – и проникается такой любовью к миру, но сразу и такой жалостью к себе. Странно, что эта придуманная игра так занимала его.

Ему не хотелось умереть сразу. Очень не хотелось. Он думал о своей смерти, как о долгом путешествии, которое уже началось – и началось давно. Нет, он не умирал: он – странствовал. И этот путь в воображении был и интереснее, и лучше жизни.

С приходом жены возвращался и его интерес к жизни, но как только она уходила на работу, он опять предавался своим безудержным мечтаниям.

В его большом доме, кроме жены, было ещё одно родное существо: пёс. Где жил этот собакевич, он не знал, но где-то не очень далеко. Этот пёс мог неделями жалобно, протяжно скулить. Неделями! Время от времени жильцы плачивались и дружно подписывали бумагу против этого печального пса, – но наш герой в этом не участвовал: он и себя считал таким псом: только он не скулил громко.

Он открывал дверь подписантам и, вежливо улыбаясь, смотрел на сгрудившихся соседей, требовавших подписи и от него. Он слушал их обличительные речи с насмешливым, преувеличенным вниманием, извинялся и без подписи закрывал дверь.

Они уходили – и Валерий Александрович возвращался к своим мечтаниям.

В шестидесятые годы прошлого века он сразу после института по направлению попал в закрытое бюро – и до девяностых там работал. Он вспоминал это время как лучшее в своей жизни. Начальник его отдела был другом его отца – и оба мужика воспитывали «Валерку», как умели. Жизнь – была, и та жизнь была – лёгкой, – но постепенно она превратилась в непомерную тяжесть – и было уже не распрямиться, не сбросить этот тяжкий груз.



– И всё равно, – думал он, – в жизни много нежности. Смерть – это уйти в нежность, раствориться в ней бесследно. Жизнь – это сладостное путешествие в смерть.

Он сидел перед заснеженным окном, но в душе видел, как он идёт в солнечный день. Он мог забыть часы, погрузившись в это видение. Это была сама нежность. Её Величество Нежность.

Валерий Александрович любил это своё забытьё. Он даже не заметил, как оно стало самой жизнью.

Раиса Николаевна пришла в комнату:

- Какой тебе суп на завтра?
- Давай какой-нибудь.
- А тебе всё равно? О супе ты не мечтаешь?
- Почему? Бывает, и мечтаю, – возразил он.
- Будешь гороховый?
- Можно!

Ему чаще всего вспоминалась работа в институте. Пятнадцать лет пролетели, как сон! Глава их отдела сколотил группку друзей – и Валерий Александрович был важной её частью. Работа работой, но главным была дружба. Они могли кирнуть и на работе, запершись в лаборатории, но чаще после работы шли в ресторан, где они отдыхали по-настоящему.

Но главной слабостью нашего героя были загулы: он очень любил слоняться. Немножко пьяным идти наугад – вот это да! Такое вот хобби.

Отец семейства (сын уже родился), уважаемый на работе, время от времени он превращался в банального пьяницу – и для жены это было головной болью: никто не знал, где он птается. В девяностые годы это было опасно: каждый день бесследно пропадали люди.

В начале двухтысячных Валерию Александровичу пошёл седьмой десяток – и уже не оставалось шансов найти работу. Оформили инвалидность.

За всё время после перестройки он так и не нашёл сколько-то солидной работы, – и уже пятнадцать лет жил на пенсию, обычную для Москвы: на двадцать тысяч. Спасала положение жена, которая и сейчас была востребована.

Тогда, став ненужным, он понял, что умирает.

- Ты погулять не хочешь? – спросила жена. – Я могу тебя вывезти.
- Да ты что! Там такой снегопад.
- Дорожку за домом расчистили. В принципе, коляска пройдёт.
- Хорошо. Спасибо. Я подумаю.

Она не могла смотреть на мужа без улыбки: так он изменился с возрастом. Когда-то это был весёлый гуляка, регулярно пропадающий на пару дней; гуляка с порывами учёного: в своё время его приглашали на конференции.

Бюро дотянуло до конца девяностых, но вдруг не только его бюро, но и весь их НИИ перестали существовать.

Жена часто вспоминала, как они познакомились. Впервые муж предстал в качестве экскурсанта таким детинной, неповоротливым и глуповатым, – но потом выяснилось, что их отцы знакомы, – и на Новый год они уже встретились на квартире «Валерочки»: так тогда всё звали Валерия Александровича. Да, он был глупым в живописи, зато по математике уверенно получал только «пятерки».

И вот это «дитятко» умирало. Это угасание затянулось на десятки лет, но, казалось, оно не было обузой ни для Валерия Александровича, ни для Раисы Николаевны: наоборот, оно превратилось в нормальную, обычную жизнь.

И опять, сидя у окна, весь в слезах от сладостных воспоминаний, он благодарил жизнь и в этот момент был готов расстаться с ней.

Но – был готов и жить дальше!

Это было всю жизнь его настоящим спасением: шархнуть стаканчик водки и – забытьё. Это делалось не от какого-то пессимистического взгляда на жизнь, – но только по привычке, которой никто не противостоял.

Только надо было знать, когда можно опрокинуть этот самый стаканчик. Это получалось очень хорошо с коллегами – до перестройки.

Так боль и болезнь стали нормой. Он помнил, что до болезни желание особенной любви всё жило в нем, всё мешало его покою, – но с болезнью пришли совсем другие желания: он уже со страхом думал, что может остаться без жены, совсем один.

Пальцы его рук вдруг странно зашевелились, словно б хотели что-то сказать. Валерий Александрович прислушался, но они молчали.

О, нет, он не стал бы жить, если б остался один! И жена знала, что он так думает, – и старалась ему подсластить пилюлю старости. Она старалась не рассказывать ему о своих проблемах.

Он знал, что его жена – какой-то там «начальник» в известном музее, но не придавал этому значения: дома они говорили, о чём угодно, только не о работе.

Ему была невыносима простая мысль, что он, такой умный мальчик, круглый пятёрочник, хвалимый и в школе, и в НИИ, никому не нужен. Он яростно отбрасывал возраст – и снова, как в детстве, видел себя великим математиком – и уже писал статьи, уже печатался и ездил на международные конференции.

Вдруг он почувствовал, что его увлекает особенная, огромная, радостная, бующая волна нежности. Ему чудилось, его пальцы слабеют из мгновения в мгновение.

Он опять увидел мобильный крематорий! Эта невзрачная машина тревожно дымилась в ночи на окраине какого-то разрушенного села. Валерий Александрович подошёл поближе и увидел, как зловеще обугливается голова его сына.

– Валерий Александрович, детонька! – громко и шаловливо из кухни закричала она. – Ужинать, ужинать, господин учёный!

Раиса Николаевна, немножко подождав, бросилась в комнату.
– Валера, Валерка! – заорала она.

Валерий Александрович больше не шевелился.

Детонька умер.

Сладостное путешествие закончилось.

«ОКОЁМ»

ЗОЛОТАЯ ПОРА «ВИТЕБСКОГО ЛИСТОПАДА»

В 2019-м году в Витебске к середине осени листья с деревьев почти облетели, но листопадная пора только начиналась. 17 октября стартовал XXXIII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». За тридцать три года он не прерывался ни разу, успев привязать к себе немало любителей песни, поэзии, живописи и театрального перформанса. И пусть в этот раз город встречал гостей не в самом пышном своём золотом убранстве, но, как всегда, в хорошем настроении, добрыми мелодиями, стихами и улыбками.

Более ста участников из девяти стран мира – Беларуси, Литвы, Латвии, Израиля, Казахстана, России, Украины, Новой Зеландии и США выразили желание приехать в Витебск и поучаствовать в мероприятиях фестиваля. Его организатором выступил Центр культуры «Витебск» при поддержке Витебского городского исполнительного комитета. Руководитель проекта – Владислава Цвики. Кураторы поэтической части – Олег Сешко и Елена Крикливец.

А началось всё с пешей экскурсии по городу, после которой участники плавно переместились в музей «Духовской круглик». Здесь прошло первое конкурсное мероприятие – «Турнир поэтов», в котором из сорока претендентов победу одержал Александр Морозов (Филипаны, Беларусь), между прочим, – член жюри фестиваля.

Далее в этот день основные события фестиваля переместились на площадки Концертного зала «Витебск»: в «Круглом зале» с аншлагом прошёл концерт Михаила Рубина и Светланы Бень «А вот так?!»; стартовал конкурс художников «Night art battle»; красочным перформансом Молодёжного театра «Колесо» открылась выставка члена Белорусского союза художников Алексея Кравченко «Вольное странствие сердца»; начало работу «Уличное кафе» с «Открытым микрофоном». Кстати, «Уличное кафе», по традиции возглавляемое его ведущим – автором-исполнителем из Витебска Виктором Пахомчиком, в течение всего фестиваля пользовалось неизменным успехом. Оно стало настоящим творческим центром, местом встречи участников фестиваля, где каждый мог показать себя, послушать других, познакомиться и пообщаться.

Финал Открытого конкурса авторской песни, поэзии и исполнительского мастерства «Витебский листопад – 2019» в номинации «Поэзия» состоялся во второй день фестиваля, 18 октября, в актовом зале Центра культуры «Витебск». Призовые места по итогам работы жюри под председательством Олега Фёдорова (Киев, Украина) распределились следующим образом:

Подноминация «Поэзия. Свободная тематика»:

Лауреат II степени – **Марго Волкова** (Минск, Беларусь)

Лауреат II степени – **Андрей Шуханков** (Новополоцк, Беларусь)

Лауреат III степени – **Кира Марченкова** (Сельцо, Россия)

Подноминация «Поэзия. Стихи для детей»:

Лауреат I степени – **Любовь Сердечная** (Смоленск, Россия)

Лауреат II степени – **Марина Старчевская** (Ришон-ле-Цион, Израиль)

Лауреат III степени – **Юлия Джейкоб** (Москва, Россия)

В третий день фестиваля, 19 октября, лауреаты конкурса в номинациях «Поэзия», «Авторская песня», «Исполнительское мастерство» выступили в гала-концерте закрытия, где они получили заслуженные награды.

Кроме того, в рамках гала-концерта был определён обладатель премии «Признание». Её получила автор-исполнитель из Обнинска Юлия Студёнова.

Помимо дипломов фестиваля наиболее яркие его участники были отмечены призами симпатий известных литературных изданий России, Беларуси, Украины, Франции, решивших оказать фестивалю информационную поддержку.

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» своими призами отметил финалистов конкурса в номинации «Поэзия», подноминация «Свободная тематика»:

Надю Делаланд (Москва, Россия)

Ивана Зеленцова (Москва, Россия)

Яну Явич (Минск, Беларусь)

Марию Перцову (Кэмпбелл, США)

Ксению Август (Калининград, Россия)

Подборки их стихотворений журнал публикует на своих страницах.

Завершающим аккордом фестиваля стал поэтический концерт «Сквозная линия», который прошёл 20 октября в «Круглом зале» Концертного зала «Витебск». Он открылся красочным представлением молодёжного театра «Колесо», сопровождался авторскими музыкальными композициями джаз-квартета «Витебск» под руководством Михаила Фурса и объединил в своей программе членов жюри, организаторов и лауреатов открытого конкурса номинации «Поэзия».

Не за горами следующий XXXIV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Он состоится, как всегда, в середине октября текущего года, чтобы дать вам возможность встретиться, дорогие друзья, пообщаться и поделиться творчеством.

Приглашаем читателей журнала принять участие в фестивале.

Витебск ждёт вас!

Олег Сешко

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

Москва

Дождь, любивший меня по дороге к метро
(говорила ему: если любишь – женись!),
расплескал под ногами прозрачную кровь,
серебрящуюся детородную слизь.
Был и голубь под аркой, и ангел в окне
с немигающим нимбом сырых фонарей,
вот и я понесла, вот и зреют во мне
подорожник, чабрец, зверобой и кишрей.
Водяные от мужа скрываю глаза,
засыпаю под утро и вижу во сне:
стебельки и листочки ползут прорезать
трафареты для жизни сквозь смерть.

Ребёнок с возрастом перестает нудить,
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки.
Вот он едет растерянный и седой,
в старом тёртом пальто, с незастегнутой сумкой,
совершенно такой же уже, как до
обретения им рассудка.



Пока Ты воскресаешь, я пеку
куличики. Пока под плащаницей
свет фотовспышки печатает лик,
зрачки сужаются, теплеют сухожилья,
приметы жизни проступают сквозь
заботливую бледность, я всыпаю
по горсточке пшеничную муку,
размешиваю с нежностью пшеничной.
Тем временем ожившее болит,
и голова, как будто бы кружилась
на карусели, замечая вскользь
цветное и тенистое, вскипает,
а я взбиваю высоко белки
и погружаю в праздничное тесто.
Ты растираешь пальцами виски,
приподнимаешься и сходишь с места.
И плащаница, за ногу схватив,
продельвает ровно полпути
по полу осветившейся пещеры.
Свершившееся входит в область веры.
И только что, как отодвинул смерть,
сдвигаешь камень и выходишь в свет.

ИВАН ЗЕЛЕНЦОВ

Москва

ЯБЛОКИ

Словно белые-белые ялики,
в синем-синем плывут облака.
С яблонь падают красные яблоки,
переламывая бока.
Окрылённое птичьим окриком,
лёгкой музыкой из окон,
хочет яблоко белым облаком
стать, ньютонов поправ закон.
Хочет пасть, будто в пасть Везувия,
в пропасть синюю поутру.
Ну а яблоня, как безумная,
махнет ветками на ветру.
Только разве укроешь листьями
это яблоко от дождя?
Правит осень, шажками лисьими
в облетающий сад войдя,
в каждой чёрточке мира явлена,
льёт туманы, как молоко.
Пало яблоко, но от яблони
не укатится далеко.

Звезды осенью обесточены.
 Так темно, словно смерть близка.
 ...То ли в яблоке червоточина,
 то ли просто тоска, тоска,
 то ли просто душа разграблена,
 иной выступил на жнивье.
 Не печалься об этом, яблоня.
 Скучно яблоку гнить в траве.
 Сдюжит, вытерпит злое времечко,
 продувной и промозглый век.
 Прорастёт золотое семечко,
 новой яблоней дёрнет вверх,
 чтобы к белым своим корабликам
 ближе стать хоть на полвершка...
 ...И с неё будут падать яблоки,
 переламывая бока.

ЧЁРНАЯ РЕКА

Ты чёрная холодная река, которая течёт издалека, из детских грёз, из щедрых тех краёв, где синевой наполнен до краёв небесный свод и опрокинут вниз, на рощи, где пылает барбарис, где розы и гардении в цвету так пахнут, что дышать невозможно, зменится хмель и зреет алыча... О чепухе с кувшинками журча, с плотвой и щукой споря, кто быстрее, ты ожидала ласковых морей, но в край другой вбежала налегке, где у зимы в железном кулаке томится мир и ночь длиннее дня. И здесь ты вся – обман и западня. Порогов бурных острые рога, коварный нрав, крутые берега, сухой камыш, одетый в ожеледь... Согреть тебя, согреть и пожалеть хотелось мне. Вот так я и погиб – когда влюбился в каждый твой изгиб, когда безумный, пьяный, сбитый влёт, я выходил гулять на тонкий лёд, и этот лёд ломался и трещал, когда я, слышишь, всё тебе прощал, когда в тебе тонул я и когда меня сжигала тёмная вода, когда сказал я, погружаясь в ил, «люблю тебя» и в лёгкие впустил. Не бойся, мне не больно. Я на дне, но я в тебе навек, а ты во мне. Твой путь так труден, долог и непрям. Беги скорей, беги к своим морям.

ФОТОАЛЬБОМЫ

Когда в кругу отчаянных дурил,
 где даже дьявол не считался братом,
 я торопливо юность докурил,
 швырнув в окно, черневшее квадратом
 Малевича, в постылый белый свет,
 в котором я не мог увидеть света,
 когда её трассирующий след,
 надрезав тьму, потух на дне кювета,
 я верил, что ярчайшая звезда
 когда-нибудь ещё взойдёт во имя
 моих побед. И в то, что поезда,
 куда не сел я, не были моими.
 Но ночь густа, и небосвод свинцов.
 И больно ранит каждый прошлый промах.
 И, Боже мой, как много мертвецов
 теперь живёт в моих фотоальбомах!
 Которым я так много не сказал
 и для которых сделал я так мало,
 чьи поезда покинули вокзал,
 пока во мгле душа моя дремала.
 И вот теперь слетают злость и спесь,
 с меня, подобно переспелым сливам,
 И знаю я – под солнцем счастье есть –
 когда кого-то делаешь счастливым –
 как будто свет незримая рука,
 включает, с миром заново знакомя.
 И кто-то шепчет: «Поспеш, пока
 не стал ты просто карточкой в альбоме».

МАРИЯ ПЕРЦОВА

Кэмпбелл, США

ФОНАРЩИК

*Какой светильник разума...**Н. Некрасов*

Послушай, ну что тебе этот фонарь?
Зачем ты так нежно его протираешь?
Зачем восхищённо пред ним замираешь,
И вязкое масло в него заливаешь,
И клятву орёшь, как футбольный фанат?
Зачем тебе светлый кружок в темноте –
Бездушной, безличной, бездонной, безмерной?
Едва ли отыщутся в круге неверном,
Потеряны где-то, в кавернах-тавернах
Судьбы, в беспорядке её картотек...
Как знаешь... Конечно – толкуешь ты мне
Про лужицы света вдали и повсюду,
И, словно молитву, читаешь Неруду...
Прости, мой фонарщик, я рядом не буду,
Когда твой фонарь задохнётся во тьме.

Удивить, раскатать, растревожить,
На гудящие рельсы столкнуть,
Чтоб под ветхой дырявой рогожей
Смысла
робко забрезжила суть.
Кобру за пышнохвостым мангустом
Укусить. Результаты не в счёт.
Только это и может искусство...
Ну а что тебе надо ещё?

Тропический дождь поливает тропический лес,
И нас поливает, того и гляди разрастётся,
Подобно лианам и мхам неразбуженных мест,
Так буйно и дико, что нас не узнает потомство.
С шуршащим потоком вот-вот снизойдёт благодать
На нас, неуклонно к сокрытому свету влекомых –
Сюжеты лелеять, трагический эпос слагать
Из жизни растений и разных других насекомых.

—

КСЕНИЯ АВГУСТ

Калининград

Мы не умрём, запомни, не умрём,
пусть тело изнывает от увечий,
пусть смерть на колокольне звонарём,
бьёт колоколом жизни человечей.

Мы не умрём, пока любовь жива,
пока мы верим, что бессмертны души,
пока все наши мысли и слова
летят из дня былого в день грядущий.

Мы не умрём, пока силён наш дух,
пока каркас желаний наших прочен,
пока ещё небесный наш пастух
на нас не поднял праведные очи.

Мы не умрём, пока земная роль
не сыграна, и долг наш не уплачен,
пока, преодолевая страх и боль,
над бедами смеёмся, а не плачем.

Мы не умрём, не здесь и не сейчас,
мы не умрём, не поздно и не рано,
мы не умрём, пока горит свеча
за нас людьми поставленная в храмах.

Мы не умрём, послушай, не умрём,
наш путь не завершается, поверь мне!
Конец не дверь, а лишь дверной проём,
от глаз живущих спрятанный на время.

Мы не умрём, не слушай никого.
Мы не умрём, все показанья лживы.
Мы не умрём, ведь смерть не приговор,
мы не умрём, мы вечно будем живы!

Опять ищу его в толпе,
не нахожу я,
сегодня для меня допел
он песнь чужую.

Опять иду я напролом,
собой рискуя,
через охваченную злом
толпу людскую.

Она колышется, как рожь,
в её колосьях
не смог почувствовать он ложь
и укололся.



Невыносим сомнений гнёт
в глумливой свите,
но он опять в толпе идёт,
меня не видя.

Клепни раскрыла западня,
и крик гундосый
мне тело на помост поднял
из шатких досок.

И у позорного столба,
давась слезами,
смотрела на меня толпа
его глазами.

Смотри, садится солнце с тихим плеском
за острый край небесного листа,
и в небо смотрит Александр Невский,
спиной касаясь чёрного креста.

Смотри, как прорастают сквозь бурьяны
сухой травы весенние цветы,
как ввысь стремится храм святой Татьяны,
свой крест неся в обители святых.

Смотри, как пылью слов, песчаным шквалом
апрельский день летит из-под колёс,
как тёплый вечер над Литовским валом
во тьме звенит серёжками берёз.

Смотри, блестит натянутая леска
летающей к морю аэротропы,
и охраняет маршал Василевский
победу от назойливой толпы.

Смотри, на ограждении бетонном
застыло время каплями воды,
и алычи восход над башней Дона
струится тканью свадебный фаты.

Смотри, как сквозь железные ограды
ладони к солнцу тянут сотни верб!
Смотри, звучит весна Калининграда
и песню эту слышит Кенигсберг!



ЯНА ЯВИЧ

Минск

Всё совпало: был вечер не тот и слова не те.
 Всё казалось не тем в лабиринтах миров и стихий.
 Догулялась тоска чёрным ветром по выжженной памяти
 До гнетущего чувства, мешавшего думать стихи.

Досвербила печаль. Были струны забыты-заброшены.
 Обгорелой травой дотлевало безмолвие строк.
 Просто в судьбах людей до обидного мало хорошего.
 Просто мир – до обидного – к людям хорошим жесток.

А когда-то хотелось кричать: «Сколько ж вас понаехало!..»
 Не вернутся деревни в свою отболевшую стынь...
 Надоело ходить по осколкам разбитого зеркала,
 Постигая пространства пустот, пустырей и пустынь...

Я, конечно, вернусь к этой старой разрушенной лестнице
 И увижу свой прежний, жестоко израненный дом...
 Эй, прохожий, ступай себе прочь, грош цена околесице!
 Неужели не видишь, что мысли сейчас не о том?!

Знал бы ты, беззаботный невежда, во что это выльется...
 Не дано тебе видеть, как тонут деревни во мгле...
 Лишь в полёте ко дну – обезглавиться и обескрылиться,
 Оставаясь чужим на родной – беспристрастной – земле.

Короткая строка уместится в ладони...
 Одна цепочка слов – как будто ни о чем...
 Единственная дверь... Но вряд ли посторонний
 Сумеет эту дверь открыть своим ключом.

Я лягу не костями – я полутенью лягу
 На эту белизну, на этот фон луны,
 Как отблески огня ложатся на бумагу,
 Что лишь на краткий миг для образа даны.

Случайные одни, внезапные другие,
 Которых вспомнишь вскользь, заваривая чай...
 Не вспомнят. Не придут. Зато моя стихия
 Обмолвится стихом, как будто невзначай...

Кому-то всё равно: копается в тетради,
 Пытаясь отыскать какой-то вечный Рим...
 Тебе – идти, идти... А мне – чего же ради?
 Путь до небес один, и он неповторим.

Такой знакомый слог. Такой знакомый почерк.
 Не изменю себе. Тебя не изменю.
 Короткий разговор – всего лишь пара строчек,
 Пока твоя тетрадь не предана огню.



Здесь тишина – пронзительно, до звона
Звучит в висках единственной струной.
Малейший страх объявлен вне закона.
Молчание становится войной.

А мы – вперед. До подколенной дрожи,
Сквозь все преграды, просто напролом.
Весь вечер, абсолютно не похожий
На вечера, которые в былом.

И тетивой единственного нерва,
Предвидевшей и предсказавшей гром,
Настигнет нас расплата в круге первом,
А истина настигнет во втором.

И кто-то огрубевшими руками,
Под музыку, привычную к мольбе,
Положит лишь один – последний – камень
На свежий холм, оставленный тебе.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

ЧЕРЕЗ НЕВЕР НА АЛДАН

рассказ

Тук-тук, тук-тук – стучали колёса. Поезд, выпуская в воздух клубы чёрного едкого дыма, шёл на дальний восток. В общем вагоне можно было смело вешать топор. Было накурено и ещё пахло копчёным салом, жареными семечками, махоркой и грязными немытыми человеческими телами. В темноте были слышны бормотанье, всхлипы, густой храп и иногда плач ребёнка.

Людмила ехала во Владивосток, где стояла часть её мужа Степана. Неделю назад она получила вызов от суженого. Пускаться в путь можно было только при наличии проездных документов – второй год по просторам и весям нашей необъятной страны громыхала война. В дороге на каждой маломальской станции комендантские патрули долго и тщательно проверяли документы.

– Куда это вы, мамаша, с малым ребёнком в такую даль? – спросил Людмилу капитан со шпалой в петлицах, светя карманным фонарём на запылившуюся бумагу.

Мамаша! Людмиле и шёл-то всего двадцать первый годок. Не успела она нажиться со Степаном вволю. Но что правда, то правда – аккурат, в марте сорок второго родилась дочка Лариса. Мужа мобилизовали ровно девять месяцев назад. В Шадринском родильном доме почти ко всем приходили мужья или матери. Мать Людмилы умерла перед самой войной. «Ничего, не плачь, дочка, – успокаивала её старенькая санитарка, – не плачь голубушка, нынче вся страна бедует, война...».

– Да вот муж вызов прислал, вы уж извините, товарищ капитан, – прошептала Людмила – на руках, посасывая кулачок, спала трёхмесячная дочь.

– Не извиняйтесь, что поделаеть? Война, – и капитан, козырнув, опустил вниз красные от бессонницы глаза.

Война! Много раз из уст многих людей Люда слышала это слово. До Урала вражеская авиация не добиралась, но от эвакуированных она слышала, что в нескольких стах километрах от её сторонки рвутся бомбы и снаряды, а чёрные самолёты с крестами на крыльях расстреливают колонны и поезда, с мирными гражданами, убегающими от этой самой войны. Во всех городах был введён комендантский час. Во время него любые передвижения по улицам города без специального разрешения были запрещены, а окна домов плотно завешивались массивными гардинами. Это называлось – соблюдать светомаскировку.

С приходом войны в умы и сердца людей как будто всадили большую занозу. В каждом доме, в каждой семье ждали мужей, отцов, братьев, сыновей. Война по-хозяйски входила всюду. Она устанавливала свои, никому доселе неизвестные, законы. Изменились традиции и уклад жизни людей. И даже разговаривать теперь стали шёпотом.

«Всё для фронта, всё для победы» – было написано на плакатах и транспарантах.

Письма от Степана приходили редко, но из них Люда знала, что муж находится не на западных, а на восточных рубежах Родины. Его часть была расквартирована недалеко от Владивостока. Напрямую, конечно же, он об этом не писал. Но из намёков и между строк, Люда понимала, что это именно так.

Шли третьи сутки в пути. Лариса спала не переставая, видно, тихий ход поезда укачивал девочку.

– Тут, где-то с ребёночком были, – старуха-мешпочница свесилась со второй полки, и, разглядывая Людмилу, смотревшую на неё снизу вверх, продолжала, – ты глянть, девка, не задохлось дитё твоё! Ведь почитай третий денёк едем, а оно ни ту-гу!

– Скоро ли Владивосток, бабушка?

– Скоро, скоро, голубка! Небось, к мужу едешь?

– К нему – кормильцу.

– Ну, дай тебе Господь, а ребёночек твой терпеливый, ох, терпеливый. Третьи сутки, а он не хныка, не плача! Дай вам Господь, – и бабка истоиво перекрестилась.

Наутро на перроне вокзала её обнимал большой и незнакомый Степан. Она впервые видела его в офицерской форме, перепоясанного скрипучими кожаными ремнями.

– Слава Богу, добрались, Людушка! – Степан прятал глаза.



Она же прижималась к тёплому плечу мужа и не могла сдержать слёз, струйками стекающих по её щекам.

– Назавтра уезжаю на фронт, сопровождаю эшелон. Три дня проживёшь в гостинице, я всё устроил, а потом поедешь на Алдан к моей матери.

– Как же так, Стёпа? А с тобой нельзя?

– Никак! Эшелон спецназначения, через три дня пойдёт поезд с мобилизованными, с ним и уедешь, – и Степан сунул ей в руки вещевой мешок с продуктами, – это вам на дорогу.

– Стёпа, я же свекровь не видела никогда, узнаю ли?

– Не волнуйся, я ей написал. Встретит. Зовут её Анастасия Ивановна, да ты знаешь! Не забудь – доедешь до станции Большой Невер, а потом на попутке до Алдана. До Алдана, понятно? – и Степан нежно обнимая дочь, прижался к ней колочней небритой щекой.

Он уехал на следующее утро и долго махал им, стоя на подножке уходящего эшелона.

Через три дня Люда пыталась забраться в теплушку поезда. На перроне вокзала творилось что-то невообразимое. Поезда брали штурмом. Вокруг кричали, плакали, целовались, пели песни, обнимались. Поезда охраняли матросы. Друг Степана – улыбочивый краснофлотец Корятов, поговорив с одним из морячков, накинул ей на плечи солдатский бушлат и, растолкав стоявших на перроне людей, запихнул её в вагон.

Люда ползком залезла в теплушку и забилась в дальний угол. В одной руке она держала дочь, в другой вещевой мешок, доставшийся от мужа.

И снова дорога. Лариса опять спала, не переставая, и только мокрые пелёнки напоминали о маленьком ребёнке. Сначала Людмила пробовала сушить их, высунув в окно, но на сукне оставалась такая копоть от паровоза, что она прекратила это бессмысленное занятие. Да ещё и Лариса, которую она бережно оставляла на стопках сена, начинала хныкать, чувствуя отсутствие матери. Людмиле оставалось только крепче прижимать её к себе.

Станция Большой Невер встретила их непроглядной тенью. Кроме Людмилы с дочерью никто больше не вышел на перрон. Поезд простоял пару минут и, обдав их тёплым паром, продолжал свой путь к западным рубежам.

– Когда будет попутная на Алдан, дядя? – спросила Людмила путевого обходчика с фонарём.

– Через три часа, касатка, иди на вокзал – там и передохнёшь, – путеец, волоча правую ногу, заковылял вслед уходящему поезду.

Полуторка с расколотыми бортами стояла на пыльной площади. Молодой водитель, сдвинув набок фуражку, озабоченно стучал стоптанным сапогом по правому баллону.

– А-а, доедем, – он махнул рукой и разрешил, – залезай.

Люди, тесня друг друга локтями, принялись занимать места. Вскоре весь кузов был забит. Садилась спиной к бортам машины, вытянув ноги перед собой и кладя куда попало дорожные торбы.

Людмиле досталось место на запасном колесе в конце кузова. Машина, чихнув карбюратором, запылила по узкой дороге.

Через пять часов езды, автомобиль остановился у закусочной.

– Полчася всем покурить и пересстать, – осклаил зубы молодой водитель и направился в заведение.

Ровно в указанное время шофёр вновь заглянул в кузов. От него пахло водкой и жареной картошкой.

– Все? – и увидев, как болтается голова уставшей от дороги Людмилы, недовольно нахмурился. Потом залез в кузов и подошёл к кабине.

– А ну, расступись. Бабка, я кому говорю, расступись?

Люди, нехотя подвинулись.

– Иди сюда, кума! – водитель поманил Людмилу пальцем, – сюда садись. Сейчас по кишке поедем. Понимать надо. А вам, граждане, совестно. Ить с дитём баба.

Людмила послушно уселась на удобное место. Лариса тихо посапывала во сне.

– Это что же за кишка такая? – спросила она пожилого дядьку в очках.

– Сейчас увидишь, дочка. Вверху облака – за них держись, внизу пропасть – гляди не оступись, – осклабился дядька.

Полуторка, подняв облако пыли, вновь отправилась в путь. Водитель лихо гнал машину, не притормаживая на поворотах. С правой стороны в небо уходили горы, а с левой падала вниз глубокая пропасть, как и сказал мужичок в очках. Когда стемнело, машина шла тихим ходом, а как расцвело, шофёр вновь поддал газа.

Через бурную реку переправлялись на пароме.

– Это Лена-река, дочка, а как через Ангару будем переправляться, держись, – вновь повернулся к Людмиле мужичок, – я скоро сохожу. А ты в дороге ни с кем не говори и никого не слушай. Вокруг тайга. Ссылных много. Иной, целыми посёлками живут. Так-то.

Ещё через сутки пути машина остановилась в огромном распадке. В кузове, кроме Людмилы с дочкой, не осталось никого. Все сошли по дороге.

– Алдан, приехали, слазьте, – крикнул молодой водитель и вытер пот с лица тыльной стороной ладони.

– Люда, Люда! – на обочине стояла немолодая женщина в пуховом платке.

– Мама! – Людмила прижалась к свекрови.

– Я тебя второй день уж встречаю, – женщины обнялись и тихо плакали, уткнувшись друг в дружку. И только маленькая Лариса покрхтывала на руках у матери.

– А ну, кажи внучку, – Анастасия Ивановна разглядывала Ларису и крупные слёзы катились по её выпалым щекам. Два часа назад в посёлок привезли почту.

В кармане её пальто лежало казённое письмо, пахнувшее сургучом, в котором круглым каллиграфическим почерком было написано, что её сын – младший лейтенант Степан Савельев героически сложил свою голову в боях за нашу советскую Родину.

ТЯЖЁЛЫЙ ОРДЕН

рассказ

День был очень погожим и солнечным. Как раз для прогулок и развлечений. Иван Иванович давно ждал этих выходных, ведь именно сегодня он пойдёт на прогулку с единственной и очень любимой внучкой.

Сын Ивана Ивановича жил в другом городе и баловал родителей своими визитами не очень часто, а невестка и была-то всего пару раз. Зато приезда внучки Лизы здесь всегда ждали с большим нетерпением. Только получив письмо, тут же Ирина Васильевна, жена Ивана Ивановича, всплёскивала руками и вытирала неожиданную слезинку:

– Дед, а дед? Василёк пишет, что Лизаньку скоро привезёт! Вот радость-то!

После таких известий, как правило, в их доме становилось как-то светлее и радостнее. Самочувствие всегда улучшалось, давление нормализовывалось, а по вечерам старики подолгу разговаривали и планировали, что надо сходить туда-то, взять то-то, а ещё от кумы надо принести сливового варенья, да побольше, Лизаньке оно очень нравится. И даже сухой кашель, который мучил Ивана Ивановича много лет, после того как он приморозил лёгкие в окопах под Пловдивом, как-будто немного отпустил.

Ирина Васильевна каждый вечер обзванивала своих старинных подруг, разнося благую весть. А те охали, да ахали, предрекая старикам долгожданное и плодотворное общение с внучкой.

С утра Ирина Васильевна тщательно отгладила единственный серый в полосочку костюм мужа, достала свежую сорочку.

– Дед, галстук-то оденешь? Или так пойдёшь?

– Да ну её, мать, удавку эту! И так хорош!

– И вправду, дед! Уж хорош, так хорош! – и Ирина Васильевна сама любовалась мужем, который расчёсывал перед зеркалом седые усы.

Иван Иванович, сразу помолодевший, не мог наглядеться на Лизаньку, которая, вслед за дедом, вертелась перед зеркалом, примеривая зелёный бант. И вправду, как можно было не любить это восьмилетнее создание? Сын у Ивана Ивановича был, это верно. А вот девок у них в семье отродясь не было. И вдруг такое чудо! Сын женился уже лет пятнадцать назад, да только долго не давал им Господь детей. Старики и думать перестали. Лизанька стала для всех отрадой и надеждой.

– Дедуля, мы в парк пойдём, да? А там карусели есть? А фонтаны смотреть будем? – щебетала внучка.

– Везде поспеем, Лизок! Всё посмотрим!

– Ванюш, вы не долго задерживайтесь. Устанет внученька, – Ирина Васильевна с тревогой и умилением смотрела на них.

– Не волнуйся, мать, мы не долго.

– Не волнуйся, бабуля, мы не долго, не скучай, – как эхо повторила Лизанька.

Иван Иванович бережно взял внучку за руку и повёл по двору, здороваясь со старичками и старушками, сидящими на скамеечках.

– С радостью тебя, Иваныч, – говорили те, – ишь, какую невесту вырастил. В вашу, в вашу породу бьёт. Уж не откажешься.

Иван Иванович важно раскланивался с ними. Есть чем гордиться, есть. Уважил сынок.

Старик и девочка шли по широкому проспекту. Вот центральный собор, в котором раньше располагался краеведческий музей. Напротив здание областной администрации, с развевающимся сверху российским триколором. Памятник Ленину. А вот и длинная лестница, уходящая далеко вниз с бурлящими по обеим сторонам водными каскадами и пенящимися фонтанами.

Иван Иванович очень любил свой город и гордился им. Здесь он родился, здесь пошёл учиться в фабзавуч. На местном погосте лежали его предки. Отсюда, приписав себе в метрику лишний годок, уехал на фронт в февралье сорок пятого.

Его путь лежал в Болгарию, а передовые части, как тогда говорили, уже прошли границу Германии и двигались на Берлин.

Зима в тёплой Болгарии выдалась тогда очень студёной. Вот там-то под болгарским городом Пловдивом он и приморозил лёгкие. Потом освобождал Софию. Там встретил победу.



Иван Иванович вспомнил, как ехал тогда домой. На правой стороне гимнастёрки поблёскивал орден Отечественной войны второй степени. Вспомнил и улыбнулся. Как тогда пели? «Когда вернёшься с орденом, тогда поговорим». Что ж, программа-максимум была выполнена.

Вот и сейчас на лапкане пиджака светлела заветная награда. Иван Иванович дохнул на неё и бережно протёр её свежим платком.

Через пару часов гуляния по Нижнему парку и катания на каруселях, внучка в изнеможении присела на скамейку.

– Дедуль, я пить хочу!

– Пойдём до ларька, я тебе минералки куплю, попьёшь.

– Нет, я тут посижу. Ты иди. Ларёк вот он, рядышком. Я никуда уходить не буду, дедуля, ты не бойся. Я на тебя буду смотреть.

Иван Иванович, оглянувшись на внучку, медленно пошёл к ларьку. Где здесь напитки? А вот они! Минеральная и лимонад. Впереди него стоял молодой паренёк. Он смотрел на витрины ещё, как видно, не определившись, чего ему нужно. Он то нагибался вниз, то привставал на носки. Губы его что-то шептали. Его, наверное, девушка стояла рядом, отвернувшись в сторону. На её сумочке была привязана георгиевская ленточка.

«Хорошая у нас молодёжь, – подумал старик, – помнят, чтят. Не зря мы, значит, воевали».

Парнишка, стоящий впереди, мешкал. Иван Иванович протянул продавщице десятку.

– Мне маленькую минералку, дочка, без сдачи.

– А в очереди постоять не хочешь? – парень поднял на него злое лицо.

– А? – ещё ничего не понимая, и, улыбаясь, переспросил дед.

– В очереди, говорю, не пробовал стоять? Старый пень!

Ивана Ивановича как будто ошпарило кипятком. Слова застряли в горле. Он стоял и ничего не мог произнести.

– Чего молчишь? – продолжал парень, – развелось бомжей, ланонуть некуда!

– Ты чего, обалдел что ли? – заступилась за старика продавщица, – чего на деда расшумелся?

– А вы не влезайте, – вклинулась в разговор девушка. Девушка была очень приличной и грамотной, – у нас без очереди только герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы могут обслуживаться. Я все законы хорошо знаю.

Девушка говорила что-то ещё. Что? Иван Иванович плохо помнил. Помнил только как её спокойная и грамотная речь, как калёным железом жгла его душу. Девушка нежной и холёной рукой вбивала холодные гвозди в его сердце.

– И вообще, не похожи вы на ветерана войны. Молоды больно. А ордена в наше время всякие купить можно. Не проблема, – закончила девушка свою речь. Не зря она училась на втором курсе юрфака. Она была очень довольна собой. А что? Речь построила грамотно, юридических ошибок не допустила. Любой, даже самый придирчивый преподаватель поставил бы ей сейчас пятёрку, – пошли, Гена!

Иван Иванович стоял на месте, опустив голову.

– Дедушка, дедушка, возьмите минералку вашу, – продавщица протягивала ему пластмассовую бутылочку, – не обращайтесь вы на них внимания.

– Дед, ты бы сказал, что у тебя сушнячок, – Гена обернулся и, улыбаясь, смотрел на него, – я бы тебя пропустил.

И пара пошла по аллее, засаженной старинными дубами, непринуждённо болтая.

– Дедушка, дедушка, ты чего, – Лиза теребила его за рукав, – тебе, что? Плохо?

По щеке Ивана Ивановича катилась горячая старческая слеза. Голова разболелась. Сухой кашель сотрясал его.

– Пойдём домой, внучка. Устал я что-то. Постой. Сейчас.

Иван Иванович непослушными руками отвинтил награду от пиджака и опустил её в карман. Тяжёлый орден Отечественной войны второй степени медленно и неслышно упал в мягкое сукно.

ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

рассказ

Игорь сидел за столиком в маленьком венском кафе. Молоденькая приветливая официантка с улыбкой поставила перед ним чашечку дымящегося крепкого кофе и блюдо с выпечкой. «Бите шён» – произнесла она и медленно удалилась.

Игорь посмотрел на часы. Полвторого. Через полчаса он, наконец-то, увидит сына.

Четыре года назад его бывшая жена Галина вышла замуж за гражданина Австрии и переехала в Вену на постоянное место жительства. С женой у Игоря отношения были довольно натянутые, расставались они долго и тяжело, но сына Вадимку он очень любил. Часто перезванивался с ним, хотя Вадимка, общаясь со

своими ровесниками в чужой стране начал потихоньку забывать русский язык. Правда, чужой она была для него – Игоря, а для сына уже стала своей. Он даже иногда начинал волноваться, когда Вадим подолгу думал, прежде чем ответить на его вопрос.

– Вадька, ты что не отвечаешь, приболел что ли? – с тревогой спрашивал он.

– Нет, пап, – смеялся сын в телефонную трубку, – просто я думаю по-немецки, а потом на русский перевожу.

Галина когда-то закончила иняз пединститута, поэтому немецким владела в совершенстве, несмотря на то, что её второй муж, с которым она жила довольно счастливо, вначале делал ей замечания за её хох-дойч и весело говорил: «Галя, ты коворишь как пифкинезе». Она быстро адаптировалась в Австрии и уже работала на хорошем месте. Ну, а ребёнку пяти лет привыкнуть к новому не составляет большого труда, гораздо быстрее, чем взрослым.

Четыре долгих года не видел он сына. В Россию Галя не приезжала – её родители давно умерли, а Игорю путешествовать в дальние страны было дороговато. И вот недавно ему чудом удалось попасть в заграникомандировку. Его металлургический комбинат заключал контракт с австрийским концерном Фест Альпини. На два дня ему всеми правдами и неправдами удалось вырваться в Вену.

– А, это ты, – услышал он недовольный голос Гали, – какими судьбами?

– Галь, привет, – у Игоря даже голос сел от волнения, он откашлялся, прикрыв трубку вспотевшей ладонью, – я тут по делам фирмы. Вот, удалось на пару дней вырваться в Вену. Как Вадимка?

– Нормально, – голос бывшей немного потеплел, – он про тебя тоже спрашивал недавно.

Игорь знал, что разговаривать с Галей надо очень осторожно, настроение её менялось так же быстро и непредсказуемо, как погода на туманном Альбионе.

– Галь, я бы хотел с Вадькой увидеться. Можно?

– Сегодня нет. А завтра – пожалуйста. Часа в два. Да. Я думаю, в два он будет свободен.

– Так я за ним подъеду! Какой у вас адрес?

– Ты мне завтра перезвони, обо всём договоримся. А ты, кстати, где остановился?

– В гостинице. В Пуркенсдорфе. Это пригород.

– Я знаю, – засмеялась Галя, – ну ладно. До завтра.

Раз сегодня не удастся повидаться с сыном, то можно и город посмотреть. Игорю сразу понравилась Вена. От неё пахло вековыми традициями. Маленькие уютные улочки, вымощенные булыжниками, сходились в небольшие площади, а потом вновь разбегались в разные стороны. Небольшие дома стояли настолько близко друг к другу, что казалось это ветхие старушки в черепичных шляпках выстроились в ряд, касаясь соседок плечами. Игорю показалось, что вот сейчас, если закрыть глаза и прислушаться, то можно услышать могучую поступь рыцарского коня, а потом открыть глаза и увидеть, как средневековый рыцарь прищипривает гнедую, сверкая латами, а она неторопливо скачет, звеня серебряными подковами.

Игорь завернул за угол и оторопел. Мимо него промчалась белая карета, запряжённая парой белых же лошадей. Несколько фаэтонов стояли поодаль. Лошади дремали, качая головами, покрытые красными попонами.

Первым делом Игорь посетил могилы советских бойцов в Пуркенсдорфе. Видно было, что за ними ухаживают. За маленькими железными воротами стоял памятник из белого кирпича, на плите была выбита надпись: «Вечная слава героям, погибшим в боях за социалистическую Родину». Справа и слева стояли памятники поменьше с именами и фамилиями. Большинство из бойцов погибли в апреле 45-го в боях за освобождение Вены.

Где-то здесь в венском лесу встретил победу его, Игоря, дед. Он рассказывал Игорю, как, услышав о победе, солдаты устроили салют, а потом до изнеможения плясали под гармонию.

Игорь оглянулся. Вот он, знаменитый венский лес. Горы, покрытые деревьями, внизу катит свои воды речка Вена. А сверху зелень, насколько хватает глаз, и только иногда встречаются жёлтые подпалыны. Осень.

«Сказки венского леса я увидел в кино, это было недавно, это было давно» – пронеслась в голове мелодия старинной забытой песни.

Игорь долго стоял, склонив голову, отдавая дань погибшим солдатам.

Затем он поднялся на смотровую площадку, откуда город был виден как на ладони. Мосты через голубой Дунай соединяли берега огромными ручищами.

После Игорь посетил Карлсфирхе. Обошёл вокруг знаменитое здание венской оперы, спустился в подземный переход, не преминув заглянуть в туалет, где можно было сделать всё необходимое под вальсы Штрауса. Купил в лавке настенные часы с портретом Моцарта. И пошёл гулять по красивым улочкам Вены. Неожиданно Игорь наткнулся на монумент советским воинам. Ещё оно напоминание о Родине. На высокой стеле стоял солдат со знаменем в золотой каске и с золотым щитом. От него в разные стороны уходили пилоны с колоннами. Игорь купил букетик белых цветов у немолодой женщины, кутающейся в шаль от холодного ветра, и положил их к подножию памятника. Спят, солдаты. Всё, что смогли, вы уже сделали.



Игорь ходил по улочкам и запоминал памятники и примечательные места. Зачем? Только после того, как он задал себе этот вопрос, он ответил на него. Затем, чтобы завтра гулять здесь с сыном. Можно сводить его в резиденцию Габсбургов – Шёнбрунн. Хотя нет. Вадька ведь живёт в этом городе, и сам бывал, наверняка там тысячу раз. А зоопарк? Говорят, в Вене самый старый зоопарк в Европе, ещё королевский. Там есть животные со всего света, а забавный бельчонок бегаёт под ногами и выпрашивает корм. Ах, да! В зоопарке сын бывал не раз наверняка, Галя любит птиц и животных, не могла не сводить сына на встречу с прекрасным. Да и про зоопарк он слышал восторженные отзывы именно от Вадьки, точно от него! Лучше просто побродить, взявшись за руки, по городу и послушать старинную Вену.

Игорь вновь посмотрел на часы. Без пяти минут два. Пора звонить.

– Галя, привет, это я. Ты не забыла про меня?

– Я давно про тебя забыла!

– Ты не поняла. Ты обещала, что я с сыном встречусь, погуляли бы!

– Я тебе ничего не обещала, я сказала, думаю, что он будет свободен. Но он с классом уехал на экскурсию в Зальцбург. Извини, – и она повесила трубку.

Игорь отхлебнул остывший кофе. За окном вновь проехал белый экипаж, но он уже не казался Игорю таким прекрасным. Карета превратилась в тыкву. Он вышел на улицу и вдохнул воздух, пахнувший пылью веков – мира, в котором так нелегко порой найти понимание друг другу.

ЕМЕЛЬЯН МАРКОВ

ЧТО-ТО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

рассказы

ЗЕРКАЛО

*Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Горжествующих созвучий?*

Владимир Соловьёв

В человеке тоже наступают сумерки, как и вокруг него. В детстве сумерки вызывают сначала восторг, потом страх. В сумерках раздаётся отдалённый детский смех, звуки в них вообще становятся музыкальней, словно слышнее становится музыка сфер. Музыка сфер происходит в космосе: одноглазые циклопы в дублёных фартуках звенят молотами по своим наковальням, планеты согласно вращаются, и возникает хрустальная музыка, отчетливо слышимая на Земле только замерзающими нищими. Хотя не только нищими.

Я был детским писателем. Был добрым волшебником. Потом у меня удалили желчный пузырь, хотя я и не пил как остальные. Они пили, а я распухал, они опохмелялись, я просыпался с красным лицом, они с нетронутыми желчными пузырями умирали от нервного истощения, мой же желчный пузырь отдувался за них, моих друзей.

Вот его удалили. Поначалу мне показалось, что я уже слышу музыку сфер, под аккомпанемент которой умирали мои друзья. Я резко постарел, меня словно бы носило ветром по улице, как старую газету, я так же шаркал, как она шелестит. Я стал остывать изнутри, как звезда. Изнутри меня стал заселять тот самый космический холод, который является проводником музыки сфер. У меня внутри, по ту сторону моих голубых глаз, как поётся в одной английской песне, начались сумерки. Но в отличие от детства, со мной произошло наоборот. Если в детстве в сумерках восторг сменяется страхом, то у меня страх сменился восторгом. Короче говоря, я умирал.

У меня есть знакомый, можно сказать друг. Он мне годится во внуки, но мы с ним не прочь пофилософствовать, когда он выпьет.

В издательстве, где он какое-то время работал, я подвизался составителем серии книг «Для взрослых» и одновременно — серии избранной советской лирики. От перовой части то было время моего позора, но я этот позор принимал на себя героически. Мой друг был моим редактором. Он говорил, что у меня две сущности, что меня два. Один чёрный, приносящий составы неприличных книг для взрослых, другой же светлый, составляющий книги радужных советских лириков. В двух обличиях я ему был милее. Он заходил ко мне то со светлой, то с тёмной стороны. Я был для него как планета, обшарпанная, древняя, но одновременно юная в космических обстоятельствах.

Меня слегка оскорбляло его ирриное отношение к моему прошлому. Советские годы он проводил школьником, и эта школьная шкодность, подростковая глумливость пропитали его натуру. Но одновременно он слышал во мне музыку сфер, которую сам в себе я тогда пока не слышал. Детская глумливость сочеталась в нём с детским же восторгом, а детский восторг с детским страхом.

Советский строй своим финалом зафиксировал в людях их достоинства и недостатки. Вот сколько тебе было на момент отмены советской действительности, столько тебе по сути и осталось. Мой редактор и приятель остался в том возрасте, когда ступаешь из отрочества в юность, точнее, когда с разбега прыгаешь из отрочества в юность. Он остался в прыжке, он замер в нём. Я же остался в трудных обстоятельствах пятого десятка, в этих невыясненных отношениях со своим прошлым, то есть в том отчаянии, которое обуславливает первые сумерки. Я забыл сказать, что – восторг восторгом, а страх страхом,



но в первую минуту сумерек ведь испытываешь отчаяние. И я изнывал от отчаяния. А мой друг прозревал во мне дальнейшие потёмки и даже звёзды, он подтанцовывал под мою музыку сфер, когда сам я оставался в мерном отчаянии.

Друга моего из издательства давно похёрли. Я – уже и не выезжаю почти со своей пригородной дачи. Живу со своей старухой в двух тысячах километров от синего моря. И тем не менее, каждый день выхожу с неводом за калитку. А невод мой это – сумерки.

Я, конечно, надеюсь поймать золотую рыбку. Но вместо неё встречаю бездомных собак. Главное не смотреть им в глаза. У бездомных собак в глазах плавает золотая рыбка. И когда я вижу в их глазах её золотой плавничок, я напрочь теряю волю, не способен уже противостоять своей жалости и своей алчности в отношении золотого плавничка. Домой я возвращаюсь с собакой. У меня и так пять приبلудных котов и три приبلудные собаки. Я привожу четвёртую. Я очень алчный человек, не могу собой управлять, поэтому главное – не заглянуть в глаза бездомной собаке, потому что стоит только заглянуть, я опять увижу в её глазах золотую рыбку, и приведу тогда домой пятую собаку. А моя старуха завоет тогда как собака шестая.

Тот приятель, бывший мой редактор, иногда звонит мне пьяный. Философствует, резвится. Но ему самому уже крепко за сорок. Я говорю с ним с каждым разом сдержаннее и сдержаннее, последнее время вообще стараюсь сразу свернуть разговор.

В первый год после удаления желчного пузыря я думал, что музыка сфер захватит меня окончательно, что она выстудит меня, что сумерки переполнят меня, заполнят мои лёгкие, и я уйду в ту страну, где тишь и благодать, вернусь к горячему солнечному песку моего дачного детства, улечу наконец в космос под хрустальный перезвон. Но организм справился, я, можно сказать, даже окреп. В молодости я занимался тяжёлой атлетикой, и теперь я опять наливался плотью, я стал узнавать себя прежнего. Мне вернулся тёплый зевек, как у моих четырёх собак.

Вчера опять позвонил бывший редактор. Стал что-то такое говорить о том, что я великий человек. Что есть такие миги в жизни, которые, как звёзды, организуют её простор, и что в моих детских книжках, написанных мной в прошлом тысячелетии, эти миги достовернее, явственнее означены, чем даже у некоторых классиков. Я его слушал сокрушённо, жаль, что он столько пьёт. Но что-то в его словах было достоверное и знакомое, что-то родное. Я ему сказал: «Послушайте (мы остаёмся на вы). Послушайте, говорю, вы опять меня заставляете думать. Я ведь опять не засну ночью и буду думать над вашими словами». Он отвечает: «Нет, сейчас не думайте. Запомните мои слова, но не думайте пока над ними. Спокойно ложитесь спать. А вот с утра над ними задумайтесь. Я к тому и говорю, чтобы вы наутро подумали, а не сейчас».

На том и условились. Я положил трубку. Пошёл мимо зеркала к своей кровати. Обычно я не смотрю в зеркало. Ну что я там хорошего увижу? Я стараюсь не смотреть в зеркало, как стараюсь не смотреть в глаза бездомным собакам. Но теперь я всё-таки не утерпел и в зеркало глянул. Глянул себе в глаза. В них я увидел золотую рыбку.

ЗОВ

1

Однажды я проснулся, побежал на работу. И только через утро просыпаюсь с распухшей переносицей. Значит, позавчера нос на Серпуховском валу всё-таки сломали.

Я преувеличиваю, я не такой забудыга. Просто переполняет часто чудовищное ощущение праздника. Иногда справляюсь с ним, иногда нет. Я вообще не способен планировать праздник. Старый приятель звонит, хочет встретиться. Я отказываюсь, он обижается. Не понимает, что я совершенно не могу запланировать своё неистовое ликование, свой торжественный припадок. И вот, в тот вечер, когда он намеревался со мной встретиться, или через день, или наоборот накануне, я вдруг ему звоню, говорю восторженные и насмешливые вещи. Говорю о его уме, о его семейных обстоятельствах. По-доброму говорю. Но он не понимает, что по-доброму, начинает меня ненавидеть, посылает матерными словами. Хотя раньше преклонялся. От удивления я вызываю его на поединок. Он только вяло и презрительно прерывает связь. Он ведь не знает, что день начинается для меня перезревать праздником совершенно непредсказуемо. Так же я не могу предсказать, приснится ли мне моя давняя любовь.

Я себе отмерил времени строго до сорока пяти лет. До сорока пяти лет живу в этом отчуждении, в этой бессмысленной любви к призраку и тени. После сорока пяти жизнь резко меняется. Я забываю о своём юношеском безумии, бросаю копеечную работу. Ухожу в чарующую неизвестность. Таков был план.

Но вот мне исполнилось сорок пять. Я действительно стал свободен от своей любви. И – отчаянье навалилось на меня. Оказалось, что кроме этой любви за душой ничего нет. Что все надежды, планы и

грёзы были основаны на глупой любви. Когда любовь прошла, сделалось бессмысленным и пить, и пить возле рюмки. Сделалось бессмысленным идти через центр Москвы вечером. Меня спросили тут: в чём цель твоей жизни? Я ответил: ни в чём, отсутствует. Раньше целью жизни было – избавиться от глупой любви к глупой девушке, которой уже давно и нет в действительности. Она жива, но она давно не она. Это другой человек. А той малокровной с короткой шеей и длинной поясницей нет. Короткая шея и поясница есть, а самой её нет. Есть чья-то жена, мать семейства и проч.

И теперь я пью, только когда появляются силы пить. Так я не пью, потому что сил пить обычно нет. Тупо хожу на работу, где выполняю механические действия.

Но вот она опять мне приснилась. Она меня молила не забывать её, пощадить её. Она сидела на заборе, как сорванец, оттуда умоляла. Я независимо бегал по беговой дорожке школьного двора, мне было легко, потому что я спал. Она сидела на заборе. И напоминала о моей прошедшей любви к ней. Я так понял из её невнятных слов и умоляющего взгляда. Что – она сама не может без моей любви к ней. Что если моя любовь исчезнет, исчезнет и она, эта сновиденческая девушка. Ей не хотелось исчезать, ей хотелось жить в моих солнечных снах, ей в них, похоже, было вольготно. Мой сновиденческий мир был для неё счастливым местом. Теперь же я вознамерился выселить её из него в небытие. Она этого не хотела. «Что же я могу поделать? – думал я на бегу по кругу. – Ведь любовь прошла. Почему я должен терпеть в своих снах эту девушку? Почему она должна меня мучить в моих же снах? Я и так двадцать пять лет терпел эти сны, в которых она измывалась надо мной, и просыпался в отчаянии. Зачем мне всё это?». Но она – умоляла. И глупая жалость к ней не давала мне прогнать её прочь со школьного двора моих снов.

Влюблённая в бога Нарцисса нимфа превратилась в Эхо. Потеряла плоть, остался только её голос. Сам Нарцисс превратился в белый цветок с жёлтым венчиком. У меня не та ситуация. Я не испытываю страсти к своему отражению. Так почему же эта девушка взывает ко мне, превращаясь наяву в невидимку? Ведь её и так нет в действительности.

Человек стремится вперёд. Человек якобы стремится куда-то вперёд. Или, как говорится, все стремятся – вперёд. Я же, получается, стремлюсь назад? Но во-первых, кто определил, что прошлое находится позади? Во-вторых, разве я туда стремлюсь? Разве я мечтаю о своей юности? Свою юность я вспоминаю с содроганием. Для меня моя юность невыносима. Предложи мне кто пережить её заново, я бы отказался решительно. Что же получается? Эти полтора года, которые мы когда-то прожили вместе, являются для меня безотносительным эталоном? Ведь нет. Да, мы были молоды, и мир, своей просторной замкнутостью похожий на сон, принадлежал нам, он был, по крайней мере, в нашем распоряжении. Но наши постоянные приступы страсти неизменно же сменялись ссорами. Её упрямство вызывало у меня отчаяние, её сострадание вызвало отчаяние ещё большее. И мы закономерно расстались. Она посчитала меня сумасшедшим, я её идиоткой. Потом и она решила, что я идиот. Возможно, что мы оба были правы. Но почему двадцать пять лет я держался на этом странном сне? И почему теперь я более на нём держаться не могу? Почему у неё вдруг разлюбил?

Я был женат, у меня были женщины. Некоторых из них я любил. Но каждая новая история постоянно дополнялась той старой. И ещё я всегда пытался повторить те полтора года. Мои возлюбленные строили какие-то свои планы. А через полтора года убежали от меня в ужасе и бешенстве. Потому что, прожив заново те свои изначальные полтора года, я опять становился никчемным и равнодушным идиотом. С недоумением я смотрел на недавно обожаемую женщину. И опять мне снилась та с короткой шеей и длинной поясницей. Но я как-то не задумывался над этим, потому что это была данность.

Теперь же я выпал из данности. Зов девушки больше не трогает меня. Праздники мои закончились. Я оказался в пустоте.

2

Как-то я проснулся в три часа ночи и посмотрел в окно.

Я живу на восьмом этаже. Но в окно смотрела женщина. Стояла поздняя осень, снежок как марля покрывал запекущуюся землю. Но женщина была обнажённой. В детстве я боялся, что кто-нибудь подойдёт к окну нашего деревенского дома и снаружи посмотрит на меня. Вздрагивающими руками я занавешивал окно покрывалом. Теперь женщина смотрела на меня на уровне восьмого этажа. Но я не боялся её. Я подошёл к окну, открыл его. Я понимал, что сейчас начнётся какая-нибудь несуряница, и обнаружится обычный кошмар сновиденческого коридора, ведь не может же эта женщина просто висеть в воздухе.

Она висела. Я спокойно подал ей руку. Мне даже стало приятно, что законы природы нарушились. Женщина холодными пальцами оперлась на мою ладонь, поднялась в воздухе, ступила на подоконник. Она спрыгнула с подоконника на паркет. Ведьма стояла и смотрела мне в глаза. Возможно, она ждала,



что я обниму её. Но я не делал этого. Если бы она пришла с улицы, разделась, я бы возможно её обнял. Но в этих волшебных обстоятельствах было что-то такое рутинное, что я не стал её обнимать. Мне стало тошно. Я понимал, что в этом мире безумия и сказки меня не ждёт ничего нового. Я понимал, что он обманет меня, как уже обманули и сон и явь. И я просто стоял перед ней неподвижно. Черноволосая синеглазая ведьма от меня ждала другого.

– Ты же раньше мечтал обо мне, – сказала она со свирепой и досадливой ухмылкой.

– Положим, – ответил я. – Но у меня нет больше охоты входить в твои волшебные обстоятельства. Честно говоря, мне даже противно.

– Я противна тебе? Я тебе совсем не нравлюсь?

– Ты знаешь, я готов смотреть в твои огромные глаза бесконечно, как в глаза кошки. Но противоестественность ситуации меня как-то не увлекает. Наоборот, отталкивает. Можно сказать, что она меня унижает. Я не хочу таких чудес.

– Что ты знаешь о чудесах. Я бы могла показать тебе чудеса. Я показала бы тебе мир. Показала бы тебе все семь чудес света, и ещё семь тысяч чудес... Ты же хочешь загнаться в своей нищей халупе. Что ж, как знаешь, это твой выбор, – ответила ведьма сурово. – Впрочем, до рассвета ты ещё сможешь позвать меня, и я приду. У тебя осталось три часа. Думай. Больше у тебя шанса не будет.

Она плавно запрыгнула на подоконник и скрылась за углом оконного проёма.

Я лёг. Примерно с час я ворочался. Нет, сомнений у меня не было, я совершенно не собирался звать эту ведьму, хотя знал, чувствовал, что она терпеливо ждёт, зависнув в отвесной темноте. Она была, конечно, прекрасна, но одновременно она, конечно, была и страшна. Лет пятнадцать назад я бы обрадовался её приходу. Я даже звал её тогда, искал в ночном парке. Вот она пришла. С этими силами, кстати, лучше не шутить. Ведь у них другое временное измерение. Позовёшь их, а они придут через пятнадцать лет, когда их вовсе не ждёшь.

Я просто лежал и переживал, когда она улетит. Так заснул. Приснилась опять моя прежняя любовь. Теперь я с лёгкостью ходил по ковру на руках. Она стояла и молчала умоляюще. Она опять умоляла, чтобы я не вычёркивал её из своих снов.

Проснулся я от резкого, грубого крика. Точнее, мне этот крик верно приснился, потому что давно рассвело, и ведьма, конечно, улетела самое меньшее часа два назад.

МИККИ МАУС

В детстве я до странности любил мультипликационных героев Уолта Диснея. Родственники потворствовали мне в этой одержимости. Тётя, жена моего родного дяди, купила мне в Лондоне толстую книгу о творчестве Диснея в суперобложке, пусть на английском языке, важно, что обильно иллюстрированную. Другая бедная родственница всю свою небольшую зарплату выложила тоже – на книгу сказок на английском языке в серебристом супере, иллюстрированную кадрами из диснеевских мультфильмов. Просто купила мне в Книжном на Новом Арбате, без повода, и уехала к себе в другую область.

Английского языка я не знал, имел по нему в школе двойку, условно выставляемую в дневнике за четверть как тройка. Потому родители были вынуждены нанять репетиторшу: чтобы я как-то выплыл и не остался на второй год. Мы занимались за письменным столом в моей комнате. Англичанка – по профессии, конечно, не по национальности – приходила в короткой юбке выше широких колен. Я ронял шариковую ручку под письменный стол, наклонялся, шарил рукой по паркету. Поднять глаза в сторону колен не решался, но мне хватало одного их присутствия. Репетиторша меня совестила за то, что я не выучил опять новые слова перед занятием, грозилась, что больше не придёт, вернёт родителям деньги. Эти угрозы подействовали, я вышел в школе по английскому на пять.

Тогда я уже не сходил с ума по Диснею.

Хотя и через тридцать лет до недавнего времени в забытии мог нарисовать Микки Мауса на случайной бумажке. Два круга, один над другим, они соединяются двумя сближающимися сверху линиями. Потом – на верхнем круге морда: нос, рот, язык, уши, глаза. От сочленения между кругами в стороны четырёхпалые руки в белых перчатках, от нижнего круга ноги в мягких складчатых туфлях. И две пуговицы в довершение на животе. Так рисовал своего героя сам Дисней. Он рисовал ещё хвост, я же хвост нарисовать всегда забывал.

С детства я читал хорошие книги, подводящие устойчивые нравственные основы. Но герои Диснея, их выверты и манерная беспощадность потворствовали другим склонностям. Мой первый поцелуй продолжался два часа без малого. Гости разошлись, мы в соседней комнате всё целовались. С этой немногословной девушкой я так почти и не познакомился. Поцелуй был таким долгим не из-за разыгравшейся страсти, а оттого, что я никак не мог сообразить, что мне делать дальше. Девушка тоже не имела достаточного опыта. Поэтому мы целовались два часа. То есть длили один поцелуй. Я поднял было ей джемпер, поцеловал уже грудь с бледными безучастными сосками. Но дальше стояла стена.

Я полагал, что стена эта разрушится с опытом. Нет. У меня было всё, или почти всё. Стена не разрушалась. Женщины сменялись, уходили, стена оставалась. Я надеялся, что следующая женщина придёт помимо стены, и стена останется в прошлом. Приходила женщина, я опять упирался в стену. В стену боли и позора.

Главное, что эта стена сразу загораживала от нас с партнершей наше будущее. А хотелось как раз смотреть вместе в будущее с ликованием, убегать в него, взявшись за руки, как в весеннее, не заросшее ещё бурьяном поле по сухой нагретой солнцем траве, которая отражает солнце, как волосы. Волосы нагрываются и также пахнут, как разогретая на солнцепёке сухая трава.

«Как перепрыгнуть эту стену?» – думалось мне.

Мне встретила женщина, с которой мы долго друг друга ненавидели и презирали. Несколько лет. Казалось, по-другому быть не может. Иногда, правда, почему-то созванивались. Я страдал из-за её высокомерного занудства, она скрежетала зубами от моей вымученной безответственности. Натужные и бессмысленные разговоры в виду какого-то вздорного и невозможного совместного, вроде как финансового или какого другого, проекта. В конце каждого разговора нам становилось безоговорочно ясно, что не может быть у нас никакого совместного проекта, что мы разные диаметрально, полярно чуждые. Но почему-то опять она мне звонила. Мы встречались в компаниях. Она предложила мне раз вместе провести дальнейший вечер. Я испугался, я не чувствовал какой-либо от неё нежности, а тем более, восторга. Что ей было нужно? Я увильнул.

Но вот однажды я сам приехал к ней. Что меня заставило так поступить, не знаю, просто не имею представления.

Стоит ли оговаривать, что передо мной выросла опять моя стена. В этот раз я и не надеялся, что её вдруг не будет, был уверен в ней. Может быть, поэтому я нашёл против неё средство. И – испытал признательность, безумную, страстную признательность испытал к этой надменной женщине, оттого что именно с ней я нашёл способ древнюю стену эту миновать.

Каким оказалось средство? Вот каким. Я представил себя Микки Маусом. Беспшашным мультипликационным Микки Маусом. Я просто стал им. Наверное, в этом и состоял наш предполагаемый проект.

Женщина была настоящая, с широкими крутыми ягодицами, острым длинным подбородком, брутальными татуировками на плече и пояснице. Наверное, как раз татуировки мне подсказали способ взять приступом мою крепость боли и отчаяния, мою стену. Я превратился в Микки Мауса. Жеманно делал глазки, улыбался от уха до уха, и из-под одеяла виднелись мои круглые чёрные уши.

После этого случая я Микки Мауса на бумажках больше не рисовал. Я оказался по ту сторону стены.

ЧТО-ТО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Через неделю Злата опять пойдёт в школу, в последний класс, но всё равно – в школу. Петя просил её, её мать, даже её отца, чтобы Злата перевелась в школу возле его дома. Ведь Лата всё равно фактически его жена. Зачем же такие странные промедления? Но мать Латы в ответ только поджимала губы и слегка поднимала брови, а папа мрачно и печально смотрел вдаль сквозь бетонную стену. Сама же Лата говорила:

– Петруша, какая разница? Ещё один год, подумаешь? Я никогда не меняла школу. Теперь в последний момент поменять, это нелепо. У меня здесь подруги. Мы прекрасно прожили с тобой тот год, проживём прекрасно этот.

– Ничего ведь не повторяется, ничего, – бился в её колени переносицей, спорил Петя. – Ты должна переехать ко мне. Я не могу без тебя существовать.

– Я тоже без тебя не могу. Но я по-прежнему буду приезжать каждый день. В выходные мы будем и подавно вместе. Я только добыю школу и всё, мы будем свободны.

– Неужели тебе легче каждый день ездить через весь город?

– Что тут ехать... Пятьдесят минут, я засекала, даже не час. Села в метро, едешь себе. Я же не в час пик. В час пик я всегда у тебя.

– Если тебе нужны трудности, это плохо, значит тебе так интересней.

– Ты очень мнительный, Петруша. Ты просто не понимаешь, как я тебя люблю.

– Твои колени напомнили мне, что надо ехать за яблоками.

– В Баковку?

– Да, туда. Поехали сейчас.

– Поехали! (Они умели срываться.)

Не так давно дачу в Баковке дед Пети отдал своей внебрачной дочери Соне. Соня родилась тремя годами позже Пети. В баковский дом вместе с Сонею въехала мать её, Марина, бывшая бабушкина страсть, и неунывающая бабушка Пенелопа Ивановна.



Познакомился дед с Мариной под серым, как дым, дождём. Нагнал, тронул за локоть. Спросил: «Один только вопрос: что вы больше всего ненавидите?» – «Красный цвет» – глянула внимательно, ответила Марина.

Недавно эти родственники позвонили, сказали, что засыпаются яблоками: варенье варят, пироги пекут, так едят, но яблок всё равно остаётся – прорва.

– Моя тётя, которая младше меня, – Соня – очень сильно красится, в смысле, марафетится. Она астролог, только об астрологии говорит. Пасёт коз, рассуждает об астрологии, если вообще рассуждает. Она прозрачная, молчаливая. Такая красавица. У неё духовная красота, понимаешь... – Петя дразнил Лату с наслаждением. – Хотя – очень сильно красится! – сетовал он. – Сидит там в своём заточении, пасёт коз, надевает глухие тёмные лохмотья и сильно красится. Не понятно водевиль это, трагедия. Что-то сценическое точно.

– Ой! – перепугалась Лата. – Я буду рядом с ней без косметики, ты меня сразу разлюбишь.

– Обязательно.

– И что же делать?

– Что. Красится. Сама ты не умеешь, делаешь из себя милашку, тебе это не идёт. Тебе идёт хищный, обречённый, я б сказал, макияж, фатальный, я б сказал.

– Да? – как-то вправду хищно и всё ещё жалостливо обрадовалась Лата.

– Тут валялась твоя косметика, – озаботился Петя, – которую я у тебя конфисковал, сейчас пришёл её срок.

Он достал из ящика стола косметику. Спрятал Петя её, потому что охотней любил Лату ненакрашенной. Боялся её красоты и принижал её. Но в отсутствие Латы доставал её косметику, любовался дешёвыми тайванскими тенями с блестками, потому что эта косметика, как сама Лата, принадлежала ему.

Лата преданно подставила лицо. Петя стал её красить маленьким аппликатором, пальцами. Тени враждебно пахли посторонней женщиной, но Петя мужал ради праздника. На покорном лице Латы выявилась броская безжалостная красота.

– Нет, перебор... – решил Петя, когда Лата вглядывалась в зеркало шкафа. – Иди сюда.

Лата опять охотно подставила лицо. Петя смягчил пальцами и ватой тона. Теперь едва угадывалась бестия неоновых огней. Петя не знал, как к этому отнестись: гордиться, хвататься за голову.

– Это клёво, – признал он. – Но что ты наденешь? Джинсы и эта послевоенная блузка ни в какие ворота не лезут. Ничего, сейчас найдём. У мамы есть отпадные вещи, о которых она сама думать забыла.

Ринулись доставать из дальних углов гардероба вещи. Петя обряжал Лату в нелепые старые юбки, драные рубашки, смеялся, Лата растерянно сушилась.

Впрочем, подходящая вещь скоро нашлась: летнее, не августовское, больше июльское, ситцевое платье в разноцветную полоску, юбка-парашют, чуткая, как парус. Труднее подбирали обувь. Петя вывалил из галошницы что имелось, но у Латы ноги были покрупнее, чем у его матери. Нашли, наконец, пунцовые вечерние туфли, не очень идущие к лёгкому платью. Зато они шли к макияжу, а платье – к распущенным латунного отлива волосам. Что-то получилось. Если сразу что-то получилось, что-то значит получится дальше.

Взяли большую порожнюю дорожную сумку. На автобусе доехали до Кунцева, пересели на электричку до Баковки.

*

Последний раз Петя был в Баковке с дедом прошлой осенью.

Перестилали пол в летней хибаре-«флигеле». Накладывали разные, собранные дедом по миру половицы на просмоленные намертво шпалы. Когда только поднимали прогнившие доски, Петя по детской привычке надеялся найти клад, и уже по взрослому обыкновению делал вид, что клад нашёл. Пол получался, скажем так, эпохальный. У дерева крепкая память, одна доска помнит одно, другая совершенно другое. Пол – выдержит, главное, чтобы человек выдержал. Дикие трудовые мысли. Дощатая мозаика, скупой калейдоскоп. Назвать такую работу образцовой невозможно, зато она была азартной.

Дед два-три года назад шпалы сюда сам привёз, но потом стремительно постарел, заболел, похудел. Теперь Петя один ворочал их: спешно нёс шпалу по тесной тропке между квёлых золотых шаров.

Соня стояла, застыв в ржаво-золотые шары, глухо одетая, вся под строй дождливой глубины – умбровая. Восхищённо следила за бегущим наперевес с умбровой шпалой Петром. Сонино стояние воодушевляло, родственная нежность. Нет, не родственная – отчуждающая умбровая нежность.

Восторг ветвей торопил в дом. Несёшь его в глазах, чтобы перелить в глаза домашних, потому что – через край. У человека душа, как рюмочка, чуть что – через край.

В доме сели за неизменный чай с вареньем. Заговорили за чаем конечно об астрологии. Были сумерки, лампочка в стеклянном закрытом абажуре слабая, Пенелопа Ивановна и Марина таинственно улыбались,



Соня таинственно бледнела сильно напудренным тонким лицом, дедушка померк, мешался с сумерками, словно держал пряжу. Чай в чашках отражал лаково.

– Мы с тобой, Соня, – Скорпионы, – ласково сказал Петя.

– Нет, ты не Скорпион, ты Стрелец.

– Как? Всегда был Скорпионом, жалил других, себя.

– Нет, в космосе всё изменилось. Теперь ты Стрелец.

– Неужели за мою мгновенную жизнь что-то может измениться в космосе?

– Не может. Но ты и родился Стрельцом. Я нашла тут твои детские рисунки: сплошные стрелы да копья, в сарае лежит твой лук и кривая стрела с гвоздём-наконечником. Ты ещё будешь спорить? Стрелец!

– Ты меня убиваешь. Мне надо было по-другому жить: по-другому чувствовать, думать, а я всё это делал, как Скорпион. Выходит, я теперь в тупике.

– Ты ещё совсем молодой, – осторожно обнадежила Соня.

– Нет, уже начались необратимые процессы. Ещё в школе, в начальной. Я проживаю не свою жизнь.

А к своей мне уже не вернуться! Намекали ведь, намекали мне сны об этом, и я просыпался в холодном поту, – кокетливо причитал Петя.

Соня не понимала, что Петя балагурит, она на него смотрела с упорным восторгом, с восторгом ветвей. Марина же смотрела с широкой блистательной улыбкой. Она понимала, что Петя балагурит, но лишь это и понимала, не понимала того, что он ещё искренне говорит.

– А вы, Марина, кто по гороскопу? – спросил Петя.

– Козерог, – ярко, настойчиво улыбалась Марина.

– Нет, это я Козерог, – сказал глухо дедушка.

– Какой же ты, пап, Козерог, когда ты Рыба? – укорила отца Соня.

– Мы с вами, Сергей Николаевич, рыбки! – празднично сверкнула глазами Пенелопа Ивановна.

– Да, Пенелопа Ивановна, – согласился, светло взметнув брови, дедушка, – мечем друг перед дружкой икру.

– Ладно, деда, – сказал Петя, – ты ведь действительно Рыба, оттого так рыбалку любишь.

– Да, вы, Сергей Николаич, – рыбак! – потрафила Пенелопа Ивановна.

– Пожалуй. Если я подсеку, у меня не сорвётся.

– Давно ли ты, Сережа, последний раз на рыбалке был? – улыбнулась не ему, а всем, Марина.

– Последний раз? – встревожено переспросил дедушка.

– Мы как раз собираемся, – солгал Петя. – Вот дожди отойдут...

– Да! Вот дожди отойдут!.. – загорелся дедушка, глянул на внука молниеносно и нежно.

Через полгода дед умер.

*

Подождали к воротам. Что были за ворота! С проходным сараем. Входишь сначала в полную темноту. Идёшь строго прямо, напариваешь дверь, выходишь уже в сад. Опять золотые шары.

– Опять двадцать пять, золотые шары, – заметил Петя.

– Ты их так быстро пересчитал? – весело спросила Лата.

И тут набежали, выбежали. Бабушка Сони Пенелопа Ивановна, сладкая и напудренная, как бeze, набежала ликующе и неудержимо. И – целовать, расцеловывать. Она всех и вся расцеловывала. Поджарая красавица Марина не кидалась, в своей манере она шикарно улыбалась.

Марина и Пенелопа стали плескать руками на Лату:

– Ой! Кто это такая красавица? Да откуда же у тебя, Петя, такая раскрасавица? Какая хорошенькая, ладная. А ножки, ножки. А ручки, так бы и съела... – млея зорко Пенелопа Ивановна.

Лата сильно смутилась.

– Это моя невеста, – вступился Петя.

– Да? И скоро свадьба? – заинтересовалась Марина.

– Скоро. Через год.

– Разве это скоро?

– Значит не скоро. Через год.

Соня смотрела на солнечную полноную Лату издали, от заднего кривого крыльца. «Что это там, путало, или Психея, завернутая в дерюгу? – подумал про неё Петя. – Что она – поклонилась или отвернулась?».

Родня быстро угомонилась, скрылась в доме. Петя имел такую особенность: самые говорливые при нём становились молчунами, словно разговор происходил под водой: и вверх тянет, и дышать нечем.

Петя остался в саду с Латой. Наедине с Латой ему прозрачнее дышалось. Он цепко взлетел с сумкой на яблоню. На вторую яблоню отяжелевшую сумку поднимать стало неудобно, Петя кидал яблоки сверху. Лата ловила, жалостно улыбалась, когда яблоко попадало не в руки, а в сныть.



Шли к станции. Петя взял Лату за руку, повлёк от дороги, в самую осоку, сохлую на корню и ещё яркую на просвет по длине. Лата ему принадлежала полностью, но это не помогало. Петя хотел смешаться с ней, быть с ней одним, при этом непрестанно наступать её. Лата то краснела, то вдруг бледнела, то жалостливо улыбалась. Но, жалостливо стиснув зубы, принимала нежную бурю, и сама неистовствовала, рвалась навстречу, хотя была уже здесь.

После, в вагоне, она остывала, бледнела, прикипевшие латунные волосы отсыхали от широкого лица. Худое, ввалившееся лицо Пети, наоборот, горело, порезанное осокой.

*

Вернулись весело, шумно, так всегда возвращались.

Но нынче Лата засобиравалась домой – маме обещала. Переделалась в своё. Макияж сошёл. Расцеловалась с Петей (хотя при всей нежной прыти она не умела целоваться, подставляла приоткрытые неподвижные губы). Ушла.

Петя прошёл на кухню, внимательно посмотрел на яркие пестрые яблоки, высыпавшиеся из сумки возле балконной двери. Некая пружинная сила выкинула его вслед за Латой.

Нагнал на полпути к метро. Она почувствовала, что он за ней бежит, обернулась издалека, стала ждать.

– Я чувствую, тебе нельзя сегодня уезжать.

– Но я обещала маме, она меня ждёт.

– Нет, нельзя. Что-нибудь случится, если ты уедешь.

– Не волнуйся, Петя, всё будет хорошо. Хочешь, я приеду завтра?

– Поверь мне. Я просто заклинаю тебя, не уезжай.

– Но как же мама, что я ей скажу?

– Так и скажи, так и скажи.

– Она подумает, что я свихнулась.

– Она подумает, что свихнулся я. Она и так думает, что я сумасшедший. Так что всё в порядке.

Лата нерешительно пошла назад. Опять остановилась.

– Тебе кажется. Мне надо ехать.

– Тебе не надо ехать! Ты же всегда мне верила! И сейчас поверь. Это не блажь, не прихоть. Я умоляю тебя. Я никогда тебя не умолял, сейчас умоляю.

– Ну хорошо. Я сама рада остаться.

Вернулись.

На рассвете они, не спавшие, свежие, легко лежали в постели возле большого окна.

– Вот, видишь, как хорошо всё. А ты вчера чего-то боялся.

– Хорошо, потому что ты осталась. Что-то не случилось.

САМОЗВАНЕЦ

– Иногда судьба вмешивается в жизнь. Иногда вот так вот: что хочешь, то и делай. В одной восточной легенде некий вдохновенный человек решил ни есть, ни пить, сесть у реки и ждать Высшей воли на свой счёт. Досиделся он до того, что оказался в замке прекрасной принцессы, а то и нескольких принцесс. Я знал людей, которые так вот сидели и ждали. Но что-то никто из них ничего хорошего не дождался. Может быть, они плохо ждали? Срывались, нарушали идеальность своего ожидания в последний момент, перед самым замком принцесс? Или жребий их был скорбный, и можно было не дожидаться его с таким нетерпением? А делать что-то вроде карьеры (не очень в этом разбираюсь), довольствоваться малым? Только вот малое, когда им довольствуешься, превращается в такое громоздкое, что его уже не проглотить: чашка на столе становится с дом, ковёр с просторную долину, за которой вершины подушек и кресел. И ты уже вдруг не гном, а великан, голову кладёшь на заснеженную вершину и моешь руки под водопадом. Об этом уже написал Джонатан Свифт, то есть о довольствовании малым. Вывод у него получился странным: надо любить лошадей. Но помимо пертурбаций субъективности и страсти к лошадям – есть ли что-нибудь? Помимо благодарного унижения, раболепного восторга, упрямой веры в светлое будущее, высказанной на историческом уровне опять же от нетерпения?.. Могу сказать тебе, что – есть. Это – что бы ты думал? Не знаешь? Это – подвиг. – Бормотал мне во время фуршета на ухой мой бывший приятель, полный идиот.

Странно, что он до сих пор жив с такими воззрениями. Все благородные люди, разделяющие их, давно отдали Богу душу. А этот живёт. Как ему не стыдно? Вроде бы он на радость знающим его начал спиваться. Пропал с глаз общественности. И жизнь без него стала похожа на сказку. О каком-то там нелепом подвиге перестали думать, потому что давно уяснили, что эти беспочвенные подвиги ни

к чему хорошему не ведут. Подвиг нужен на войне или на пожаре, во время чрезвычайной ситуации, если, например, прорвёт нефтяную вышку, или рыбаков надо спасти, потерпевших кораблекрушение... Но когда все рады, когда все радостно пьют шампанское и слушают мягкую музыку после заслуженной раздачи премий лучшим из лучших... Вот тогда никакой подвиг никому не нужен.

Но именно в такой момент, когда нам было хорошо, когда мы под живой джаз на нашем закрытом фуршете с чувством взаимоуважения, с лёгкой высокообразованной игривостью пили шампанское в мерцании струн, опять явился этот негодный человек и всем своим взъерошенным видом стал звать о подвиге.

Нет, он не вырвался на сцену, не кричал... Уж лучше бы вырвался, и занял своё заслуженное место буйнопомешанного. А он нет, он просто глумливо улыбался, шампанское почти не пил, давая нам уразуметь, что он вовсе не спился, как мы надеялись. Был свеж, молодежав, хоть и взъерошен. И главное, опять, как двадцать лет назад, всем своим взлохмаченным обликом намекал на подвиг, к которому он, мол, способен, а мы, обрюзгшие, поседевшие и польсевшие за эти годы, не способны.

Слава Богу ситуация быстро разъяснилась. Обнаружилось, что он в благородное общество проник под чужим именем.

На самом деле, его нет, на самом деле, он, конечно, и спился и погиб! Мы многое сделали для этого.

Когда он приходил к нам с верой в любовь, в праздник, приняли все необходимые меры для того, чтобы он погиб. Потому что мы знаем, – что у него за любовь и каков его праздник! Всех унижить и высмеять, всех довести до слёз. Униженные и высмеянные, мы должны превратиться в плачущих богов, глядящих на восходящее солнце. Вот его идеал. Позвольте: а шампанское, а джаз, а премии достойным? И что настанет потом, после этого слезливого преображения? Ничего хорошего! А за шампанским и джазом опять будет шампанское и джаз и, что самое приятное, за премиями достойным будут ещё премии им же. Вот мы и ухайдакали его ещё в юности, когда он пришёл к нам с глумливым призывом к преображению. Подобному субъекту и быть не должно в нашем лучшем из миров!..

Поэтому, конечно, он мог заявиться к нам только под чужим именем. Это выглядело так нехорошо...

Пришёл он: в немыслимом шарфе цвета мешковины, в чёрном мятом берете, и назвался очень серьёзным высокопоставленным именем. Девочка за ресепшном стояла неопытная, поверила, пропустила его. Потом наш сейшн посетил всамделишный высокопоставленный человек, истинный носитель того самого серьёзного имени. Девочка подбежала к лживому обороту, переспрашивает:

– Как вас зовут?

Он знай себе опять врёт!

– Но под этим именем пришёл ещё человек, – простодушно зывает к нему девушка.

– Как! – возмущается ничтожество. – Самозванец!? Ну-ка, покажите мне его!

– Мы склонны ему доверять, – уже твёрже отвечает наша девушка.

– Ну... – сдаётся пройдоха, – тогда запишите меня...

И называет женское имя. Представляете, до чего обнаглел.

Девушка шокирована. А этот хам идёт к исконному носителю имени и чокается с ним бокалом. Тот, конечно, человек воспитанный, виду не показывает, учтиво улыбается. А этот только резвится забавности ситуации, что, экий карнавал – истинный и мнимый, человек и его двойник пьют вместе весело шампанское. И то, что он тут незаконно, что его сюда не звали, что сам он из небытия, его вовсе не смущает. Ходит, здоровается с нами, как ни в чём не бывало.

Но – ничего. Он получит своё по своему мятому берету. Мы накажем и проинструктируем наших девушек. Хотя внешне и виду не подадим. А то, чего доброго, он возомнит из своего затхлого небытия, что и впрямь совершил подвиг, что мы позволили ему его совершить.

ХОЛОДНЫЙ БРЮТ

Он спятил, как и все. Все сумасшедшие. Он раньше таким не был. Он такой умный. Хотя своеобразный. Я ничего не помню, как у него было вчера. И завтра не буду помнить, что было сегодня. Но сейчас всё-таки постараюсь запомнить.

Мы только что расстались. Мы сидели возле Тургеневской библиотеки на лавочке перед бюстом Тургенева. Белокаменным бюстом, как выразился Николай. А за бюстом темнело окно. И Коля что-то такое умное сказал про это окно... Уже начинаю забывать.

Вообще, он вёл в библиотеке вечер, посвящённый Марлен Дитрих. Хороший получился вечер. Но я уже ничего не помню, как у меня обычно бывает. Мы, конечно, потом выпили несколько бутылок шампанского «Лев Голицынь». Он по акции в «Перекрестке» купил. Замечательный брют. Поэтому ничего нет удивительного, что я уже начинаю забывать. А мне ещё сегодня в гости, а он меня напоил. Ему в этом смысле я совершенно не могу противостоять.

Мы раньше работали вместе и часто вместе выпивали. И он всегда говорил что-нибудь необыкновенное, что-то такое, что меня просто потрясло, такие ценные, глубокие мысли. Я, правда, их потом сразу



забывала. Но он меня обнадеживал, что это ничего: главное помнить атмосферу мысли, а не её саму. Как сказать... Впрочем, может быть он прав. Главное – это праздничная атмосфера мысли, а не она сама. Мысли вянут как цветы, а праздничная атмосфера от них остаётся, как и от цветов. Недавно мне Коля на день рождения подарил букет таких восхитительных пламенеющих кустовых роз! Кажется, потуши свет, они в темноте не погаснут, осветят стол и лица людей за столом алым полутоном.

На другой день рождения года два назад он подарил мне ожерелье из пурпурного бархатного агата. Вот оно не увядает. А розы стали увядать сразу же. Мы сыпали в вазу снег с перил балкона, но они всё равно быстро завяли и быстро же засохли, словно от своего же алого пламени.

Мы с Колей друзья. Он помоложе лет на десять, но я с ним нахожу общий язык как с ровесником. Он мне и друг, и подруга, потому что я ему могу довериться.

Я ему жалуюсь на всех этих придурков, которые в отличие от него друзьями быть не хотят и требуют от меня какой-то любви. Какой любви? Идиоты. Придёт такой, мучает меня всю ночь, потом утром сам же спрашивает: «Что это было, Валь?». А я откуда знаю, что с ним было? Я знаю только, что этот придурок мне всю ночь спать не давал. Или ещё, делал у меня ремонт серб. И ведь даже ремонт не доделал, а спрашивает: «Ты меня любишь?». Болван. Приходит с пакетом дешёвого сока и спрашивает о любви. А другой звонит и говорит: «Прости! Я очень перед тобой виноват». Да в чём, думаю, ты виноват? Чего пристал? Хотя – трогательно... Но я так и не вспомнила, в чём он таком передо мной провинился.

Ненормальные все. Только один Коля нормальный. Правда, сегодня вот тоже... Я усомнилась в его нормальности.

Недавно я ушла из той библиотеки, в которой мы с Колей семь лет вместе проработали, и организую теперь мероприятия в других библиотеках. Но Коля так хорошо проводит вечера, так по-своему, что я пригласила его провести вечер Марлен Дитрих в Тургеневке. Вечер он провёл замечательно. Я, правда, мало что запомнила. Но помню, что замечательно. Помню атмосферу, как велел Коля. Потом, значит, шампанское по акции. Замечательный брют! Коля сказал, что теперь мы всегда будем его брать. Две бутылки мы выпили внутри. Потом вышли, сели на лавочку. Приморозило отвесно, по выражению Коли.

Так, теперь надо вспомнить, что же он мне говорил на лавочке... Нет, он всё-таки, как и все, сумасшедший. А был нормальный.

Он мне говорил, что я его Марлен Дитрих. Что Марлен не любила этого. Что она любила, когда без этого. Что слёзы двадцатого века так и остались не утёртыми... Белокаменные снежные облака... Белокаменный Тургенев. Глубина окна. Спереди белокаменный Тургенев, а позади в темноте окна прячется Достоевский. Не хватает фонаря между памятником и окном... А... Вспомнила. Коля ведь говорил, что он Дед Мороз. Что мы на этой самой лавочке летим в сторону звёзд. И стал мне рассказывать, какие бывают звёзды: голубые, красные, оранжевые, белые. И что они висят в космосе, как лампочки на еловых ветках. Мороз это счастье. Счастье это мороз. Чем сильнее мороз, тем сильнее счастье. В космосе голубой, красный, белый огонь звёзд приравнивается к морозу. Огонь и мороз становятся тождественны.

Он обнял меня по-отечески. А морозило действительно отвесно.

– Ты, маленькая Валя, – предупреждал Коля, – смотри, не забудь наш полёт. Ведь ты всё забываешь. Для тебя каждый праздник – первый, ты никогда не помнишь прошедшего праздника. Ты постоянно в предвосхищении. С тобой можно провести праздник дивно, тонко, полно. Но – наутро ты всё позабудешь. Всё единодушие, все общие мысли и восторги. Будешь растерянна и чуть лукаво моргать. Но в этом лукавстве нет никакого подвоха. Это кокетливое лукавство в счёт предстоящего праздника. Нового, единственного.

Я говорю:

– Коля...

Он же меня сурово прерывает:

– Я не Коля! Я дедушка Мороз! Ты, Валя, начинаешь жить, ты вступаешь в большую жизнь. Перед тобой все дороги открыты. То, что было раньше, это было неразумное и восторженное детство. Теперь же начинается взрослая жизнь. Ты пойдёшь в школу...

– Да? – спрашиваю я.

Как-то неловко было напоминать дедушке Морозу, что я уже два года как на пенсию вышла. А он не унимался.

– Впереди большая жизнь! – гудел он восторженно. – И я дарю тебе память. С этого новогоднего вечера ты будешь запоминать каждую минуту. Предупреждаю, это нелегко. Но во взрослой жизни, в которую ты вступаешь, это необходимо.

– Я хочу сюда Колю... Я не хочу дедушку Мороза, – потребовала я плаксиво. – Пусть вернётся Коля. Я тебя боюсь, дедушка Мороз.

– И правильно! – подхватил свихнувшийся Коля. – Раньше ты никого по-настоящему не боялась, раньше ты была легкомысленной. Но теперь дедушка Мороз подарил тебе память. А память сродни ужасу. Не – детской боязни, знакомой тебе, а ужасу.



– Нет, я не хочу, чтобы мне дарили память, если она сродни ужасу, – капризничала я, – я хочу приятных подарков. Как те бусы, которые ты мне подарил.

– Мало ли, что ты хочешь, Валечка! Я дарю тебе то, что тебе необходимо. Не забывай моих наставлений, храни мой подарок. Запомни наш полёт на сверкающей комете среди радостных разноцветных звёзд.

– Ты, Коля, такой же сумасшедший, как и все, – вздохнула я.

В вагоне метро, когда я опасливо выходила, он помахивал мне ладонью, как дедушка Мороз.

Он просто обижается, что я не запоминаю его мыслей. Но если бы я их запоминала, я бы стала от него шарахаться, как все остальные. Неужели он этого хочет? Неужели он не дорожит нашей дружбой? Неужели он хочет, чтобы, памятуя о его чудачествах, я сторонилась его? Да нет, он просто пошутил. И я опять начинаю всё забывать. И нас опять будет объединять самое прекрасное, что есть. Нас будет объединять предвосхищение.

MACIEJ FRONSKI
МАЧЕЙ ФРОНЬСКИЙ

в переводах Владимира Штокмана

BAJKA ZWIERZĘCA

W zatoce Tolo heca mała,
Mała lub duża – tak czy owak
Na apogona kardynała
Murena czai się wstążkowa.

„Czai się” – słowo ciut za duże,
Bo... mniejsza z tym, do tego zmierzam,
Że ona z jamki się wynurza
I go ujmuje jak z talerza.

Chociaż apogon doskonale
Zęby w mureniej widzi paszczy,
To się nie broni przed nią wcale,
Choć ta go sobie wnet przywłaszczy.

Tej sytuacji nie rozumiem,
Ale po dwakroć ona chora,
Bo brak moralu – chociaż w sumie
Po co dziś komu jakiś moral?

ZVERSKAJA SKAZKA

В заливе Толо вот что стало
(Такое здесь обыкновенно):
На апогона кардинала
Вовсю охотится мурена.

Мачей Фроньский родился 25.11.1973 года в Гливице, живёт в г. Бельско-Бяла. Поэт и переводчик, по образованию юрист, выпускник Ягеллонского университета. Как поэт дебютировал в 1994 году и является автором трёх сборников стихов – «Разведка Боем» (2006), «Поэзия морального спокойствия» (2008) и «Эффект холодной воды» (2016). Публиковался в литературных журналах в Польше и за рубежом, в таких, как «Arterie», «Lampa», «Literatura na Świecie», «Migotania», «Литературная газета», «Journal des Poètes» (Брюссель), «Poezija» (Загреб), в 2016 году стал лауреатом III конкурса Новой песни бродячих певцов. Его произведения переведены на русский, французский, чешский и хорватский языки, его переводы с итальянского вошли в антологию итальянской поэзии XIII века «До Петрарки» („Przed Petrarką”), а с русского – в книгу «Иван Бунин. Всё грустно верю в своё счастье» („Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...”). Песни на его стихи звучат на пластинках Михала Ланговского и Михала Ланушки. Кроме того, Мачей Фроньский является членом редколлегии «Фолькового журнала» („Pismo Folkowe”), а одна из его статей была награждена в конкурсе польских музыкальных критиков «KROPKA 2014». Участвовал в Международном литературном фестивале «Апостроф» в 2018 году, а в 2015 году его работы были представлены в Médiathèque Voyelles в Шарлевиль-Мезьер во Франции.



«Охотится» – слегка на вырост,
 Прошу следить, что дальше будет:
 Она из норки пасть открыла,
 А он пред нею как на блюде.

Хоть видит апогон прекрасно
 Ряды зубов в муреньей пасти,
 Он не пытается скрываться,
 А та уж рвёт его на части.

Я чрезвычайно озабочен:
 В картине этой пизанутой
 Нет никакой морали. Впрочем,
 Нынче на кой мораль кому-то?

MĘSKA PRZYGODA MUMINKA I WŁÓCZYKIJA

Przez śnieg, co sięgał im po pas
 Miejscami i po szyję,
 Wybrali się na szczyt przez las
 Muminek z Włóczykijem.

To dla faceta zwykła rzecz
 Ot tak wyruszyć w góry,
 Więc krok do przodu, nigdy wstecz,
 Przez pnie, przez lód, przez dziury!

Wytrwale brnęli przez ten śnieg,
 Aż się ziściło dzieło,
 Choć wiatr po twarzach wściekle siekł
 I zmierzchać się zaczęło.

Lecz co tam wiatr, lecz co tam mrok
 Co dziury i wykroty,
 Gdy ci dodaje sił co krok
 Partnera czuły dotyk?

Bo, choćby wszystko zniszczyć miał.
 Przyjaźni czas nie zmiecie
 I zdola bliskość bratnich ciał
 Wszelakie znieść zamiecie!

МУЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МУММИ ТРОЛЛЯ И СНУСМУМРИКА

В снегу по пояс, по кадык,
 Через леса и поле
 Отправились на горный пик
 Снусмумрик с Мумми Троллем.

Нет проще мужикам фигни
 Взять и податься в горы.
 Вперёд шагай, назад – ни-ни!
 По пням, по льдам, по норам.

Так в снежную стремились даль,
 Что совершилось дело,
 Хоть ветер лица им хлестал,
 И сильно вечерело.



Но что им ветер, что им мрак,
 Что им мороз и вьюга,
 Коль ободряет каждый шаг
 Прикосновенье друга?

И пусть бы бег времён хотел,
 Их уничтожить дружбу,
 Способна близость братских тел
 Снести любую стужу.

MAJOWE ŻALE

Czekając na autobus
 Myśl taką w głowie łowią:
 Czy jeszcze „słodki łobuz”
 Ktokolwiek o mnie powie?

Czy nazwie skandalistą?
 Poetą-sowizdrzałem?
 Zaklinam rzeczywistość,
 Bo sam się tak nazwałem.

Na rymy me ulomne
 Po prostu kupca nie ma,
 W tym się, raz będę skromny,
 Ten wyczerpuje temat.

To nie przypadek czyni,
 Że tak się mają sprawy –
 Nie proszą mnie do Gdyni,
 Nie proszą do Warszawy.

To nie przypadek sprawia,
 Że cisza trwa grobowa –
 Nie proszą do Wrocławia,
 Nie proszą do Krakowa.

Wiem, przyjdą inne maje,
 Lecz czy mój wszędzie talent?
 Autobus zaś przystaje
 I już go nie ma wcale.

МАЙСКИЕ СЕТОВАНИЯ

Автобус ожидая,
 Поймал себя на мысли –
 Услышу ль про себя я:
 «Проказник легкомысленный?»

Поэтом-бузотером,
 Поэтом-вертопрахом
 Я прослыву не скоро –
 Подумалось со страхом.

Для рифм моих убогих
 Читателей не сыщешь,
 Таких как я, ей-богу,
 Скромняг – один на тыщу.



Чему ж тут удивляться:
Никто не приглашает
Меня на презентации
Ни в Гдыню, ни в Варшаву.

Когда тебе не рады,
Что делать остаётся? –
Не приглашают, гады,
Ни в Краков, ни во Вроцлав.

Другие будут май,
Но ждать ли мне успеха?
Автобус подъезжает.
И вот уже отъехал.

SPISEK MIERNOT

Już miałbym fanów rzeszę wierną,
Co by chłonęła moje dzieła,
Lecz się zawiązał spisek miernot
I sława ze mną się minęła.

Nie dla mnie zatem są splendory,
Nie mnie nadymać pychy balon,
Nikt mnie, przynajmniej do tej pory,
Na żaden nie chciał prosić salon.

Nie dla mnie kawka, podwieczorek,
Ten snobistyczny zestaw wszystek,
Szept zasuszonych profesorek,
Podziw wpływowych feministek.

СГОВОР БЕЗДАРЕЙ

И я имел бы фанов свору,
Чтоб всё моё читать хотела,
Но бездари вступили в сговор,
И слава мимо пролетела.

Не для меня теперь поклоны,
Не мне надуть пузырь гордыни,
Ни на фуршеты, ни в салоны
Не пригласят меня отныне.

Не для меня сей сладкий опыт
И этот весь набор снобистский –
Профессорш удивлённый шепот,
Восторг известной феминистки.

MŁODY OKUDŹAWA

Okudźawa też musiał być młody i włosy mieć czarne.
I z pewnością górował nad ludźmi w kolejce po chleb,
A gdy ruszał się w tańcu, te ruchy nie były niezdarne –
Za to jedno bym chyba pozwolił się skrócić o leb.



Przed trzydziestką więc w sercu gorący był pewnie jak lava
 Jak krwi strumień, co padł na odświętną koszulę, nim skrzepł
 I cenili go starsi, cmokali: „Ach, ten Okudżawa!” –
 Za to jedno bym chyba pozwolił się skrócić o leb.

Okudżawa, powiadam, naprawdę nie zawsze był lisy
 I w kontaktach z plcią piękną nie można rzec o nim, że kiep,
 Śmiało w oczy spoglądał dziewczętom, gdy szedł przez Tbilisi –
 Za to jedno bym chyba pozwolił się skrócić o leb.

Temu, jak go widzimy, jest winny ten dowcip pieroński
 Ze nikt zdjęć mu nie robił, gdy z wojskiem przechodził przez step,
 Będzie wiedział coś o tym też Krzysiek... o, ten... Ciemnołoński –
 Za to jedno bym chyba pozwolił się skrócić o leb.

МОЛОДОЙ ОКУДЖАВА

Окуджава ведь был молодым, с шевелюрою чёрной,
 И в пивной над толпой возвышался как грач на суку,
 А когда шёл он в пляс, было видно – танцор он прожжённый.
 Вот за это одно я, пожалуй, бы дал отрубить мне башку.

До тридцатника сердце его пламенело как лава,
 Как горячая кровь, что струится из раны в боку.
 И ценили его старики: «Ох уж тот Окуджава!».
 Вот за это одно я, пожалуй, бы дал отрубить мне башку.

Окуджава, я вам говорю, не всегда же был лысый,
 И прекрасного пола немало имел на своём он веку.
 Смело в очи девчонкам смотрел он, идя по Тбилиси.
 Вот за это одно я, пожалуй, бы дал отрубить мне башку.

В том, как видим его, виноват недосмотр идиотский,
 Что никто ему фоток не делал на полном скаку,
 Что-то знает об этом наш Кшиштоф... ну, тот... Чемнолоньский* –
 Вот за это одно я, пожалуй, бы дал отрубить мне башку.

* Кшиштоф Нодар Чемнолоньский – польский поэт, диджей, музыкальный критик и путешественник грузинского происхождения, организатор экскурсий в Грузию, Армению и Азербайджан.

АТРАПА

Świat, na który patrzę, jest światem z tektury,
 Za ścianą zieleni nic się nie ukrywa,
 Stalowa konstrukcja podtrzymuje góry,
 Trawę można pięknie zrolować jak dywan.

Domy na ulicy to tylko fasady,
 W ich oknach i bramach nie ma żadnej głębi,
 Cień jest na pilota, na żeton – opady,
 Po niebie latają modele gołębi.

Trafi się awaria prądu – słońce zgaśnie,
 Gdy zakręcić rzeki – wnet się cofnie morze...
 Świat, na który patrzę, to atrapa. Właśnie –
 Dlaczego stworzyłeś świat atrapa, Boże?



БУТАФОРΙΑ

Мир, который вижу – это мир картонный,
За бумажной зеленью бумажный небосклон,
Горы – то конструкции из железобетона,
А газон, как коврик, легко скатать в рулон.

Здания на улице – только лишь фасады,
В окнах глубины не сыщешь, хоть убей.
Пультom тень включается, монеткою – осадки,
В небесах летают макеты голубей.

Отключишь электричество – солнце гаснет тоже,
Кран реки закрутишь – высохнут моря...
Мир, который вижу – мир картонный. Боже,
Эту бутафорию сотворил ты зря!

НАТАЛЬЯ СТЕРКИНА

ПОСЛАНЦЫ БУДУЩЕЙ ЗИМЫ

рассказ

– Замороженные медузы! Замороженные медузы! – радостно верещали дети.

Взрослые подсчитывали убытки: разбитая теплица, покалеченные растения, разбившийся вдребезги цветной подвесной фонарь...

Последствия града остались, а хрустальные игрушки растаяли на глазах. Маленький Илья заплакал, когда подаренный бабушкой гладкий холодный шарик стал уменьшаться и превратился в лужицу. Мокрые ладошки вытерла жёстким платком сердитая нянька.

Бабушка, стоя в сторонке, рассматривала крупную бусину, лежащую на огромном лопухе, все лопухи, вымахавшие в это аномальное лето, срубили, а один по её просьбе оставили.

«Чудачка, – шипела недовольная нянька, – и ребёнка чудачествам учит».

Влюблённые, которых град застал по дороге к станции, сочили себя обласканными судьбой и на радостях заказали в привокзальном буфете шампанского со льдом и выпили друг за друга, решив не расставаться вовеки.

Куры, попрытавшиеся было от внезапно посыпавшегося слишком крупного зерна, с любопытством разглядывали жёсткие кругляшки.

Студент третьего курса журфака заснял ледяной дождь на видео и отправил знакомому на телевидение.

Вечером в новостях показали дачный поселок Пёрышкино, на который обрушился невиданный град. Разбитый фонарь, сбитые головки цветов, крупные блестящие ледышки...

Бабушка и нянька, уложив маленького Илюшу, сидели рядом перед экраном.

Нянька по телефону отдавала приказание сыну: «Включай немедленно! Нас показывают – у нас невиданное! Отличились! Успел? Увидел? То-то. А говорил, зачем у чужих, когда свои... Затем, что тут и деньги, тут и честь...».

Бабушка смотрела на снятые с разных ракурсов ледяные фигурки и вспоминала, сколько чудес ей довелось повидать. Шаровая молния – это раз, тройная радуга – это два... Упавшие ей под ноги градины – это посланцы будущей зимы, зимы, которую она с нетерпением ждёт, потому что в декабре вернётся из жаркой страны тот, кто ещё ни разу не видел Илюшу. Его возвращение станет третьим чудом...

Нянька, поднявшись с дивана, аккуратно собрав шелуху от семечек, миролюбиво сказала:

«Спокойной ночи, Лина Борисовна, пусть ваша дочка Аня не расстраивается – мой Вовка придет, стекло разбитое заменит. Всё же, смотрите, славы удостоились. Илюше будет, что вспомнить, чем перед другими детьми похвастаться, как в сад пойдёт».

Бабушка улыбнулась и, зайдя в свою комнату, перечеркнула тонкими линиями 23 число. Ещё один июльский день прошёл...

Подумав, она поставила большой восклицательный знак.

ТЕРМОМЕТР

рассказ

– Я – градусник, я – термометр, – заходится сумасшедший в больничном саду.

Маленький мальчик смотрит на него из окна сестринской.

Нервно, резко кричит павлин – пленник больничного зоосада.

Женщине в марлевой вуали нравится птица, и, притопывая ногами, начинает больная ей подражать.

В глазок за этой сценой наблюдает палатный врач.

В мансарде мать мальчика стоит обнажённая перед слепым подростком, он изучает её тело, слегка прикасаясь.

На низенькой скамейке сидит художник и делает наброски.

Депрессивный из подросткового и художник – одна семья. Отец и сын.

Мальчик думает о градуснике: кто его придумал? Он ходит по сестринской, заглядывает в шкафы и ящики: початая бутылка водки, бутерброды в целлофане, половина шоколадки, скрученные бинты, зарядка для телефона. Градусники! «Букет из сосулек», – думает мальчик, вынимая один из обмотанной пластырем банки.

Мальчик прикладывает градусник ко лбу, к щеке, потом засовывает под мышку. Почему полагается именно под мышку? Мальчик силится представить себе человека, который когда-то догадался, какая температура нормальная, а потом загнал ртуть в стеклянную трубку.

А больной уже не кричит. Что с ним сделали?

На лавочке сидит необъятных размеров женщина в белом халате, под мышкой у неё прячется человек-градусник.

Женщина безмятежна, больной спокоен. Но что будет, когда она его вынет?

Мальчику хочется, чтобы кто-нибудь пришёл, ему надоело сидеть одному.

Взмах рукой – и градусник летит на пол. Раскололся! Шарики ртути рассыпались по полу, страшные блестящие шарики. Этой ртути все боятся: и мама, и воспитательница в саду. Почему? Мальчик всхлипывает, пытается осторожно собрать стекла, не касаясь ртути.

Женщина, откинув вуаль, радостной улыбкой встречает входящего в палату врача.

– В тот день мы ходили на лекцию. Понимаете, нам показывали слайды: мраморные женщины под вуалью. Скульптуры. Я тогда догадалась – всё самое красивое на свете делают гении. Только гении! А простым и не надо пытаться. Понимаете, мы давно живём с мужем, ну, как женщина и мужчина. И всё хорошо у нас – просто, обычно. И ничего другого, наверное, нам и не надо. А вот тогда, ну, после лекции... Метель была сильная – конец января. И молния! Когда мы к подъезду подходили. Мы все вспоминали про этих женщин... И вот ночью... Ну, когда легли... Случилось. Вот я читала в Библии или Евангелии, не помню, что кто-то был «восхищен». Не на *o* ударение, а на *и*. Взяли того на небо и показали такое, что обычный человек выдержать не может. Прекрасное. Понимаете? Это можно только гениям и святым. А я простая. Я не знаю, как это произошло. Муж... Это муж как-то...

– Не волнуйтесь, не плачьте. Если трудно вспоминать – не надо.

– Не трудно. Вспоминать не трудно – рассказать невозможно. Стыдно словом касаться. В общем, не смогла я после этого с ним. Понимаете? Неловко как-то... Ведь не по чину дали. Не могла мужу в глаза смотреть. Вот и вспомнила про вуаль... Те женщины, может, были гениальными, и взгляд у них был особенный... И вот, чтобы не смущать, прикрыл им лицо скульптор. Понимаете?

– Уточню – вам показалось, что взгляд ваш теперь...

– Ну да! Да! Но нескромно об этот говорить...

– Ну хорошо. А зачем вы кричали, как павлин?

– Он красивый, странный. Особенный... Его гений придумал. Он что-то чувствовал, видел.

Я не специально кричала, мне кричалось.

– Ну-ну-ну... Давайте вернёмся немного назад. И что вы стали делать, когда надели вуаль?

– Ничего. Как раз совсем ничего. С мужем не говорила. Ни с кем не говорила.

– А вы знаете, где сейчас находитесь?

– В больнице. Меня муж привёз. И правильно сделал – я поломана. Не могу больше быть простой, доброй. Я же не гений, не святая... Я просто голодная, вечно ждущая чего-то... Знаю, что не нужно мне давать, а жду, хочу... Мне не надо теперь с людьми жить. А с мужем просто ни за что нельзя. Вы понимаете?

– А он ведь вас любит...

– Не надо так говорить... Нельзя.

– Он уехал далеко. В монастырь. Говорит, выбрал скуфью не по призванию, а от безысходности.

От отчаянья.

– Ну, значит, так тому и быть – я сюда, он – туда. Знаете, что я вам по секрету скажу? Мне кажется, он тоже тогда увидел. И тоже испугался...

– Вы вот с людьми не хотите... А я ведь тоже человек. Врач – это только профессия.

– Не снимайте халат! Что вы делаете? Я с профессией и говорю! А вы мне не нужны!

Успокоил врач большую, отправился к себе в кабинет продолжать статью – такой случай интересный. Проходя мимо сестринской, услышал тихий плач.

– Ты что здесь делаешь?

– Маму жду. Она меня привела и работает.

– А плачешь-то почему? Соскучился?

– Вот. Ртуть. Градусник разбил... А вы знаете, как он измеряет? Почему именно ртуть?

– Попозже, малыш, попозже, а пока пойдём ко мне. От греха подальше. А сюда специалистов вызовем.

И всё будет хорошо. Отличненько будет.

Мама мальчика одевается за спиной. Художник что-то втолковывает сыну, перебирая работы. Старые часы бьют два раза.



Больной подросток завязывает и развязывает пояс на халате. Ему понравилась тактильная терапия.

Мама мальчика, подкрасив губы, бежит в сестринскую и попадает в объятия дородной сестры– хозяйки.

– Ты что ж своего одного бросила? Он градусник расколотил. Сейчас эта – дезинфекция или, как её, явится. Платить придётся!

– Как платить? За что платить? А сын мой где? Мальчик где?

– Мальчик где... Спихватилась. Нечего оставлять. За что платить? За вызов, работу... Больница что ли, за твоего должна?

– Да пустите, пустите! Отравился он, да? А деньги – вот, берите, берите... Да где он?

– Да что ты блажишь-то? Забери гроши свои. Поучить хотела... Из воспитательных я, это, соображений. У дежурного врача он. Ишь, распахнулась – впору саму класть.

Мама мальчика вбегает в кабинет. Мальчик держит в руке термометр.

– Положи! Положи немедленно! Нельзя на минуту оставить! Простите его... Нас...

– Мам, ты чего? Тебя долго не было. А он мне рассказывает...

– А ну прекратите истерику! Что вы ребёнка пугаете?

– Но ведь ртуть!

– Что ртуть? Сейчас приедут, всё сделают.

Мама мальчика начинает рыдать ещё громче, но теперь уже как-то по-детски, с облегчением. Мальчик гладит её по голове, успокаивая.

Врач, присмотревшись к ним, что-то быстро записывает в тетрадь.

– Ну, ты понял, малыш, что это было гениальное прозрение! Ему открылось, как это работает. Вот бывает, живёшь, живёшь, и вдруг – молния, миг – и ты гений!

Врач выглядит забавно – халат застёгнут криво, рука с термометром воздета над головой.

Мама с мальчиком, взявшись за руки, входят в больничный буфет.

Сестра-хозяйка приветственно машет ей. Мать мальчика вежливо кивает, но усаживает сына за столик подалеже от всех.

– Мам, я всё понял про ртуть. Но кто такой гений?

– Не знаю, сынок... Про некоторых так говорят, очень известных, про Пушкина вот... Я не встречала... Да какая разница, главное, всё обошлось.

– Нет, это интересно. Я вырасту – встречу. Обязательно. Или даже стану.

– Станешь, станешь, сынок. Обязательно. Ешь! И обещай, что никогда больше, никогда в руки градусник не возьмёшь! Я чуть с ума не сошла!

Женщина, сняв с лица застиранную марлю, всматривается в своё отражение в оконном стекле.

Больной мужчина, крепко привязанный ремнями к кровати, тихо шепчет: «Осторожнее, не разбейте. Не разбейте меня».

В глазок за ним наблюдает врач.

Сестра-хозяйка, попивая чай в каптёрке, говорит зашедшей на огонек нянечке:

– Главный после сегодняшнего велел все ртутные списать. Электрические будут. Прогресс!

Нянечка машет рукой, один хрен – что ртуть, что не ртуть. Во, рука моя, надёжней нету. Жар есть – болен. Нет – здоров. Гуляй!

– Это психическим-то ?

– А им, думаю, чем выше, тем лучше. Другой мир – другие законы, нам неведомые.

– Что да, то да. Есть тут один, да ты знаешь, «градусник». Вот что ему мерещится?

– И вникать не хочу! Моё дело полы мыть. Вот, кстати, и пора. Спасибо за чаёк.

Сестра-хозяйка выглядывает в окно – дежурный врач стоит возле павлина и что-то говорит ему, размахивая руками.

Сестра-хозяйка, покачав головой, принимается считать застиранные наволочки с расплывшимся больничным штампом, стараясь ни о чём не думать, ни о чём не думать.

ФЛЮГЕР И ЮЛА

рассказ

«А я так её любил... Она бросила меня...». Речь его монотонна. Как вращается юла, издавая однообразные звуки, так крутится он вокруг одного и того же... «Она бросила меня, а я так её любил...».

Я смотрел тогда на жасмин, следил за планированием лепестков. Аккуратно ложились они по краям садовой дорожки, я же чертил машинально линии на листке, заштриховывал белое пространство... Руки мои беспокройны, я одинаково владею правой и левой – занимаю их, чтобы успокоиться...

На соседнем участке девочка из маленькой лейки поливала цветы, пахло свежей землей. Жасмин отцветал, и почему-то его запах не был так силен, чтобы перебить запах его сигарет, а вот влажная земля сумела.

Никто не прервал его монолога, ни сосед, ни почтальон, ни я сам. Я смотрел на жасмин, чертил и

чертил. Я его зять. Зять хозяина детского парка аттракционов, хозяина и работника в одном лице. Он сам включает карусели: небольшое «чёртово колесо». Бегут вагончики, а моя жена, его дочка, продаёт билеты. Белокурая куколка с румяными щёчками... Я нежно привязан к ней.

Узнав о том, что он придет, она упорхнула в город. Я не возражал, я не люблю возражать жене.

А этот человек... Чего он только про себя не рассказывал! Учился в Дублине. Вопрос, на кого? Что закончил? Да ничего, просто учился... Был охранником у английского певца, звезды мелкого калибра. И в Париже работал на аттракционах. Кто его туда взял, как туда попал? Неведомо. А татуировки на его пальцах, кажется, говорят о другом...

И вот его монолог... «А я так её любил»... Уже несколько пепельниц я опорожнил, отбросил в сторону с десяток исчерканных листков, когда он произнёс:

– Я должен её убить, и ты поможешь мне!

Я ждал, я ждал этого момента, когда он выведет меня из себя! И с наслаждением вытолкал его за калитку, его плечи были засыпаны лепестками жасмина, он упирался, я зачем-то отряхивал его, но шипел, чтобы он не смел здесь появляться, не думал даже звонить моей жене, что она не будет больше работать на его чёртовой площадке, крутить его чёртово колесо...

Он исчез с горизонта...

А появился он два года назад, позвонил дочери. Встретились. Она пришла домой со странной кривой улыбкой на кукольном личике. Попросила водки. Я налил. Выпила. Ещё. Изволь. Наконец выпалила: «Пират какой-то! Я же его совсем не знала...».

Её мать, моя тёща, живёт в счастливом браке на хуторе в Латвии. Мы там бываем. Моей жене нравятся цыплята, щенки и гуси. У нас нет детей... Нам не надо... Точнее, мы побаиваемся их заводить. Природу мы любим, поэтому у нас есть дача. Тёща иногда наведывается к нам, я ей всегда рад, с женой моей они ладят...

Но этот тип... Предложил жене моей работать с ним. Я не был против – всего-то два-три часа в день. Среди детей ей весело, а на качелях качаться она обожает, я люблю в ней её детскость, люблю, когда она раскачивается, взлетает высоко-высоко, визжит... Потом у неё кружится головка, я отпаиваю её прохладной водой...

Её отец не вызвал у меня доверия... Да точно ли он отец? Спросил тещу. Сказала, что сбежала от него, когда дочке было два года, и больше о нём ничего не слышала, да и не желала слышать. Нахлебалась. Чего нахлебалась? Не спрашивай! Как, не спросив, узнать? Вот и терялся в догадках.

Он привёл к нам свою подружку. Худая, бледная, в веснушках.

– Люблю так, как никого в жизни!

А потом – «она бросила меня», «я должен её убить»... Он вымотал меня!

Я выгнал его, и, казалось, на этом всё – он исчез с горизонта. Мы успокоились, съездили к теще, подробности разрыва утаили, впрочем, вряд ли ей это было бы интересно.

Но вот вчера он позвонил мне. Просит о встрече.

И я готов. Я, кажется, соскучился по нему, и, как флюгер, готов крутиться на ветру его рассказней, пряных авантюр.

Моя куколка-жена, моя послушная жена, пышная юбочка, кажется, ты юлой будешь крутиться на зеркале жизни...

Ты не знала, что я такой? Я и сам не знал! Но теперь уже ничего не поделаешь...

И что он там ещё затевает?

Но я готов. На всё готов. И ты, радость моя, отправишься вслед за мной чёрт знает куда...

Хотя, может быть, он всего лишь хочет занять у меня денег...

ИРИНА СИЛЕЦКАЯ

ВИВИАНКИНЫ СКАЗКИ

*Посвящается моей первой вучке
Вивиане Элеоноре Маатъес-Силецкой*

БАНТИК

Бантик был очень горд собой. Он сидел на макушке головы чудесной девочки, и ему казалось, что он был центром внимания. Конечно, ведь все прохожие говорили:

– Какая красивая девочка! А какой у тебя красивый бантик!

Да, девочка ему тоже очень нравилась, особенно её каштановые кудри, за которые он так ловко был завязан мамой девочки. Он уже знал, что девочку зовут Вивианой. «Какое необычное и интересное имя», – думал он, покачиваясь, как всадник в седле, при каждом движении девочки. «Вот будь я один, кто бы меня заметил? А так все смотрят на мою чудо-девочку, а потом видят и меня», – рассуждал он и стал вспоминать, когда он впервые познакомился с Вивианой и её мамой Алиной.

Было это неделю назад. И был он тогда совсем не бантиком, а белой, с блестящей сатиновой полосой по краю, лентой на большой катушке, которая висела в магазине среди таких же катушек с разноцветными лентами. Мимо витрины с лентами каждый день проходило множество людей. Чаще останавливались мамы или бабушки с девочками. Деловито прощупывали ткань, отматывали кусок, прикладывали к локвам своих детишек и велили продавцу:

– Мне, пожалуйста, один метр вот этой ленты!

Наш бантик каждый раз замирал от страха, кому же его отрежут, куда его отнесут, а понравится ли ему жить в чьём-то доме? Это ведь не шутка – переезд... Брала в основном яркие цвета: красный, розовый, синий. Особенно розовый. «Почему девочкам обязательно покупают всё розовое? Цвет хороший, несомненно, но тогда все девочки становятся одинаковыми! Вот моя девочка выберет именно меня, и я буду жить в её доме», – мечтал бантик.

И вот утром он проснулся от разговора мамы с дочкой.

– Смотри, доченька, какая тебе лента больше нравится?

Бантик замер в предчувствии скорого счастья. Он впервые видел, что мама предложила дочке самой выбрать ленту, и девочка ему очень понравилась. «Меня возьми, меня! Я буду тебя украшать лучше всех! Мы с тобой подружимся!» – кричал бантик. Или подул ветер, или бантик изловчился, но шёлково прощурив, он оказался прямо у плеча девочки.

– Мамочка, вот этот! Смотри, какой он нарядный, беленький, полоска какая блестящая! И он сам меня нашёл! – обрадовалась девочка.

– Хорошо, Вивианочка, берём! – ответила мама.

Бантик торжествовал! Он лежал в пакетике в сумке у мамы, и его несли домой. Дома мама Алина сделала его настоящим бантиком, пышным, круглым и прекрасным. А сегодня они впервые с Вивианкой вышли на прогулку, и бантик был очень горд собой. Ещё бы, какая ответственная у него работа.

«Я украшаю такую чудесную девочку. Я должен всюду за ней поспевать, вот как она резвится! Я защищаю её головку от солнца! Я удерживаю её волосы в причёске! Я, я, я... Я очень люблю мою хозяйку и всё готов для неё сделать!» – философствовал Бантик.

Вивианка отвечала ему взаимностью. Ей он тоже нравился, и она берегла его. После прогулки она аккуратно складывала его в шкаф на полочку. «Иди-ка ты в свою кроватку», – смеялась она.

Но вот однажды, в ветреную ненастную погоду, распахнулось окно, и ветер ворвался в комнату, зашелестел страницами книг, потрепал край покрывала, забрался в открытую дверцу шкафа, подхватил бантик и вместе с ним вылетел в окно. «Ах, куда же я лечу? Как же я найду дорогу домой? Как теперь без меня моя Вивианочка? Что со мной будет?» – сокрушался Бантик, а ветер нёс его всё дальше и дальше от дома. Красиво завязанный мамой Алиной, теперь он растрепался и стал опять белой лентой.

Он так расстроился и устал, что закрыл глаза и уснул, отдавшись во власть ветру. А ветер тоже устал, утих, и Бантик медленно опустился во двор какого-то дома. Там он пролежал всю ночь, а утром его нашла женщина и обрадовалась:

– Какая прекрасная ленточка, отнесу-ка я её на работу, может, на что и сгодится.

А в это время Вивианка искала Бантик сначала в своей комнате, потом во всей квартире, потом пошла во двор, на улицу – нигде Бантика не было. Девочка загрустила... Мама Алина предложила:

– Давай купим другой, такой же красивый! Вивианочка грустно вздохнула:

– Такого уже не будет, он был такой единственный, я буду его искать.

Прошёл месяц. Жизнь Бантика как-то наладилась. Напедшая его женщина оказалась дрессировщицей в цирке. Она дрессировала лошадей и маленьких пони. В одном из цирковых номеров по манежу бежали пони в серебристых попонках, а обезьянка запрыгивала им на спины, изображая всадницу. Вот на одной из таких попонок и нашёл себе место наш Бантик. Дрессировщица искусно прикрепила его и сказала:

– Этот бантик чудесно украсит наш номер!

Да, Бантику это было приятно, украшать собой манеж. Каждый вечер под бравурную музыку циркового оркестра, в сиянии софитов, под гром рукоплесканий Бантик выходил на манеж и чувствовал себя частью этого шоу, этого праздника для детей и взрослых. Вместе с артистами он принимал аплодисменты публики, радовался успеху, но... Он грустил, он скучал по своей Вивианке и искал, искал на трибунах её милое личико...

Наступил Новый Год. Работы стало так много, что Бантик не успевал отдышаться. Представления в цирке шли уже трижды в день, и все билеты были проданы на месяц вперёд. Что делать, праздники! Как всегда, он вышел на манеж вместе с маленькой белой пони в серебристой попонке и они понеслись по кругу. Представление шло, как всегда, хорошо, зал рукоплескал, и вдруг среди шума музыки, восторженных криков детей Бантик услышал: «Мама, мама, смотри! Да это же мой Бантик! Я его узнала! Вот он, на этой белой лошадке!».

Бантик не мог ошибиться, это был голос его Вивианки! Он рванулся к ней что есть сил, развязался и... белая лошадка споткнулась и остановилась. Зал замер и затих. И в этой тишине ещё громче прозвучал голос Вивианки:

– Мамочка, этой мой бантик! Я нашла его! Вот на той белой лошадке!

Дрессировщица посмотрела на девочку в первом ряду, на развязанный бантик, подошла к пони, открепила бантик и протянула девочке:

– Конечно, этой твой бантик. Он тебя долго ждал. И я тоже надеялась, что вы встретитесь.

Вивианочка прижала его к себе:

– Спасибо!

Бантик вернулся домой, мама Алина его постирала, погладила, завязала опять в пышный бант, и потекла его жизнь по-прежнему. Иногда ему снился манеж, музыка, аплодисменты, но он ни за что бы не променял на это свою дружбу с девочкой. Счастливым Бантик опять красовался на каштановых кудрях Вивианочки и все прохожие говорили:

– Какая красивая девочка! А какой у тебя красивый бантик!

ПАУЧОК

У мамы-паучихи подрастали детки – маленькие паучата. Каждое утро мама сажала паучат на стульчики и учила их всему, что им пригодится в жизни. А учиться было чему: как прятаться и убежать от птиц, как искать себе норку, как уберечься от палящего солнца и свистящего ветра, и самое главное – как плести паутину, ведь паутина и есть главный дом для каждого уважающего себя паука.

– Сначала вы должны выпучить животики и выпустить из них паутинку. Смотрите внимательно, чтобы ветер её не запутал. Выберите укромное местечко и прикрепите паутинку к удобной веточке, потом протяните её по вертикали, потом по горизонтали, потом соедините солнышком, а потом продолжайте ткать и соединяйте нити в красивое наше фирменное паучье плетение. Когда паутина будет готова, в центре её прикрепите сигнальную нить, которая укажет вам, когда в вашу паутину попадётся муха, – учила паучат мама.

– А потом эту Муху пойдём выпускать? – поинтересовался маленький Паучок.

Его братья и сёстры засмеялись:

– Нет, муха будет нам на завтрак.

– Как на завтрак? – испугался Паучок, я не хочу есть муху, я могу попить сок из растений, это вкусно и питательно, а с мухой можно играть.

– Ты не такой, как все, – заключила паучиха-мать, – я тебя всему научу, но как жить дальше, ты решаешь сам, настаивать на своих правилах я не стану.

И Паучок решил жить по-другому, не ловить мух и комаров, а вить из паутины качели и батуты, горки и карусели и приглашать всех насекомых в гости кататься и веселиться. Каждое утро он начинал ра-



боту – ткал паутину и придумывал новые и новые аттракционы. Вечером он так уставал, что еле доползал к своему гнёздышку, но утром пил свой любимый сок из стебельков травы и вновь брался за работу.

Когда качелей набралось достаточное количество, Паучок написал на листочке объявление, что здесь открывается Паучий Диснейленд и все желающие могут бесплатно кататься на всех каруселях. Он сидел у входа и ждал гостей, но никто не приходил. Ему насекомые не поверили... Все хорошо знали, что паучки заманивают к себе в сети букашек, а потом их опутывают нитями и больше не отпускают. Как они могли поверить, что наш паучок совсем другой?

И начал Паучок доказывать всем, что он добрый и желает всем букашкам-таракашкам только добра. Он помогал муравьям носить веточки, пчёлам собирать нектар, бабочкам пеленать коконы, пока все не увидели, что Паучок добрый и милый.

Однажды Паучок сидел у своего паучьего Диснейленда и тоскливо смотрел вдаль. Вокруг царил тишина. И вдруг он услышал, как закрипели паутинки на качелях и те взмыли ввысь!

– Привет, Паучок! А мы пришли к тебе в гости и принесли варенье! – запуршали крыльями бабочки, взлетая на паучьих качелях вверх.

– Привет, Паучок! И мы к тебе в гости с мороженым! – зажуужали пчёлы и унеслись в туннель на американских горках.

– Привет, Паучок! Мы пришли к тебе покататься и принесли конфеты! – запищали муравьишки и закружились на каруселях.

– Как я всем вам рад! Как я вас давно жду! – обрадовался Паучок.

А вечером уставшие и счастливые Паучок и его новые друзья пили чай с конфетами, вареньем и мороженым и обсуждали так счастливо прожитый день.

КАПЕЛЬКА И МОРЕ

Однажды летом пошёл тёплый мягкий дождик. Он увлажнил землю, траву и многочисленные листья на деревьях и кустарниках. Красивые круглые капли дождя сверкали и переливались всеми цветами радуги, казалось, что вся листва покрыта бриллиантами. Подул ветер, и одна из капелек мелко задрожала, вытянулась и скатилась по листочку вниз, упала на следующий листок, опять покатила и принялась, как на качелях, прыгать с листочка на листок. Капелька так долго прыгала, что её маленькое круглое тельце вытянулось, и появились маленькие прозрачные ручки и ножки, головка с глазками и улыбающийся ротик.

– Теперь я живая! – засмеялась Капелька и запела:

День-день, день-день,

Завтра будет новый день!

Завтра я начну опять

Бегать, прыгать и плясать!

Внизу между стебельками ромашки паучок плёл паутину.

– Можно мне попрыгать на Вашей паутине? – спросила Капелька.

– Конечно, малышка! – ответил паучок.

Капелька подпрыгнула и упала на упругие паутинки, подпрыгнула ещё раз и ещё раз, ей было весело. Как на батуте, она прыгала всё выше и выше и, наконец, оказалась на небе. Сначала она испугалась такой высоты, но тут увидела проплывающую мимо лёгкую белую тучку и мягко приземлилась на неё.

– Как здорово! Мне так мягко сидеть, и отсюда всё видно! – обрадовалась Капелька. А внизу проплывали деревни и поля, леса и луга.

– Привет-привет! – Капелька махала прозрачной ручкой коровам, пасшимся на лугу.

– Му-у! – отвечали те и приветливо махали хвостами.

– Привет! – Капелька приветствовала играющих во дворе котят и собачек.

– Гав-гав! – отвечали собачки.

– Мяу-мяу! – мяукали котята.

За деревней и лугом потянулся густой зелёный лес. Капелька увидела на лужайке медведя, который направлялся к зарослям малины, и закричала:

– Привет-привет!

– У-у-у! – зарычал мишка в ответ.

А Капелька летела всё дальше и дальше, пока не наступил вечер, и уставшая тучка не опустилась на вершину высокой сосны.

– Поспим здесь, а завтра отправимся дальше в путь, я тебе покажу море, – сказала тучка, зевнула и свернулась клубочком на верхушке дерева.

– А что это – море? Какое оно? Цветное? – начала расспрашивать Капелька, но тучка уже уснула и не слышала её вопросов.

Всю ночь Капельке снилось море. Это было что-то воздушное, похожее на тучку, но сине-зелёное, мягкое, на нём тоже можно было прыгать. Но так до конца Капельке и не удалось представить, что же это такое – море?

Утром Капелька проснулась рано и разбудила тучку:

– Полетели, а то море убежит от нас!

– Море такое огромное, что оно никак от нас не убежит. Оно очень красивое, вот увидишь! – рассмелась тучка, и они полетели дальше.

И вот впереди показалось огромное поле – синее-синее, с белыми барашками.

– Что это – поле? – спросила Капелька.

– Нет, это не поле, это море, это много-много воды. Видишь, ветер поднимает на его поверхности волны, на их макушках образуется пена, которая издали кажется белыми барашками. Море огромное, смотри, даже не видно второго берега, оно глубокое. В нём живёт много рыбы и разных морских животных, это киты, акулы, дельфины. Море очищает воздух на планете и насыщает его полезными минералами. Вода в море солёная, её нельзя пить, но зато в море можно купаться и нырять.

– Как мне нравится море! – захопала в ладоши Капелька. – Я останусь здесь и буду купаться и загорать. Спасибо тебе, тучка, что показала мне море. Пока! Увидимся позже!

Капелька спрыгнула с тучки и оказалась на берегу. Берег был покрыт ракушками. Каких только ракушек здесь не было! И перламутровые пальчики, и круглые узорчатые ракушки, и овальные, и закрученные в трубочку, и просто разноцветные осколки ракушек, и морские камешки. Капелька радостно прыгала с ракушки на ракушку и вдруг заметила, что стала меньше.

– Что со мной? Я уменьшаюсь! – испугалась Капелька.

– Ты испаряешься, спрячься в тень, иначе ты исчезнешь, – ответила ей мудрая старая коричневая ракушка.

– Ой-ой-ой, бегу-бегу, – ответила Капелька и закатилась под широкий влажный лопух. Здесь было прохладно и влажно. Капелька решила остаться здесь до вечера, пока палящее южное солнышко не закатится за горизонт. Вечером капелька ожила, отяжелела и решила осмотреть окрестности.

Она покатила по песку и вдруг увидела чудище с двумя огромными клешнями, которое боком ползло к воде.

– Привет! Я – краб. Я не страшный, не бойся, я ем морские водоросли. Вот вышел искупаться! – сказал чудище.

– А я – Капелька. Привет! Я прилетела на тучке посмотреть море. Оно очень красивое! – ответила Капелька.

– Красивое, мне тоже очень нравится. Оно меня кормит, и всех своих обитателей тоже. Хочешь, я тебя с ними познакомлю? – ответил Краб.

– Хочу! – улыбнулась Капелька.

– Вот смотри, к нам плывёт Медуза – это морское животное, которое питается планктоном. Она очень красивая, у неё много щупалец и она почти полностью состоит из воды. А это – морской конёк, он очень похож на настоящую лошадь, но маленькую. А вот рыба-игла, которая действительно похожа на толстую иглу, а вот камбала – рыба, у которой оба глаза находятся на одной стороне головы и которая может менять свой цвет в зависимости от цвета дна моря. А это, а это... – продолжал знакомить Капельку с обитателями моря краб. Но Капелька уже не могла запомнить, кто есть кто, так много было у краба знакомых.

– Давай в другой раз ты меня со всеми познакомишь, – сказала Капелька и нырнула в воду. Стало прохладно и легко, это было так здорово – нырять в одну волну и выныривать на другой, мчаться по её гребню и проваливаться в её толщу, подниматься вверх вместе с пеной и выпрыгивать на песок, потом вместе с волной откатываться назад и опять погружаться в воду. Вокруг неё кружились в танце такие же маленькие солёные капельки и звали её с собой.

– Я останусь с Вами и стану морской капелькой, – сказала Капелька, и другие капельки зашелестели:

– Конечно, оставайся, конечно, будем рады!

Знакомая тучка проплывала мимо, и Капелька закричала ей:

– Милая тучка! Я останусь на море до конца лета, а осенью ты прилетай сюда и мы вместе вернёмся домой!

– Хорошо, дорогая Капелька! Отдыхай и набирайся сил, а осенью поплывём домой! Пока!

– Пока! – ответила Капелька и опять прыгнула в море. Так подружился Капелька и море, и каждый год Капелька прилетала на юг, к морю, к своим новым друзьям, купаться и позагорать.

НЕВАЛЯШКА

На кукольной фабрике была ночь. Все игрушки мирно спали. Какие-то куколки ещё лежали голенькими, какие-то ещё не раскрашенными, к некоторым ещё не прикрепили ножки и ручки и они ждали, когда их закончат делать. Уже готовые куклы лежали в красивых упаковочных коробках, одетые в нарядные



платья, с косичками, заплетёнными большими яркими бантами, обутые в беленькие маленькие носочки и пластмассовые туфельки. На коробках были подписаны их имена: Таня, Зина, Маша, Алинка, Саша, Настя, Алёнка. Куколки были такими красивыми, что казалось, они живые. И действительно, одна из них – кукла Таня, открыла глазки и сказала:

- Я самая красивая, у меня красное платье и алый бант, я самая яркая и нарядная.
- А у меня зато есть бусы и сумочка, – возразила кукла Зина.
- А у меня настоящие пушистые ресницы, – похвасталась кукла Маша.
- А я умею ходить и махать руками, – махнула ручкой кукла Алинка.
- А у меня есть зеркальце, расчёска и настоящие волосы, – показала зеркало кукла Саша.
- А я умею говорить «Мама», – сказала кукла Настя.
- А моя фотография есть на шоколадке, – улыбнулась кукла Алёнка.

Куклы спорили, кто из них лучше и краше, молчала только одна куколка – Неваляшка. У неё не было ни бус с сумочкой, ни пушистых ресниц, у неё не было ног и рук, она не могла ходить, не было у неё и зеркальца с расческой и настоящих волос, она не умела говорить «Мама».

Эта кукла была особенная: её туловище было круглым, как шарик, а к нему была прикреплена такая же круглая пластмассовая головка с нарисованными глазками, носиком и ротиком. На туловище слева и справа находились два маленьких пластмассовых шарика – ручки. Кажется, ну ничего такого особенного в кукле-Неваляшке нет. Но... Когда её возьмёшь в руки и потрясёшь, она издаёт такой приятный переливчатый звон колокольчиков! А когда её поставишь на пол и попытаешься положить, она всегда встанет обратно, наклонится в другую сторону и опять выпрямится, и так будет долго качаться из стороны в сторону, издавая задорный колокольный звон, поэтому её и называли Неваляшкой. Она скромная, она не хвастается, но она знает, с каким нетерпением ждёт её появления в доме маленькая девочка Вивианка.

КАК ДОЖДИК ОБИДЕЛСЯ

Жил-был дождик. Жил он в большой серой туче, где жили и другие дождики, маленькие и большие. Туча висела высоко в небе и когда считала нужным, опускалась ближе к земле и выпускала свои дождики. Большие дожди были проливными и затяжными, они хорошо увлажняли землю, и хлебопашцы им очень радовались:

- Вот хороший прошёл дождь, быть урожаю!

А маленьким дождям радовались только дети и насекомые. Дети любили прыгать под дождём по лужам, а насекомые знали, что такой дождик ненадолго и им не навредит. Наш дождик был молодым и маленьким. Он шёл недолго, силёнок у него было маловато, но был очень весёлым и задорным. Он мочил бегающим детшкам волосы, носы и пятки, капал с крыш и пугал букашек, баловался и прыгал по небу. Он был уверен, что он лучше всех, ведь никому не приносит вреда, а это, по его мнению, было самым главным.

И вот однажды вдруг закончились большие дожди. Все вылились на землю, не успели набрать силы, и земля начала высыхать. Поникли цветы и трава, растрескалась земля... Хлебопашцы смотрели на небо и говорили:

- Дождя бы нам, дождя! Пропадёт урожай, останемся без хлеба!

«Раз они так хотят дождя, а другого нет, я пойду», – подумал наш дождик и начал мелко накрапывать. С надеждой смотрели на него люди, но он быстро закончился.

– Что это за дождь, только подразнил, никому не помог, понгрался и убежал, разве так можно? – сетовали люди и наш дождик обиделся.

– Я шёл как мог, а им не нравится... Вообще больше не пойду, никогда больше не пойду. Пусть живут без меня, – сказал дождик, надулся и спрятался в свою серую тучу. Сидел он там несколько дней, дулся и дулся, надувался и надувался, пока не превратился в большой дождь. Он стал таким тяжёлым, что, хотя и не хотел идти из-за обиды на людей, но полился и вдруг увидел, как ему все рады, и взрослые, и дети, и вся природа.

– Какой замечательный и полезный дождь, как он хорошо всё полил, вот теперь у нас будет урожай! – похвалили дождь люди.

– Так вот в чём дело! Не делать ничего плохого – этого мало, надо ещё делать хорошее – вот за что тебя полюбят! – вдруг понял наш дождик и перестал обижаться.

ДУПЛО

В этом году на старой сливе, которая много лет радовала всех обильным урожаем, появилось дупло – аккуратненькое такое, абсолютно круглое. И всё бы хорошо было в нём, но не рассчитала птичка – всего полтора метра над землёй, так что человеку легко можно было в него заглянуть. Слива была горда тем, что именно её выбрала птичка и свила в её стволе гнездо. Люди, конечно, не заглядывали в дупло, чтобы

не вспугнуть семейство, но им было интересно, что за птица сделала такое аккуратное дупло и кто же в нём сидит? А тот, кто там сидел, издавал пронзительный птичий свист. И вот, наконец, все узнали, чьё это гнездо. На ветках показался самый настоящий дятел с красной макушкой. Он нёс в клюве какого-то жучка. Посидел на ветках, покрутил головой и исчез в дупле. Истощённые крики в дупле прекратились и, когда взрослый дятел улетел, из гнезда показалась любопытная птичья головка с красной макушкой. Так это был птенец дятла! Оказалось, он не один, а с сестричкой. Теперь птенцы людей не боялись, а высовывались всегда, когда они проходили мимо и, наверное, если бы их начали кормить, они бы ели с руки. Но люди боялись нарушать птичью идиллию.

Родители прилетали и улетали,нося корм своим детёнышам, а люди наблюдали, как птенцы растут. Они стали такими же большими, как и их родители, но всё ещё сидели в гнезде. Чаще из дупла показывался красноголовый братец, а сестричка была видна реже. Однажды утром послышались звуки птичьего переполоха и все увидели, что птенец-сестричка выпала из гнезда. Сидела, нахохлившись, на земле и смотрела вокруг испуганными глазками. Тут уже нужно было вмешаться. Люди подняли птенца и посадили на дерево возле дупла. И что же вы думаете? Братец вылез из гнезда, подполз к сестрице и начал потихоньку подталкивать её к дуплу, пока полностью не затянул её туда. «Сам погибай – товарища выручай!» – старая русская поговорка оказалась близка и птичьему миру. Вот она, братская любовь и забота, пример всем для подражания.

«Прилетят ли дятлы ко мне на следующий год?» – думала старая слива, убаюкивая птенцов в дупле. А родители птенцов начали учить их летать. Слететь вниз птенцы могли, а вот потом подняться на дерево ещё не умели, и старая слива подставляла им свои ветви, помогая взобраться вверх. Так продолжалось недели две, пока птенцы не окрепли и не улетели вместе с родителями. Иногда вся семья дятлов прилетала к своему дуплу, садилась ненадолго на ветви и о чём-то весело переговаривалась.

«Наверное, благодарят меня», – думала старая слива, – «На будущий год они ко мне обязательно прилетят, они ведь теперь мне, как родные».

РАКУШКА И РАЧОК

На дне моря кипела жизнь. Туда-сюда медленно плавали медузы, постепенно надувая и сдувая свои головы-парашюты и плавно перебирая щупальцами. Крабы бегали наперегонки бочком влево-вправо, отталкиваясь мускулистыми передними клешнями и мелко перебирая членистыми ножками. Плавно скользили камбалы, удивлённо рассматривая всё вокруг двумя близко расположенными друг к другу выпученными глазами. Прыгали, время от времени прикрепляясь хвостиком к водорослям, морские коньки. Ярко-красные морские звёзды, не спеша, ползли по песчаному дну, плавно передвигая мягкие щупальца. Кораллы пестрели обилием цветов и формы. Стайки ярких коралловых рыбёшек тучками носились вверх-вниз, украшая собой голубизну толщи воды.

Все были заняты своими делами и не замечали грустно сидящего у камня рака-отшельника. Это был совсем маленький рачок, очень похожий на крабов, с такими же клешнями, но маленькими. Он не имел твёрдого панциря и поэтому прятался в ракушке, выпуская наружу только голову и клешни. Он грустно смотрел на всеобщее веселье, потому что у него были большие проблемы. Дело в том, что рачок рос и ему всё время приходилось искать себе новую, каждый раз большую ракушку – домик. Уже несколько раз он менял свой домик, но вот сейчас ему не везло, он обыскал все окрестности, но красивую и удобную ракушку не нашёл. Наш рачок был большой эстет. Он искал ракушку красивую, кружевную, округлую, ему нравились красивые вещи...

А в это время в городской квартире грустила ракушка. Когда-то она плавала в море с милым другом-рачком, они жили дружно, пока рачок не вырос и не перешёл жить в другую раковину, а ракушка осталась одна. Более того, её выбросило волной на берег, её заметили дети, подобрали и отнесли домой. И теперь она лежала в большой коробке вместе с другими ракушками и вспоминала свою счастливую жизнь в море. Вдруг коробка, в которой она лежала, задрожала и откинулась её крышка.

– Дети, сегодня идём купаться, и я предлагаю все ракушки высыпать обратно в море, чего они у нас уже который год лежат, – сказала мама.

– Хорошо, – ответили дети, и коробка оказалась в пляжной сумке. Наша Ракушка тряслась в битком набитом трамвае вместе с другими пляжниками и с нетерпением ждала встречи с морем.

На пляже дети взяли коробку и пошли бросать ракушки в воду. Вот нашу ракушку подхватили детские пальчики, и через секунду она оказалась в воде.

– Какое счастье! Я опять дома! – весело кричала ракушка, кругами погружаясь на дно. Вокруг было всё, как прежде, никто, кроме рачка, и не заметил её появления.

– Вот она, красавица, именно такой домик я и хотел! – вскричал он и пополз к ракушке. По пути его чуть не съел проплывающий мимо морской бычок, но рачок успел заскочить в ракушку и спрятаться там.

– Здравствуй, Ракушка! Будем вместе жить? Ты мне очень нравишься! Я уже большой и больше не вырасту, теперь мы надолго будем вместе! – сказал он.



- Здравствуй, Рачок! Конечно, давай дружить! – ответила Ракушка.
 Рачок поудобнее расположился в ракушке и сказал:
 – Мы будем гулять, плавать, а по вечерам рассказывать друг другу сказки, правда?
 – Конечно, буду очень рада, – ответила Ракушка.
 Так они обрели друг друга, дружбу и счастье.

КУДА УХОДИТ СПАТЬ СОЛНЦЕ

Вечерело. Солнце потихоньку спускалось по небу всё ниже и ниже. Оно приблизилось к горизонту моря, потом спряталось наполовину, окрасив небо в алый цвет и проложив по поверхности моря красивую блестящую солнечную дорожку. Потом осталась видна треть солнца, небо потемнело и стало фиолетово-алым, дорожка на воде поблёкла. Вот остался виден лишь краешек солнца, и оно исчезло, ставив на небе розовое облачко, небо посерело, вода потемнела, спустились сумерки.

За закатом солнца наблюдали стрекоза, бабочка и муравей. Это было захватывающее зрелище, но длилось всего несколько минут, поэтому они смотрели, не шевелясь и не разговаривая. Когда солнца не стало, они выдохнули: «Как красиво!» – и заспорили.

– Я думаю, что солнце уходит спать в море, – сказала бабочка, – я столько раз летала и смотрела, больше ему спрятаться некуда.

– А мне кажется, что солнце уходит спать в лес, который растёт на другом берегу моря, – предположил муравьишка.

– Я считаю, что солнце уходит спать на другую сторону земли, и мы его не видим, – возразила стрекоза.

Спорили, спорили друзья и решили завтра пойти к Звездочёту, который жил на высокой горе и имел телескоп. Уж он-то точно знает, куда уходит спать солнышко.

Утром друзья пустились в путь, обсуждая по дороге свои версии. По дороге им встретился Крот, который только что вырыл норку и показался на поверхности.

– Уважаемый Крот, не знаешь ли ты, куда уходит спать солнышко? – спросили они.

– Конечно, знаю, оно, как и я, имеет норку за морем, туда и прячется, – ответил крот.

– Спасибо, дядя Крот, но мы всё же хотим спросить у Звездочёта, он-то всё точно знает, – ответили друзья и пошли дальше.

Устав, они присели у пенька и увидели большого красивого паука, который плёл паутину.

– Дядя Паук, скажите, пожалуйста, куда уходит каждый день спать солнце?

– Думаю, что у него есть большая паутина, как и у меня, только из солнечной нити, там оно и спит, – уверенно сказал паук.

– Спасибо за ответ, пойдём спрашивать дальше.

Вот и показалась гора, друзья добрались до домика Звездочёта.

– Здравствуйте, ребята! Что привело вас ко мне? – приветливо спросил Звездочёт.

Стрекоза, муравей и бабочка рассказали ему о всех своих и чужих предположениях, куда же уходит спать солнце. Звездочёт улыбнулся и позвал их к столу на чай. Когда они попили чаёк с ватрушками, Звездочёт стал им рассказывать:

– Это длинная история, и человечество не сразу пришло к её пониманию, многие учёные размышляли об этом и спорили друг с другом. Один ученый – Джордано Бруно даже был сожжён на костре за свою теорию об этом. Но сейчас уже все согласились с той версией, о которой я вам расскажу. Ну, слушайте. Мы живём на планете Земля, наша планета круглая и вращается вместе с другими планетами солнечной системы вокруг Солнца. Каждый день Земля делает один оборот вокруг Солнца и поэтому поворачивается к нему разными сторонами, и у нас наступает утро, полдень, вечер и ночь. Поэтому Солнце остаётся на месте, оно не уходит спать, а светит всегда, а мы с вами вращаемся вокруг него и уходим в тень, где солнца уже не видно, – рассказывал Звездочёт.

– Вот как! Значит, это мы уходим спать, а не солнышко! – засмеялись друзья. – Мы теперь всем будем об этом рассказывать.

Они ещё долго пили чай и слушали удивительные истории о звёздах, космосе и планетах, которых Звездочёт знал множество.

ЛЯГУШОНОК КВА

На пруду было тихо и спокойно. Шумели камыши вдоль берега, иногда из воды выпрыгивала мелкая рыбёшка и ныряла обратно, оставляя на поверхности пруда расходящиеся круги. Крупная рыба показывала лишь свои толстые спины и медленно уходила на дно. Стрекозы шелестели прозрачными перепончатыми крыльями, то зависая неподвижно в воздухе, то опускаясь к самой поверхности воды. Солнце клонилось

к закату. И вот в это самое время из икринки, прикреплённой к стеблю водоросли, вылутился головастик. Тело его было маленьким, и он был похож на рыбку, но у него была огромная голова.

Головастик начал отчаянно работать хвостом и поплыл.

– Ну вот, скоро в пруду появится множество лягушек, и прощай тишина, только и будем слушать их кваканье, – сказал толстый карп, увидев головастика.

– Так я – лягушонок? – спросил головастик.

– Нет, ты пока только головастик, лягушонком тебе предстоит стать, – ответил карп.

– А что мне для этого нужно сделать? – спросил головастик.

– Ну, тебе надо просто жить и делать добрые дела, – сказал карп и поплыл дальше.

«Я хочу стать лягушонком, но какие же добрые дела я должен для этого делать?» – задумался головастик. В таких размышлениях он пребывал довольно долго, плавая в пруду. И вдруг он услышал крик:

– Спасите, спасите!

Головастик поплыл к камышам и увидел, что тонет большая красивая стрекоза. Головастик подплыл к ней, попытался подтолкнуть её на лист кувшинки, но не доставал, нужно было подпрыгнуть, чтобы это сделать. И тут головастик почувствовал, что у него появились задние лапки. Он оттолкнулся ими от дна пруда, легко дотянулся до листа кувшинки и опустил на него стрекозу. Спасённая прошептала головастiku:

– Спасибо! Ты – настоящий друг! Будем с тобой теперь дружить!

– Пожалуйста, – застеснялся головастик.

Прошло ещё несколько недель. Головастик ломал голову, какое же доброе дело ему ещё сделать, и опять услышал крик о помощи. Головастик увидел, что маленький утёнок запутался в водорослях и идёт ко дну. Головастик захотел подтолкнуть бедного утёнка к берегу, ринулся вперёд и вдруг заметил, что у него появились передние лапки. Ещё рывок, и головастик передними лапками вытолкнул тонущего утёнка на берег.

– Спасибо, лягушонок! Будешь со мной дружить? – прокричал утёнок.

– Пожалуйста! Конечно, будем дружить! Я уже лягушонок? – спросил головастик.

– Да, у тебя нет хвостика и есть лапки, значит, ты уже стал лягушонком.

– Ква-ква! – радостно заквакал лягушонок и его тут же прозвали лягушонком Ква.

Может быть головастик и без добрых дел превратился бы в лягушку, как знать, но, благодаря им, у него появились новые верные друзья.

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции. В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей» приурочена к 130-летию со дня рождения Веры Инбер.

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ СУДЬБЫ

эссе

В народе говорят, что талант не пропьётся. До конца в этом не уверен, но – народу виднее.

А вот то, что талант исчезает, когда человек подличает, приспосабливается, лизоблюдствует... Мог бы приводить примеры из сегодняшней жизни, но из классики звучит убедительней. Был, к примеру, прозаик Константин Федин. Даже в группу «Серапионовы братья» входил наряду с Зощенко, Каверинным. А потом стал столоначальником. И прекратилась литература, начались соцреалистические романы.

Сегодня хочу поговорить про похожий случай. 10 июля – день рождения Веры Инбер, ярко вошедшей в литературу и, подавшись **страху**, кстати, оправданному, исчезнувшей из литературы.

Нередко события внешние оказывают настолько разрушительное действие на внутренний мир, что сравнить это можно действительно с открытым переломом – не руки или ноги, а судьбы.

Одна из самых весёлых, искрящихся одесских поэтесс начала века Вера Инбер одинаково легко писала забавные статьи о парижской моде, где учила быть современными, одеваться (а когда следует – раздеваться) одесских дам, акварельно-тонкие, акмеистские по точности, стихи, которые не мешали ей же, забавляясь, писать о груме Вилли, о сороконожке, даже о «девушке из Нагасаки», естественно, не догадываясь, что последнее стихотворение уйдёт в народ, станет на целый век любимой блатной песней не только Одессы, но всех лагерей, которые смогла вместить её родина.

Казалось, что из всех литераторов Одессы ей уготована самая светлая, самая яркая судьба. Но Вера Инбер (это по первому мужу, по фамилии журналиста Натана Инбера, а в девичестве – Вера Шпенцер) была двоюродной сестрой Льва Давидовича Троцкого, не раз проживавшего в их одесском доме. Он и сам писал, что с 9 до 15 лет жил в Одессе в доме своего двоюродного дяди, владельца типографии Моисея Шпенцера.

Надо ли объяснять, что после высылки Троцкого из СССР, после сталинского указания выкорчевать всех его сторонников, уничтожить всех его близких, для Веры Инбер началась другая жизнь, другая эпоха. Отражение того, что произошло с ней, нельзя не увидеть в её творчестве. Писательницу «выпрямили». Постепенно ушли «брызги шампанского», ушла ирония, осталась верность (даже не показная верность) генеральному курсу. Это и был открытый перелом судьбы.

Сейчас, в 2020 году, когда Вере Инбер исполнилось бы 130 лет (она родилась 10 июля 1890 года в Одессе, умерла 11 ноября 1972 года в Москве), можно сказать, что, к сожалению, в Большую Русскую Литературу Вера Инбер не вошла. Сегодня её забыли и представители следующих поколений, и немногие оставшиеся современники. Но могла войти в настоящую литературу, для этого в юности у неё были все основания. Кстати, составляя антологию поэзии XX века, Евгений Евтушенко включил туда не «Пять ночей и дней», стихи о смерти Ленина, которые учили в школах, не «Пулковский меридиан» – за которые Вера Инбер была награждена сталинской премией – а всего одно раннее одесское стихотворение.

Вернёмся из наших дней в 1912 год. В этом году у 22-летней одесской поэтессы Веры Инбер в Петербурге, в журнале «Солнце России», опубликовано первое стихотворение «Севильские дамы», и в том же

году она начинает в Одессе публиковать цикл статей «Цветы на асфальте», а в 1913 году читать лекции под тем же названием.

Современники оставили ряд отзывов об этой лекции, где подчеркивали (цитирую по журналу «Одесское обозрение театров»): «Красивая лекция, может быть, слишком богатая, “варварски” богатая красочными этикетками, сравнениями, отступлениями... После разбора главных, наиболее ярких, значительных этапов развития моды лекторша перешла к моде наших дней и явилась её восторженным апологетом».

Но вернёмся к творчеству писательницы. Всё же главным для Веры Инбер были не статьи о моде, не статьи о Париже, а, конечно, стихи. В 1914 году в Париже она издала первую книгу «Печальное вино» (её заметил и оценил в печати Александр Блок), в 1917 году в Петрограде вторую книгу – «Горькая услада» (и вновь благожелательные отзывы Брюсова, Эренбурга). Это был ещё поиск стиля, поиск себя. И лишь в 1922 году перед окончательным отъездом из Одессы, в родном городе, она совсем как сейчас, за свой счёт – «издание автора», выпускает давно ставший библиографической редкостью третий сборник – «Бренные слова». Думается, лучшую свою книгу стихов.

Удалось мне разыскать забытую заметку Эдуарда Багрицкого, где он откликнулся на только что вышедшую книгу. Отнюдь не комплиментарно, достойно. Э. Багрицкий подписал рецензию своим первым псевдонимом «Desi». Вероятно, поэтому она надолго выпала из круга внимания исследователей. Поэт, знавший Веру Инбер по совместным выступлениям, по её работе в театре «КРОТ», увидел в новых стихах избавление от северянински-ресторанного, чем грешила ранее поэтесса.

Уехав из Одессы, Вера Михайловна в Москве пишет стихи и прозу, в частности, поэтичную и яркую повесть об Одессе – «Место под солнцем». Но это всё до 1927 года. И хоть в печати повесть появилась в 1928 году, с года высылки Троицкого и последовавших за этим событий, так радостно, так легко и поэтично Вера Инбер уже не писала.

Никого нельзя обвинять в отсутствии героизма. Можно лишь посочувствовать тому, что пережила эта хрупкая, маленькая женщина за последующие 45 лет. Почему Сталин, уничтожив всех родичей Льва Троицкого, не тронул писательницу? Можно ли разгадать психологию тирана?.. Но Вера Инбер, думается, все эти годы провела под пятой страха, результатом которого и стал перелом в творчестве.

Практически после 1927 года она писала заказные стихи и очерки, откликалась на все задания – от поездки и воспевания Беломор-Балтийского строительства до героизма защитников Ленинграда. Все было правильно и бесталанно.

И как требовало время – доносы писала. Прямо в газету. Так после её статьи о книге Леонида Мартынова «Эрцинский лес» (а статья называлась «Нам с вами не по пути, Мартынов»), опубликованной в «Литературке», поэта не публиковали до оттепели.

И всё же Одесса помнит Веру Инбер. В 1933 году она издала книгу «Переулочек моего имени», где обращалась к правительству с просьбой – после её смерти маленький одесский переулочек, Стурдзовский, где в доме 3 она когда-то жила, где была типография отца, назвать её именем.

В 1972 году, когда Вера Михайловна умерла, в газете «Комсомольская искра» я перепечатал это стихотворение. Оно попало на глаза первому секретарю обкома П. Козырю. И прямо на газете он написал резолюцию – уважить просьбу! Так тогда Купальный переулочек (имени Стурдзы советская власть его давно уже лишила) стал переулочком Веры Инбер. Может, это и правильно. Первые 37 лет жизни, связанные с Одессой были годами подъёма. В Одессе мы это помним. А уж пусть в Москве, в Петербурге думают, как оценить последующие 45 лет.

Мне захотелось напомнить читателю раннюю, забытую и плохо прочитанную Веру Инбер.

ДЕНЬ ОКОНЧЕН... ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО...

*День окончен... Делать нечего...
Вечер снежно-голубой...
Хорошо уютным вечерам
Нам беседовать с тобой...*

*Чиж долбит сердито жёрдочку,
Будто клетка коротка...
Кошка высунула мордочку
Из-под тёплого платка...*

*«Значит, завтра будет праздница?»
«Праздник, Жанна, говорят!»
«Всё равно! Какая разница!
Лишь бы дали шоколад!»*



*«Будет всё, мой мальчик маленький!
Будет даже снежный бал...
Знаешь, повар в старом валенке
Утром мышку увидал!»*

*«Мама! Ты всегда проказница!
Я не мальчик! Я же дочь!»
«Всё равно, какая разница!
Спи мой мальчик, скоро ночь...»*

1914

ЛЮДМИЛА ШАРГА

ВКУС ПЕЧАЛЬНОГО ВИНА

эссе

*Ну, а впрочем, боли до последнего вдоха,
Пизнывай от любой чепухи,
Потому что, когда нам как следует плохо, —
Мы хорошие пишем стихи.*

На обложке сборника «Бренные слова» экслибрис: маленький жираф.

Сборник продавался на аукционе, но так и не нашёл своего покупателя.

Вспоминается ещё одна книга, которая была в моём детстве: «Как я была маленькая».

Кто не читал, не поздно ещё, о потраченном времени не пожалеете.

А я приглашаю вас пройти переулком её имени. От Лидерсовского бульвара, свернув у дома №17, на котором ещё сохранилась доска в память о П.П. Шмидте, до дома № 3, вернее до того места, где был он когда-то, этот дом, и дальше, до следующего дома, мимо которого хожу часто – и всегда со странным ощущением двойственности здешнего пространства.

Сухие побеги плюща, словно омертвевшие сухожилия, уводят в рассказы Эдгара По. Сейчас лето, и дом укрыт волнующей зелёной папкой – сверху плющ свеж и зелен, в отличие от того, что укрывает стену, выходящую в Купальный переулок, и ворота, в которые, судя по всему, давно никто не входил.

Дом ещё обитаем. Об этом свидетельствует живое окно под самой крышей.

Окна многое могут рассказать о жильцах. Совершенно необязательно в них заглядывать – всё и так становится понятным с первого взгляда. Или со второго.

«Особняк Шпенцера», гласит табличка. Краеведы говорят, что ни самого особняка Шпенцера, ни типографии давно нет, а табличка просто перенесена на соседний дом К.Ю. Лемме.

Моисей Филиппович Шпенцер (1860-1927) – отец Веры Инбер. До октябрьских событий 1917-го ему принадлежали бланкоиздательство, типография и литография, для которых и было построено трёхэтажное здание в Стурдзовском переулке, 3 (позже – Купальный, а ныне – переулок Веры Инбер).

Мама Веры, Фанни Шпенцер, заведовала еврейским училищем для девочек и преподавала русский язык. В их доме одно время жил и двоюродный брат отца – Лёвочка. В судьбе Веры дяде Льву, который вошёл в историю как Лев Троцкий, предстояло сыграть роковую роль.

Верочка окончила гимназию, поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов. Из-за слабого здоровья учёбу пришлось прервать и уехать лечиться в Швейцарию, а оттуда в Париж, где она познакомилась с художниками, и поэтами, эмигрировавшими во Францию из России. Один из них, журналист Натан Инбер, – Нат, стал её мужем. Они возвращаются в Россию, но ненадолго. В 1919 году Нат уезжает в Константинополь. Вера последовала за ним, но... Жить в эмиграции ей не хотелось. Она возвращается, и уже не одна – с двухлетней дочерью.

Что дальше... Дальше будут стихи, второе замужество, и снова стихи.

Первая книга «Печальное вино» была издана в 1914-ом году, в Париже. Впоследствии будут и «Горькая услада» и «Бренные слова». И совсем другая жизнь. Вдалеке от родной Одессы. Ещё одно замужество. Блокадный Ленинград. Голод и холод, выступления на радио, в госпиталях перед ранеными и поездки на фронт, поэма «Пулковский меридиан» и блокадный дневник «Почти три года».

«Литературная комиссарша». Так скажет о ней один известный поэт.

Что ж. И это тоже она – Вера Инбер, автор удивительной «Колыбельной» и стихов, ставшими народной песней «Девушка из Нагасаки». Не будим судить.

Лучше вернёмся в Купальный переулок, на то место, где когда-то стоял особняк Шпенцера.

Теперь здесь высотка.

А особняк что по соседству ещё сохранился, и кто-то, по-прежнему, выглядывает из его окон по утрам и видит, как по тихому переулку спешат любители ранних морских купаний и ласкового солнца. Уже через час вид из окна будет другим, да и само окно придётся закрыть, скорее всего, от шума, от гула, от наливающегося жаром воздуха. Откроется окно лишь поздно вечером. Солнце уйдёт далеко на запад, чтобы упасть за край земли. Потянёт ночной свежестью, и можно будет расслышать голос моря.

Люблю этот переулочек, выходящий на мистическую Черноморскую улицу.

Впрочем, никакой мистики – лишь печальное свидетельство истории: оползня, случившегося здесь в мае 1918-го года. Сохранились фотографии на которых хорошо видно, как прибрежная сторона улицы сползла вниз.

Но иногда в свете полной луны, откуда-то снизу, со склонов, поднимаются призраки-дома, унесённые оползнем, и улица становится такой, какой была сто лет тому назад.

Луна прячется за облака, дома-призраки исчезают, да и не было их вовсе – это густой туман поднимается с моря и клубится, принимая причудливые формы.

Здесь, словно у сказочного камня – на развилке: надо выбрать. Налево пойдёшь – к Паустовскому придёшь. Направо пойдёшь... Да мало ли, куда можно прийти, свернув направо. Главное, что если пойдёшь прямо, то непременно придёшь к морю.

В Купальном переулке две дамы нездешнего вида с нездешним акцентом, покрытые свежим июльским загаром, гадают: что за дерево такое огромное, платан или чинара.

Успокаиваю дам: ни то и ни другое, платан – он же чинара – растёт чуть дальше, во дворе, и ещё один – по улице Черноморской. А это – тополь.

– То-оо-поль... – выдыхают разочарованно дамы.

Чтобы хоть как-то их утешить, говорю, что этот тополь помнит Веру Инбер и прекрасное печальное вино её ранних стихов.

О Вере Инбер они знают. Слышали, как же. Племянница Троцкого.

До троллейбусной остановки, по переулку её имени, идём молча.

Они, вероятно, вспоминают Льва Давидовича, а я...

Я пытаюсь вспомнить стихи Веры Инбер.

ВЕРА ИНБЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ

Надо мной любовь нависла тучей,
Помрачила дни,
Нежностью своей меня не мучай,
Лаской не томи.

Уходи, пускай слеза мешает
Поглядеть вослед.
Уходи, пускай душа не знает,
Был ты или нет.

Расставаясь, поцелую, плача,
Ясные глаза.
Пыль столбом завьётся, не иначе
Как гроза.



Грянет гром. Зашепчет, как живая,
В поле рожь.
Где слеза, где капля дождевая –
Не поймёшь.

Через час на ведро золотое
Выглянет сосед
И затопчет грубою стопою
Милый след.

1919

Лучи полудня тяжело пламенеют.
Вступаю в море, и в морской волне
Мои колена смугло розовеют,
Как яблоки в траве.

Дышу и растворяюсь в водном лоне,
Лежу на дне, как солнечный клубок,
И раковины алые ладоней
Врастают в неподатливый песок.

Дрожа и тая, проплывают чёлны.
Как сладостно морское бытие!
Как твёрдые и медленные волны
Качают тело лёгкое моё!

Так протекает дивный час купанья,
И ставшему холодным, как луна,
Плечу приятны теплые касанья
Нагретого полуднем полотна.

1919

Прохладнее бы кровь и плавников бы пара,
И путь мой был бы прям.
Я поплыла б вокруг всего земного шара
По рекам и морям.

Безбровый глаз глубоководной рыбы,
И хвост, и чешуя...
Никто на свете, даже ты бы,
Не угадал, что это я.

В проеденном водой и солью камне
Пережидала б я подводный мрак,
И сквозь волну казалась бы луна мне
Похожей на маяк.

Была бы я и там такой же слабой,
Как здесь от суеты.
Но были бы ко мне добрее крабы,
Нежели ты.



И пусть бы бог хранил, моря волнуя,
Тебя в твоих путях,
И дал бы мне окончить жизнь земную
В твоих сетях.

1920

Желтее листья. Дни короче
(К шести часам уже темно),
И так свежи сырые ночи,
Что надо закрывать окно.

У школьников длинней уроки,
Дожди плывут косою стеной,
Лишь иногда на солнцепёке
Ещё уютно, как весной.

Готовят впрок хозяйки рьяно
Грибы и огурцы свои,
И яблоки свежо-румяны,
Как щёки милые твои.

1920

Уже заметна воздуха прохлада,
И убьёт дня, и ночи рост.
Уже настало время винограда
И время падающих звезд.

Глаза не сужены горячим светом,
Раскрыты широко, как при луне.
И кровь ровней, уже не так, как летом,
Переливается во мне.

И, важные, текут неторопливо
Слова и мысли. И душа строга,
Пустынна и просторна, точно нива,
Откуда вывезли стога.

1920

СЫНУ, КОТОРОГО НЕТ
(Колыбельная песня)

Ночь идёт на мягких лапах,
Дышит, как медведь.
Мальчик создан, чтобы плакать,
Мама – чтобы петь.

Отгону я сны плохие,
Чтобы спать могли
Мальчики мои родные,
Пальчики мои.

За окошком ветер млечный,
Лунная руда,
За окном пятиконечна
Синья звезда.

Сын окрепнет, осмелеет,
Скажет: «Ухожу».
Красный галстучек на шею
Сыну повяжу.

Шибче барабанной дроби
Побегут года;
Приминная пыль дороги,
Лягут холода.

И прилаженную долю
Вскинет, как мешок,
Сероглазый комсомолец,
На губе пушок.

А пока, ещё ни разу
Не ступив ногой,
Спи, мой мальчик сероглазый,
Зайчик дорогой...

Налепив цветные марки
Письмам на бока,
Сын мне снимки и подарки
Шлёт издалека.

Заглянул в родную гавань
И уплыл опять.
Мальчик создан, чтобы плавать,
Мама – чтобы ждать.

Вновь пройдёт годов немало...
Голова в снегу;
Сердце скажет: «Я устало,
Больше не могу».

Успокоится навеки,
И уже тогда
Весть помчится через реки,
Через города.

И, бледнее, как бумага,
Смутный, как печать,
Мальчик будет горько плакать,
Мама – будет спать.

А пока на самом деле
Всё наоборот:
Мальчик спит в своей постели.
Мама же – поёт.

И фланелевые брючки,
Первые свои,
Держат мальчишкины ручки,
Пальчики мои.

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

ЦИЛЯ ШНЕЕРСОН

НОВЕЛЛА

Незадолго до Пасхи – о, нет! – не христианской Пасхи, дня посправа смерти смертью – Пасхи еврейской, когда радуются иудеи, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта; так вот, незадолго до иудейской Пасхи некто Арончик Шнеерсон, москвич, выехал на поезде в Киев. На Брянском вокзале его провожали жена, отец, старая приходящая служанка и человек пять родных его детей возраста... самого разного возраста. На вокзале все без умолку болтали, смеялись чему-то и по очереди обнимались. При этом так увлеклись, что Ция, жена Арончика, два раза обнялась зачем-то с его престарелым, глухим отцом, с которым после и вернулась домой в Машков переулок. Все желали друг другу блага и в который уже раз услаивались встретиться на Пасху, само собой иудейскую.

Арончик должен был съездить в Киев, где скончалась сестра его давно упокоившейся матери. А заодно повидать тёток – тётю Лию, тётю Эстер, тётю Енту, бабушку Басю, Моню, Элю, дядю Цахи и ещё целую толпу каких-то своих соплеменников, которые, Бог весть, кем и кому доводились. Во всяком случае, сегодня об этом никто уже и не вспомнит.

Похоронив тётку, навестив бабушку Басю и прочих, Арончик намеревался вернуться домой, аккуратно к празднику, дабы в тесном семейном кругу вкусить козлёнка с горькими травами. Поэтому усадив Арончика в поезд, домочадцы его возвратились домой, и принялись ждать Пасху, сулившую им двойной праздник: во-первых, радость вкупе с единоверцами, а во-вторых, радость сугубо домашнюю, связанную с возвращением из Малороссии отца семейства, нагруженного – и в том не было ни малейших сомнений – подарками и гостинцами.

Но вот миновала еврейская Пасха. Наступила и отзвонила колоколами Пасха православная, а Арончик домой так и не вернулся. К этому времени в его доме воцарились растерянность и затишье, связанное всё с той же растерянностью. Никто не знал, что следует предпринять: ехать ли самим в Киев, писать ли письма бабушке Басе и тётке Эстер, а может, идти в полицию или куда-нибудь ещё. В полицию, впрочем, всё равно никто бы и не пошёл, потому что не зря же евреи желают друг другу, чтобы Господь уберёт их от дурного глаза и частного пристава.

Наконец уже летом из Киева пришло письмо. Но писал не Арончик и не бабушка Бася, писал адвокат Чижииков. Ция так испугалась, что руки у неё затряслись, а чтобы понять, в чём же собственно дело и что нужно от Шнеерсонов адвокату Чижиикову, ей пришлось перечитать письмо трижды.

«Любезная госпожа Шнеерсон, – писал адвокат Чижииков крупным аккуратным почерком, – довожу до сведения Вашего, что супруг Ваш арестован и в настоящее время пребывает в Киевской тюрьме, обвиняемый в убийстве...». Далее адвокат сообщал, что идёт следствие, которое, вероятно, продлится долго. Что дело весьма сложное и запутанное, хотя и абсурдное, но абсурдностью своей кое-кому удобное и даже необходимое. В этом месте письмо было настолько туманным, что Ция каждый раз принималась плакать, потому что и на третий раз так и не смогла ничего разобрать.

Далее письмо прояснялось, и адвокат уверял, что Арончик невиновен и надежда на его освобождение остаётся, хотя всякое может быть, поскольку – и здесь снова спускался туман – «всё это выгодно, пусть даже нелепо и отжило свой век». Доходя до этих слов, Ция почему-то вспоминала бабушку Басю и глаза её снова увлажнились.

Кроме письма адвоката Чижиикова в конверте оказалась маленькая записка, написанная рукой самого Арончика. Ция не сразу её заметила. Убирая письмо адвоката в конверт, она обнаружила у своих ног маленький белый листок, должно быть, выпорхнувший незаметно, когда Ция распаковывала конверт. Ция подняла листок и прочитала: «Ция, сердце, что и говорить: будь я умнее, то не поехал бы хоронить тётю Фейгу. Глядишь, и без меня бы закопали её в землю, хоть и была она добрейшей женщиной. Только, Ция, ты не думай, что это я или кто из наших виноват во всём этом деле и что твой Арончик сошёл с ума на старости лет. Ни деды мои, ни прадеды таким не грешили. И детей своих не допущу. А это всё собаки – ясное дело. Но, видно, на то мы и евреи, чтобы терпеть. Терпеть и терпеть, уповать



на Бога, молиться и надеяться, что всё к лучшему переменится. Верь мне, Циля, душа моя, что я не виновен, и никто из наших не виновен».

Письмо Арончика Циля перечитала дважды, а слово «собаки» даже произнесла вслух, как будто надеясь, что так будет понятнее. В целом же, хотя письма и были странными, но проясняли главное: Арончик жив. Правда, он сумел угодить в тюрьму, и неизвестно теперь, когда из неё выйдет – дай Бог следующую Пасху встретить вместе. Но даже и это не так важно, как то, что он всё-таки жив, а не валяется где-нибудь в овраге с разбитой головой и не кормит рыб на речном дне.

Рассудив так, Циля немного успокоилась и вечером того же дня прочитала письмо адвоката Чижикова дедушке, чтобы спросить у него совета: стоит ли ей и самой отправиться в Киев. Но когда она читала, в соседней комнате заплакал младший ребёнок, и Циля не стала ни о чём спрашивать.

Дедушка почти ничего не слышал, но по Цилиному лицу понял, что хорошего мало. К тому же преклонные лета научили его не ждать от жизни ничего хорошего. А тут ещё он отчётливо разобрал слова «в Киевской тюрьме» и сразу всё понял.

– А глик от им петрофен¹, – вздохнула дедушка. – Когда еврею дадут пожить? И что там опять придумали в Петербурге?

– Почему в Петербурге? – не поняла Циля. – Ведь Арончик в Киев уехал...

– Что там твой Киев!.. – объяснил дедушка. – В Киеве и весна не наступит, если в Петербурге не велят.

Циля посмотрела в окно и подумала, что в Петербурге верно распорядились: лето было в разгаре, о чём кричали воробьи, возившиеся в пыли, да и весна пришла в Москву вовремя.

В тот год выдалась хорошая весна. И когда в марте днём было тепло, к ночи снова всё застывало. Лужи, покрывавшие Москву, затягивались на ночь ледяной плёнкой. Небо казалось выше, воздух – прозрачнее, а от новых запахов Циля волновалась и, укладываясь спать, дрожала, словно предчувствуя, что должно случиться что-нибудь необыкновенное.

Шнеерсоны объявились в Машковом переулке следом за Самуилом Мироновичем Малкиелем, воцарившемся однажды на Покровке и притянувшим к себе небогатых соотечичей со всей Первопрестольной. Подобно тому, как крупы расходятся от упавшего в воду камня, так расселились иудеи вокруг блиставшего в то время Малкиеля. Богатство Самуила Мироновича возбуждало любопытство и порождало толки. А сам он в окружении соплеменников казался каким-то царём иудейским, прихотью судьбы заброшенным на московскую Покровку.

Когда же Самуил Миронович покинул Покровку и, утопая в роскоши, поселился на Тверской, многие соплеменники его снялись с мест и выдвинулись следом, дабы снова расположиться лагерем вокруг богатого сородича. Но Шнеерсоны общему примеру не последовали и остались в Машковом переулке. Благо, среди соседей единовверцы продолжали преобладать.

Откуда изначально прибыли Шнеерсоны в Машков переулок, теперь уже сложно установить. Домна Карповна говорит только, что Арончик служил до Москвы в солдатах, а Циля будто бы совсем ещё молоденькой явилась из Мглина, где бедной девушке трудно было найти себе жениха. Еврейских невест в Москве тоже не доставало, вот и отыскались добрые евреи, привозившие девушек из местечек. И Арончик взял Цилю «с возу» – так это тогда называлось. История, рассказанная Домной Карповной, застаёт Шнеерсонов в Машковом переулке в небольшой квартирке, где помещалось довольно большое семейство и тайная касса – Арончик и Циля иногда брали в заклад у соседей. Впрочем, касса, пожалуй, слишком громкое слово. Но дело в том, что предприятие, называвшееся «кассой Шнеерсонов», не имеет более точного и подходящего названия.

Что же касается семьи... А что вообще такое еврейская семья? Старшие дети давно живут отдельно, а младшие только народились. А между тем и Циля, и Арончик производили впечатление людей тщедушных, а то и вовсе невзрачных. Были они малы ростом, худосочны, Арончик же, ко всему прочему, ещё и лысоват. Оба смотрели на мир большими печальными глазами и, казалось, всё чего-то боялись. Впрочем, Цилю можно было бы назвать миловидной, если бы заботы не выели румянец, блеск в тёмных глазах и кое-где даже черноту волос, оставив в чёрной копне совершенно белые нити, которые, к тому же, имели свойство постоянно умножаться числом.

Кто-то называл Цилю глухой, но это было неправдой. Циля не была глухой, она просто не понимала, для чего ей нужно вникать в вопросы, не имеющие к её жизни никакого касательства. А поскольку жизнь Циля состояла из детей и закладной кассы, то кроме этих двух предметов Циля ни в чём больше и не смыслила. Зато в детях и закладах Циля разбиралась превосходно. И напрасно кто-то думает, что всё это сущие пустяки. Ведь детей надо одеть и накормить, еду достать и приготовить, одежду пошить. А на всё нужны деньги. Откуда же еврею портному взять столько денег, даже если этот портной держит у себя маленькую тайную кассу?

Словом, до поры Шнеерсоны оставались семейством незаметным и никому в целой Москве неизвестным. Исключая разве соседей и закладчиков-бедняков, оставлявших у Арончика разный вздор вроде затёртых бархатных душегреек, подушек, женских платков и табакерок.

Но в один прекрасный день Шнеерсоны незаметно для себя сделали известны всей стране. Во всяком случае, той её части, что читала газеты и проявляла живой интерес к происходящему в империи и её окрестностях.

Хоть Ция и вышла за Арончика «с возу», но всегда любила его по-настоящему, а не из долга только. Во всяком случае, она им гордилась. Ведь Арончик и в Писании был сведущ, и у бимы² любил петь. А как он играл на скрипке? Дай, Господь, Рубинштейну так играть!

Ция совершенно была согласна с тем, что Бог положил властвовать мужу над женой. И очень бы удивилась, если бы кто-нибудь указал ей, что это всё-таки, пожалуй, она властвует над Арончиком, а не он над ней.

– Что это вы говорите? – сказала бы она и подняла брови – она всегда поднимала и без того изогнутые брови, когда удивлялась. – Что это вы такое говорите? Чтоб Господь помог вам во всех ваших делах...

Ция вовсе не была сварливой и мужа никогда не колотила. Но если бы Арончик собрался в Киев, а Ция сказала: «Что, во всём Киеве уже некому похоронить тётю Фейгу?», – то Арончик ни за что бы не поехал. Но поскольку Ция сказала: «Ехай, раз уж во всём Киеве некому похоронить тётю Фейгу», – то Арончик погрузился в поезд и умчался в Малороссию.

А сколько раз Арончик заговаривал с Цией об Америке? Да, Ция слыхала – кое о чём было известно и Циле – что в Америке житьё получше, чем в Москве. Точно так же, как в Москве лучше, чем в Мглине. Ну так Мглин Ция видела своими глазами, а кто же видел Америку? Есть ли кто-нибудь, кто бы уехал в Америку, а потом вернулся, чтобы рассказать, как там живётся евреям? Нет, никто из Америки не возвращался, одни только разговоры. Только мало ли, о чём на свете толкуют. Вон, реб Малах тоже говорит, будто бы есть такая штука, чтобы с другим городом разговаривать. Крутишь будто бы ручку как у кофейной мельницы, а оттуда бабушка Бася говорит:

– Шалом...

И вы ей:

– Алейхем Шалом, бабушка Бася...

Ха-ха-ха! Как все смеялись над рассказом ребе Малаха! Дети взяли кофейную мельницу, крутили ручку и кричали:

– Эй, бабушка Бася, дядя Эля, что вы всё молчите?..

Не всему же, что говорят, верить можно. Говорят, есть на свете Париж, где Ротшильд живёт. Ну так и что? Разве он ждёт у себя всех московских евреев?

А то, что Арончик в тюрьму угодил, так он, может, и в Америке бы угодил, если бы не в своё дело совался. Видно, так уж евреям предписано: горе мыкать и покоя не знать. А если предписано, так значит, предписано. Никакая Америка не поможет. Вот и Арончик пишет: терпи, молись и надейся. А что ещё остаётся евреям, если другие народы их отчего-то не любят?.. Жить остаётся и заниматься своим делом.

Ция ходила на рынок, готовила пищу, принимала ветошь в заклад, то и дело приносила Арончику детей и пребывала в уверенности, что исполняет свой долг не хуже воюющего солдата или поющего кантора. То есть, конечно, она не думала ни о каком долге, но знала, что делает своё дело и ни во что больше не собирается вникать. Вот и кантор не вникает в военную службу и детей тоже не рождает, потому что это не его дело. Она так и говорила Арончику, если тот появлялся на кухне, где полным ходом шло приготовление рыбы:

– Что, у евреев теперь новый Талмуд? Или у мужчин нет других занятий?.. Что ты делаешь в кухне, не про тебя будь сказано?..

А когда Арончик уходил, Ция продолжала рассуждать вслух:

– Незачем таскаться в кухню, когда каждому еврею, и не еврею даже, Бог дал своё дело. Вот ведь я и другие женщины идём в синагоге в женское отделение, а не лезем к биме. Потому что это не наше дело.

Даже когда Арончик попал в тюрьму, Ция хоть и перепугалась сначала, но быстро успокоилась, потому что занялась своим делом. А её делом были еда и дети.

Кто и говорит: нашёл Арончик время в тюрьме сидеть. И Пасху без него встретили, и Пятидесятница миновала. Так, глядишь, и Суккот³ пройдёт без отца семейства. Ну да ведь явится же он обратно! Посидит в своей тюрьме, и отпустят его. Сам же написал: «На то мы и евреи, чтобы терпеть». А уж Настасья на рынке плетёт не весть, что:

– Правда ли, – говорит, – что твой Арон убил там кого-то?



Слышали вы такое? Что за негодница! Нахалка! Сама на рынке стоишь, ну что ты можешь знать за Арончика? Циля ей так и сказала. А Настасья – в смех. Погоди, говорит, сама ещё узнаешь, что там твой благоверный набедокурил – вздрогнешь! И вздрагивать не собираюсь – объявила ей Циля. И больше с Настасьей с тех пор не здоровалась. А Настасья завидит Цилю и ухмыляется. И стала Циля замечать, что вокруг неё всё как-то переменялось. Чем дальше – тем больше косых взглядов. И свои, и русские смотрят как на прокажённую: вроде и любопытно, а коснуться боязно. Видно, Настасья распустила слухи. Но Циля до слухов дела нет. Смотрите – за погляд денег не берут. Глаза бы только не просмотрели.

А Настасья?.. Да чтоб ей тошно стало, этой Настасье!.. На рынке стоит, а думает, что Малкиелева дочка. Циля не то, что здороваться, смотреть в её сторону перестала. Так, иногда скосит глаза. А Настасья смотрит, высматривает – словно выпытывает. Но Циля – мимо.

Так и проходила Циля мимо Настасьи год и даже чуть больше года. Время от времени получала Циля письма от Арончика и верила, что сам он скоро вернётся. «Надо же было поехать в этот Киев, чтобы угодить на погром», – думала Циля, уверенная, что Арончик в тюрьме из-за погромов.

– Сначала бьют евреев, – кричала Циля дедушке на ухо, – а потом их же в тюрьму сажают. Вот какие нынче порядки. Чтоб Господь помог евреям во всех их делах!..

– Кого уважают? – спрашивал глухой дедушка. И Циля махала на него рукой.

Год Циля жилось непросто. Касса приносила копейки – что можно заработать на этой рухляди, что несут к ним в заклад? Заходили родственники, приносили снеди или немного денег. Смотрели на Цилю как на ярмарочную диковину, качали головами, вздыхали и уходили. Вечерами Циля хотелось поговорить, и она обращалась к дедушке. Но дедушка почти ничего не слышал и отвечал невпопад.

Однажды уже на другой год зашёл Шимеле, троюродный брат Циля. Шимеле служил у Полякова и назывался даже Семёном Борисовичем. Шимеле был предметом особой гордости Циля, им Циля гордилась едва ли не больше, чем Арончиком. Шимеле был молод, красив и одет всегда как настоящий господин. Да и по-русски он говорил не как еврей, а как сами русские. Да, не у всех евреев с Покровки родственники служат у Полякова.

– Послушай, Циля, – сказал Шимеле и потряс перед носом у Циля какими-то газетами. – Откуда взялись эти деньги? Все знают, что у вас касса, но такие деньги и я бы не смог выложить за адвоката. Арончик, наверное, скоро вернётся. Но ты... Во всяком случае, ты должна быть осторожна. И может быть, даже закрой кассу – ведь теперь все знают про эти деньги.

– Какие деньги, Шимеле? О чём это ты говоришь? – не поняла Циля, которая так изумилась, что не успела обрадоваться известно о возвращении мужа. – Разве рыба и пшено так дороги, что и сам Поляков удивляется?

– При чём тут Поляков и пшено, Циля, – раздражённо ответил Шимеле, – я говорю об адвокате для твоего Аарона.

– О Чижикове? – вспомнила вдруг Циля.

– Конечно, о Чижикове! Ну кто бы мог подумать, что ты выложишь ему сорок тысяч.

– Сорок тысяч?! – расхотелась Циля. – Что это значит: «сорок тысяч»?.. Ты, наверное, надо мной смеёшься? Даже если продать меня и детей, и глухого дедушку в придачу – никто не даст за нас сорока тысяч. Но Шимеле и не думал смеяться. Напротив, он покраснел и сказал с нескрываемой досадой:

– Не хочешь говорить – это твоё право. Но в Москве уже год толкуют об этой истории. Все газеты только и пишут, что об Аароне Шнеерсоне. А ты хочешь сказать, что не знаешь, что происходит с твоим мужем?

– Почему не знаю? – подняла брови Циля. – Арончик пишет мне письма...

– Да о твоём Арончике все газеты пишут! – воскликнул Шимеле. – На-ка вот, почитай. Все уже знают. Шимеле бросил на стол перед Цилей несколько газет и, ни слова больше не говоря, ушёл.

Циля стояла возле стола и касалась грубой его поверхности кончиками пальцев. Только что она хотела посадить за этот стол Шимеле, чтобы попотчевать его чаем с медовыми пряниками. Но теперь, позабыв совершенно о чае, смотрела с каким-то ужасом на рассыпавшиеся по столу пёстрые газеты, словно это были чудовища, способные погубить всё на свете.

Следует сказать, что газеты эти не сохранились. Точнее, где-то они, конечно же, сохранились. В Государственной библиотеке наверняка хранится парочка экземпляров. А вот у Домны Карповны, с чьих слов передаётся этот рассказ, остались только вырезки из нескольких газет. Среди них есть и вырезки из тех самых газет, что принёс Шимеле Циля, а есть даже из позднейших. Все они посвящены делу Аарона Шнеерсона, и сложив их воедино, вполне можно составить представление об этом запутанном деле. Газеты, которые принёс Шимеле, сохранила Циля. А когда Арончик вернулся из своего затянувшегося путешествия, он присовокушил к газетам Шимеле кое-что от себя. И картина произошедшего в Киеве, получилась довольно полной. Во всяком случае, перечитав эти вырезки, можно составить представление

о том, что же было с Арончиком в Малороссии и почему он так задержался. От Шнеерсонов пачка газетных листков, распухших, пожелтевших, перевязанных для надёжности бечёвкой, попала в конце концов к Домне Карповне. Вот почему история не канула в реку времени, а выплыла по этой реке в будущее.

Циля так и не стала читать газеты, принесённые Шимеле. Зачем? Раз Шимеле говорит, что Арончик скоро вернётся, какое Циля дело, что там пишут в газетах? Циля не суёт нос в чужие дела, с неё довольно своих. Вот почему Циля собрала газеты в стопку, перетянула их крест-накрест бечёвкой и убрала в комод, где лежала скатерть и ещё разные другие нужные вещи. Что там Шимеле говорил про сорок тысяч, Циля не поняла. Главное – Арончик скоро вернётся, и пусть тогда сам разбирается со своими газетами и сорока тысячами. И ведь оказалась права! Арончик действительно скоро вернулся и со всем разобрался: достал из комода газеты, снял бечёвку, взял большие ножницы из того же комода, аккуратно – Арончик всегда был очень аккуратный! – вырезал то, что счёл нужным. Потом выбросил обрезки газет, а вырезки снова перевязал той самой бечёвкой и снова убрал в комод.

Как потом эти вырезки попали к Домне Карповне, сложно проследить – ведь они не раз переходили из рук в руки. Зато мы можем достоверно узнать, что же произошло с Арончиком в Киеве. Для простоты приведём тексты нескольких газетных вырезок, а читатель уж сам во всём разберётся. Тем более в своё время поступал таким образом и сам Арончик.

– Что же, по-вашему, случилось со мной в Киеве? – рассказывал он по возвращении. – Если вы думаете, что я украл козу или подрался на ярмарке, вы смотрите на жизнь через розовые очки или думаете, что живёте среди весёлой постановки. Арончик не крал и не дрался, он просто приехал в Киев, а уже через пару дней все киевские газеты, как стая воробьёв, затрещали один и тот же мотив.

Тут Арончик, любивший иногда говорить о себе в третьем лице, выкладывал перед слушателем свои вырезки. Слушатель превращался в читателя и уже не мог оторваться, не дочитав до конца. Но чтобы никого не утомлять и не отнимать драгоценного времени, мы приведём здесь тексты лишь нескольких вырезок. Впрочем, этого совершенно достаточно, потому что даже из этих текстов станет понятно: почему Аарон Шнеерсон оказался в киевской тюрьме, и почему Шимеле – Семён Борисович – спрашивал у Циля про сорок тысяч.

Верхняя вырезка из шнеерсоновской пачки – она же самая маленькая – содержит следующее:

«Взялись за старое.

Не успели отгреть Виленское, Велижское, Кутаисское, Саратовское дела, как евреи снова взялись за старое. Им опять понадобилась кровь христианских младенцев для своих ритуальных обрядов. Давно известно, что евреи похищают христианских детей, чтобы забранную у них кровь добавлять в пасхальную мацу. История эта тянется давно: в средние века по всей Европе задерживались убийцы, отнимающие кровь у детей. Не раз они признавали свою вину, но, случалось, казнили их нераскаявшимися. Что ж, тем хуже для них. Ужасно то, что и в наше время, в конце XIX века евреи продолжают свою гнусную практику.

Вот, например, недавно собралась в Киеве тёплая еврейская компания. Из Москвы даже прибыл некий Аарон Шнеерсон. Почему же не сиделось Шнеерсону в Москве? – спросите вы. Оказывается, что у него умерла тётушка, жившая в местечке неподалёку от Киева. И Шнеерсон явился на похороны старой почтенной тётушки. Не правда ли, какой благовидный предлог! Но возникает вопрос: отчего бы тогда Шнеерсону и всей его компании, насчитывавшей тринадцать (заметьте!) человек, не сидеть преспокойно в местечке у могилки новопреставленной тётушки? Для чего, спрашивается, вся эта компания разрезала по Киеву, да ещё именно там, где были найдены следы преступления?

О! К самому преступлению мы ещё не раз вернёмся. А для начала хотелось бы обрисовать картину, на фоне которой оно совершалось.

Итак, тринадцать евреев, а ритуальный убой скота связан с тринадцатикратным испытанием ножа, явились в Киев на двух бричках. Один из них (не с миссией ли? И не с посланием?) прибыл из Москвы, все остальные – из местечка. В местечке у них умерла тётушка, бывшая, впрочем, для кого-то и бабушкой. Но вместо того, чтобы оплакивать усопшую, чтобы орошать слезами печали ещё не успевающую высохнуть землю на её могиле, они прикатили в Киев якобы за подарками в Москву и за угощением к Пасхе. Но неужели ни в одном из еврейских местечек невозможно было найти угощения к Пасхе и какого-нибудь пряника, годного на то, чтобы отправиться в Первопрестольную в качестве гостинца? Но нет! Им подавай киевских конфет. Правда – о совпадении! – в те же дни и часы свершилось в Киеве страшное, чудовищное преступление, могущее стать подлинным объяснением прибытия в Киев еврейской компании. На склоне одного из киевских холмов было найдено тело девятилетней Наташи Харченко, дочери сапожника Юрия Харченко. Его жена, убитая горем мать, показывает, что девочка пропала в тот именно день, когда приехали в Киев евреи во главе с Аароном Шнеерсоном. Обстоятельства смерти Наташи Харченко указуют на то, что девочка стала жертвой страшного ритуала.

К счастью, убийцы или пока подозреваемые в убийстве не успели далеко уехать: все тринадцать вместе с бричками и лошадьми были задержаны киевской полицией. Проводится следственное дознание. И очень скоро мы, возможно, узнаем имена подлинных убийц христианской девочки».

Если рассматривать подряд газетную пачку Арончика, то этот рассказ, повторенный на все лады, можно встретить в нескольких вырезках. Жаль, однако, что на бумажных клочках не видно названий газет –



ведь название обычно пишется сверху, а Арончик вырезал только статью. Поэтому и нельзя определить: писала ли то одна газета или разные.

Впрочем, среди однообразных сообщений проглядывает наконец и что-то новое. Не будем приводить целиком вторую заметку – она сообщает примерно то же, что и первая, выпишем только эти слова:

«...Защищает господина Шнеерсона и всю его кампанию – известнейший петербургский адвокат Чижиков, не изравший за свою практику ни одного дела. За это, к слову, петербургские коллеги в шутку окрестили его “заговорённым”. Нам стало известно, что на оплату своих трудов господин Чижиков запросил сорок тысяч рублей, каковая сумма и была доставлена ему еврейми. По одним сведениям, деньги прислала жена Шнеерсона, оставшаяся в Москве, где, по слухам, она ведёт крупное торговое дело. Но говорят также и о том, что евреи чуть не со всей России собрали необходимую сумму для защиты своего соплеменника...».

А вот теперь будет уместным привести два больших сообщения, которые внесут в это дело полную и окончательную ясность. Итак:

«Речь обвинителя на процессе по так называемому делу Шнеерсона.

Ввиду того, что речь, произнесённая прокурором, была довольно пространна, редакция приводит её с небольшими сокращениями, никоим образом не искажающими её смысла и пафоса.

Господа присяжные заседатели! Дело, которое мы разбираем, стало известно всей стране. И не мудрено. Либеральная общественность по всей России объединилась против правосудия и требует незамедлительного освобождения якобы невинно пострадавших. Но обвинение располагает неопровержимыми доказательствами вины всех, находящихся ныне на скамье подсудимых. Факты, господа присяжные заседатели, факты – вещь необоримая. Если нечего возразить против имеющихся фактов, то и разговора не получится. А если есть возражения, то представьте их, и мы с превеликим удовольствием, руководимые любовью к справедливости и законности, рассмотрим всё, что вы представите нам в опровержение. Но пока – увы! – ничего, кроме огульных обвинений в реакционности и мракобесии представлено не было. Но что такое “мракобесие”? Кто это бесится во мраке? И что это за мрак такой, понуждающий пребывающих в нём к беснованию? Вот, о чём хотелось бы поговорить сперва.

Итак, несколько слов о мраке и бесновании. Немало, господа присяжные заседатели, уже говорилось и писалось о том, что существует в среде евреев секта, действительно употребляющая кровь в ритуальных целях. При том, что кровь эта должна быть непременно христианской. И в знаменитой записке Далья, и в книге Лютостанского, и в сочинении монаха Неофита недвусмысленно говорится о том, что секта существует и проводит свой ритуал. Следует помнить, что господин Даль провёл всестороннее исследование вопроса, даже, можно сказать, расследование. А ещё точнее – изучение. Что до Лютостанского и монаха Неофита, то эти двое, сами будучи в недавнем прошлом иудеями, знали, о чём говорили, не понаслышке. Да и тот факт, что в Отечестве нашем, простираящемся от Балтийского моря до Охотского, тела убиенных и замученных детей находят именно там, где дозволяется селиться евреям, говорит не в пользу скептиков и либералов.

Но мы совсем даже и не думаем посягать на весь еврейский народ. Мы лишь призываем признать, что хасиды, как самые невежественные из сектантов, отвергнувшиеся Ветхого Завета и держащиеся лишь Талмуда и разных раввинских сочинений, исказив то самое вероучение, что стало основой и началом христианства, выдумали, по дремучести своей, изуверский обряд. Тем самым они порочат всех вообще евреев, внушая к ним повсеместно ужас и отвращение.

И ладно бы речь шла только о России. Тогда наши западники всегда смогли бы попенять нам невежеством. Но спросите вы любой народ в Европе, в той самой просвещённой Европе, перед которой преклоняются отечественные либералы, и он расскажет вам, этот народ, что за евреями всюду тянется слава мучителей христианских младенцев.

И всюду преступления похожи как две капли воды: дети замучены, обескровлены, тела их покрыты ссадинами или ранами. Но как правило, чистые, словно обмытые, без пятен крови и на одежде. Стало быть, их сперва раздевают, мучают, после чего обмывают и снова, уже мёртвых, одевают. Как иначе, если не ритуалом, можно объяснить все эти странности? Да и при том странности, совершающиеся вблизи еврейских местечек и слободок. И так в разных странах на протяжении веков. Что же мы должны думать об этом? Пусть евреи или их либеральные защитники объяснят нам. Мы с готовностью выслушаем и, в случае убедительных доводов, немедленно прекратим свои наветы и преследования. А пожалуй, что даже и извинимся. Но ничего вразумительного мы до сих пор так и не услышали.

Вот и в нашем деле появление евреев объясняет смерть Наташи Харченко. В то время, как нам пытаются внушить, будто ребёнок взял да и умер сам по себе на улице. Будто зорбовый ребёнок может так просто перестать жить! Свидетели дружно показывают, что видели проезжающих в двух бричках евреев по Назорной улице со стороны улицы Татарской. Свидетели Вера Шкраба и Оксана Кандыба утверждают также, что видели, как евреи разговаривали с Наташей. Брички остановились, один из евреев сошёл и, приблизившись к Наташе, о чём-то с ней говорил. Даже сами обвиняемые не отрицают факта разговора с девочкой, основанного якобы на уточнении некоего адреса. Как будто на всей улице не к кому было обратиться, кроме как к девятилетнему ребёнку! На это обвиняемые отвечают, что и в самом деле на тот момент они более никого на Назорной улице не приметили. Конечно, можно допустить, что именно так всё и было, тем более что свидетели Шкраба и Кандыба видели разговор Наташи с евреями каждая из своего окна. Но тогда получается, что евреи были последними, кто видел Наташу Харченко живой. И не просто видел, но и говорил с ней. А это уже серьёзный повод задуматься и взглянуть на евреев с подозрением. Но только этим дело не ограничивается. Следующие свидетели, видевшие евреев мчавшимися на бричках по Кирилловской улице уже после пересечения с улицей Оболонской,

да при том видевыми уже не из окон, а в непосредственной близости, утверждают, что слышали странные звуки, похожие на детский плач или стон, доносившиеся из второй брички. То есть именно из той брички, откуда на Нагорной улице сошёл один из евреев для разговора с Наташей.

Итак, после разговора с тем самым евреем – Пухаком Белкиным – Наташу никто не видел живой. Нашли её спустя два дня на спуске между Нагорной и Кирилловской улицами. Примечательно, что тело её лежало не на дороге, а в лесу. На теле её – в частности, на шее и обоих запястьях – обнаружены раны, происхождение которых так и осталось до конца невыясненным. Но учитывая встречу с евреями и то тёмное пятно, которое лежит на евреях в отношении христианских младенцев и отроков, а также и близость еврейской Пасхи, многое становится понятным и отчётливым. Евреи похитили Наташу, совершили над ней свой обряд, после чего привезли её тело в уже знакомый для себя лес – ведь именно здесь они спускались с Нагорной улицы на Кирилловскую – и оставили. Стоит, правда, отметить, что поскольку тело пролежало в лесу два дня, то нельзя с уверенностью утверждать, была ли девочка раздета, обмыта и снова одета. Во всяком случае, одежда на трупе была запачкана как землёй, так и кровью. Между тем известно, что девочка разговаривала с евреями на Нагорной улице, после чего евреи свернули на Кирилловскую улицу. А следом туда отправилась и Наташа. Большие Наташу никто не видел живой. Следовательно, её смерть наступила на спуске между Нагорной и Кирилловской улицами. Да притом вскоре после того, как туда свернули евреи. Следует особо отметить, что этот спуск – место довольно глухое, окружённое лесом. Очень подходящее место для совершения преступлений.

Конечно, на следствии евреи всё отрицали и заперались. Но в то же самое время один из них – Элизер Гольд – на вопрос: подтверждает ли он похищение Наташи Харченко и совершение над ней религиозного ритуала по отъятию крови, – отвечает (цитирую): «Как Арончик и Пиня скажут, так и есть». И в другой раз: «Если Арончик и Пиня показали, значит, так и было». Такие показания с полным правом можно считать признательными. И лишь страх перед своими поделщиками удержал Гольда от совершенного признания вины.

Но как бы ни упирались подкудумы, факты говорят о совершении ими преступления.

В этом деле мало свидетелей, господа присяжные заседатели. Можно сказать, что картина преступления не цветистая. Скорее, это не картина, а набросок или рисунок карандашом. Вот пустая, залитая весенним солнцем улица на окраине Киева. По улице идёт девочка. Вот мимо проезжают две брички и останавливаются впереди. В бричках едут евреи в количестве тринадцати человек. Обратите внимание, что тринадцать – это сакральное число для иудеев. Так вот, из второй брички выходит один еврей и обращается к девочке. После чего евреи уезжают, а девочка идёт следом за бричками, и уж никто больше не видит её живой. Через два дня мёртвая, израненная девочка найдена неподалёку от места встречи с евреями и чуть в стороне от того спуска, по которому сначала евреи, а потом и сама Наташа свернули с Нагорной улицы на Кирилловскую. Но, господа присяжные заседатели, если бы не мракобесие, если бы не беснование тёмного и невежественного народа во мраке предрасудков, никто бы и не подумал обвинять этих людей. Но поскольку их соплеменники и единоверцы уже давно известны своими заблуждениями и приверженностью к жестоким ритуалам, нельзя не рассматривать их участия в совершённом злодеянии. Нельзя так просто взять и отмахнуться от вины этих людей в иначе необъяснимом происшествии. Тем более никого, кроме них, поблизости не было, и никаких человеческих следов рядом с телом Наташи Харченко обнаружено не было. Зато свидетельница Андреева с Кирилловской улицы слышала из еврейской брички звуки, похожие на плач ребёнка.

Итак, все линии сходятся в одной точке: совершено ритуальное убийство накануне еврейского праздника.

Так что же мы назовём мракобесием, господа присяжные заседатели? Ужас перед дикими обычаями или сами эти обычаи? Желание разобраться во всём, искоренить дикость и наказать злодеев, покусившихся на дитё, или сплывший гуманизм и стремление понравиться за границе, которой дела нет до наших детей и до нравов народов, населяющих наше Отечество. На эти вопросы предстоит ответить вам, господа присяжные заседатели.

Следующая большая вырезка происходит из другой газеты, что видно по шрифтам. Очевидно, Арончик хотел разнообразить свою газетную коллекцию и приложил к разным изданиям. «Другая газета» ничего не сообщила о том, что печатает речь защитника в сокращении. А потому у нас есть все основания рассчитывать, что сказанное небезызвестным нам адвокатом Чижиковым не подверглось цензуре и редакционным купюрам. В заголовке читаем только: «Речь защитника на процессе по делу Наташи Харченко». И никаких тебе «сокращений, не искажающих смысла и пафоса». Тут же размещена и сама речь:

«Господа присяжные заседатели! В прошлом году накануне еврейской Пасхи, а стало быть, незадолго до Пасхи христианской в Киеве пропала девятилетняя Наташа Харченко. Через два дня девочку нашли мёртвой. Как только началось разбирательство, тут же выяснилось, что в тот же день, когда девочка исчезла, неподалёку от неё на улице Нагорной останавливались две брички, в которых ехали евреи. Эту евреев очень быстро разыскали, тем более что они и не думали скрываться, и привлекли к следственному дознанию. Причём один из них, облюбованный газетчиками в качестве главаря банды ритуальных убийц, приезжал из Москвы на похороны тётушки и уже собирался домой, чтобы встретить праздник в кругу семьи, как вдруг был задержан по подозрению вместе с остальными сородичами. Но хочу обратить ваше внимание, господа присяжные заседатели: не то, что решения суда, нет и не было прямых доказательств виновности евреев в рассматриваемом нами убийстве. Все доказательства сводятся к постыдному непрофессионализму своим вопросу: «А кто же ещё?». Да ещё к не менее постыдному заблуждению о совершении преступлений из ритуальных и мистических побуждений.

И всё это время, господа присяжные заседатели, задержанные, истомлённые неволей и допросами, могли надеяться на Господа Бога и на вас, на вашу справедливость, ваше великодушие и нелицеприятие. Вы уже успели довольно изучить



дело, чтобы наконец вынести именно справедливое по нему решение, чтобы, если и не назвать виноватых, то хотя бы указать на невинных, открыть данной вам властью затворы узилища и доказать, что отечественное правосудие ничего общего не имеет с судом инквизиции и средневековым судилищем.

Дело, которое рассматривается сегодня, весьма необычное дело. Свидетелей происшедшего мало. А тех, кто видел бы обвиняемых и пострадавшую близко или говорил с ними, и вовсе нет. Приходится отталкиваться от домыслов и приблизительных свидетельств. И это при том, что дело стало известно всей России, вся Россия ждёт вашего справедливого, непредвзятого решения, необходимого равно для её репутации и будущего населяющего её еврейства. Потому что еврейство российское – такие же подданные Государя, как и другие народы, а становится жертвами суеверий и племенной резни не должен ни один народ в нашем Отечестве. О том, что в настоящем деле мы столкнулись именно с дикими суевериями, я и расскажу сейчас со всеми подробностями.

Дело действительно скудное фактами, но работа, надо признать, проведена была добросовестная. Тщательно осмотрена улица, по которой передвигалась пешком Наташа и проезжали евреи; осмотрено место, где нашли тело Наташи. Дважды проводилась судебно-медицинская экспертиза: до похорон и после, когда потрепанное уже тело вновь потревожили. По Кирилловской улице в жилой её части ездили взад-вперёд на бричках, возили детей, гусей и даже козлов, которые всяк по-своему издавали громкие звуки. И всё для того, чтобы понять: что именно и как могли слышать свидетели в тот злополучный день. Опросили всю улицу Нагорную и всю Кирилловскую, выяснили всё до мельчайших подробностей. Но укрепить обвинение фактами так и не смогли.

Все свидетели дружно показывают, что видели Наташу Харченко, проходившую по улице Нагорной. Кроме того, все видели, что в руках у неё была булка или пирог, и что на ходу она откусывала от своего лакомства. Кстати, замечу, что возле мёртвой Наташи не было ничего съестного. Все свидетели подтверждают, что евреи проезжали на двух бричках. Да и сами евреи не отказываются от того, что действительно ехали из своего местечка в Киев, что проезжали Нагорную улицу и даже, что останавливались в раздумье и обращались с вопросом к проходившей девочке. Кроме того, евреи подтверждают, и показания их сходятся, что в одной из бричек они везли гусей. А между тем Татьяна Андреева показала, что, находясь у себя во дворе на Кирилловской улице, слышала из проезжавшей мимо брички евреев детский плач, но самого ребёнка не видела. Но о ребёнке она подумала после, когда стало известно о смерти Наташи. А когда мимо проехали евреи, Андреева ничего подозрительного не заметила и вскоре ушла в дом и других сведений по интересующему нас делу представить не смогла.

Дом Андреевой находится на Кирилловской улице. А это значит, что евреи должны были схватить Наташу и затолкать в бричку или же заманить её туда обманом где-то на спуске. Между тем свидетельница Кондыба, живущая на углу Нагорной улицы и того самого спуска, ведущего к улице Кирилловской, утверждает, что видела проезжавших в бричках евреев в десять часов. Время она запомнила, потому что пока смотрела на евреев в окно, её собственные часы отбили десять ударов. Евреи утверждают, что ехали на Кирилловскую улицу с целью повидать своего родственника, некоего Мордехая Шнейерсона, служащего на пивоваренном заводе Термена. Мордехай подтвердил встречу с родственниками, нашлись тому и другие свидетели. При этом Мордехай, не зная о показаниях свидетельницы Кондыбы, рассказал, что сородичи прибыли к нему “около десяти – в начале одиннадцатого”. Учитывая, что протяжённость спуска между Нагорной и Кирилловской улицами составляет чуть меньше версты, и несмотря на то, что сам спуск являет собой дорогу неровную и петляющую, можно сделать вывод, что преодолеть его евреи в бричках смогли бы минут за пять. Но если бы им пришлось возиться с Наташей или хотя бы ждать её на спуске – ведь она шла позади бричек, то время это, несомненно, растянулось бы.

Нам представляется странным, что обвинение не учитывает свидетельские показания Мордехая Шнейерсона, считая его, очевидно, заинтересованным лицом. И между тем, Мордехай указал и на время прибытия сородичей к пивоваренному заводу на Кирилловской улице, и время их пребывания у него в гостях, он показал также, что в первой бричке ехали ещё два гуся, что косвенно подтвердит потом свидетельница Андреева. И ничем не выдал Мордехай своей осведомлённости о наличии в бричках девочки.

Мордехай показал, что приехавшие евреи пробыли у него около часа. И одновременно с этим свидетельница Андреева, живущая дальше по Кирилловской улице, утверждает, что евреи проезжали мимо её дома “до полудня, может, в половине двенадцатого”. То есть если брички в десять проехали по Нагорной, в начале одиннадцатого прибыли к заводу, затем евреи около часа пробыли с Мордехаем, после чего отправились вдоль по Кирилловской улице, где около полудня их видела Андреева, то времени на ритуальные действия у них попросту не было. Если же допустить, что они всё это время возили девочку живой, потом где-то исполнили свой ритуал, потом вернулись к спуску между Нагорной и Кирилловской улицами, то выходит какая-то ерунда. Слишком это всё сложно, запутано, к тому же, никто не видел, как они возвращались. И само собой, никто не видел, как они совершали этот ритуал. Никто также не видел, чтобы Наташа садилась в бричку. Никто не видел, как она ехала в бричке. Никто вообще ничего не видел. Всё, о чём говорит обвинение – всё это вымысел или домысел.

Когда же во время эксперимента мимо дома Андреевой проезжали брички, откуда попеременно доносились голоса детей, гусей, козлов, свидетельница так ни разу и не смогла сказать наверняка, что именно она слышит. Когда мимо проезжала бричка с гогоучущими гусями, то на вопрос, слышала ли она нечто похожее из брички евреев, Андреева отвечала, что, пожалуй, слышала то же самое. Так же она говорила о детских криках и бляении козлов. Всё это лишь подтверждает, что на показания Андреевой, по звуку якобы определившей, что в бричке мимо неё провезли похищенную девочку, нельзя опираться.

Напротив, Андреева лишь подтвердила косвенно показания евреев о гусях и отвела подозрения в похищении девочки. Никто до сих пор так и не смог подтвердить, что девочка была похищена.

Характерно и то, что свидетели, все как один, не сомневаются в виновности евреев. А на расспросы, почему именно не сомневаются, выражают удивление и объясняют, что больше никому. И что раз евреи проезжали мимо девочки и даже разговаривали с ней, после чего девочка пропала, значит, евреи девочку и похитили, и убили, потому что скоро еврейская Пасха. Мне грустно указывать на это, но линия обвинения выстроена на том же фундаменте.

Но средневековый аргумент “а кто же ещё” не может рассматриваться судом присяжных цивилизованного государства в качестве аргумента обвинения. Между тем это именно обвинение настояло на повторной экспертизе, стремясь доказать, что Наташа умерла от потери крови и что будто бы первичная экспертиза отнеслась к этому обстоятельству без должного внимания. Что ж, тело было вторично обследовано и вторично было подтверждено, что смерть наступила не в результате потери крови. И это несмотря на то, что на теле действительно имелись рваные раны: на шее, обоих запястьях и у левой щиколотки. Что касается одежды, она была запачкана кровью и землёй. Это отметили следствие при первом же осмотре.

Хочу обратить ваше внимание, господа присяжные заседатели, что после встречи с евреями Наташу никто не видел. Недалеко от места этой встречи и находится тот самый спуск на Кирилловскую улицу. Именно там, на спуске, но в стороне от дороги и было найдено тело Наташи. Да, смерть девочки остаётся загадочной, но на этом основании, да ещё на том, что больше, мол, никому, нельзя, господа присяжные заседатели, обвинять людей в страшном преступлении. Существенно и то, что к месту, где лежало тело, нельзя подъехать на бричке. Поэтому для того, чтобы оставить замученного ребёнка там, где его позже нашли, евреям пришлось бы нести труп на себе или ехать верхом. Но никаких подобных следов рядом с трупом найдено не было. Не проще ли предположить, что Наташа сама пришла туда, где суждено ей было погибнуть? Известно, что на склонах спуска обнаружены пещеры, и дети в поисках приключений охотно приходят на них посмотреть. Но при чём же тут ритуальные убийства?

Кроме того, евреи ехали впереди Наташи и откуда они могли знать, что она свернёт следом за ними на спуск? Если предположить, что Пцхак Белкин, разговаривавший с Наташей, научил её идти следом за бричками, то опять же встаёт вопрос: а ну как Наташа не пошла бы за евреями? Тогда бы им пришлось долго ждать на спуске, потом, убедившись, что девочка не придёт, искать себе новую жертву, как того якобы требует ритуал. При том, что показания Мордеха Шнеерсона подтверждают, что евреи не задерживались на спуске, а ехали по нему галопом.

Но если бы евреи действительно замучили девочку, то не проще ли было бы отвезти её подальше, в безлюдное место да там и оставить? Да и где бы они могли её замучить? Ведь, судя по описаниям, на которые ссылается обвинение, ритуал довольно продолжителен и обстоятелен. Для его проведения требуется место и время. Но где же эта фабрика магических услуг? Где орудия преступления? Где хоть одна фактическая улика, указывающая на то, что перед нами именно ритуальное убийство?

Господа присяжные заседатели, позволю себе напомнить, что в мою задачу не входит сбор улик, мне не приходится производить дознание или давать объяснения происходящему. Моя задача — защита обвиняемых. Я должен либо убедить суд присяжных в необходимости снисхождения к обвиняемым, либо доказать невиновность тех, кто сидит на скамье подсудимых. В настоящем деле передо мной стоит ещё одна задача: продемонстрировать нелепость и надуманность обвинения. Ознакомившись с делом, я пришёл к выводу: ребёнок погиб по стечению обстоятельств. И дело даже не в том, что мои подзащитные не имеют никакого отношения к убийству, а в том, что убийства никакого не было. Перед обвинением в пору снять шляпу: из несчастного случая раздуто дело о ритуальном убийстве, поднята шумиха на всю империю. И каково же будет разочарование всех, следящих за этим делом и негодующих по поводу гибели ребёнка, когда станет известным, а это обязательно станет известным, что не просто ритуального, а вообще никакого убийства не было. Данные, которыми располагает следствие, позволяют сделать именно такие выводы. И пусть это только предположение; так сказать, версия защиты, но эта версия куда как более убедительна, нежели версия обвинения.

Итак, солнечным весенним днём Наташа Харченко отправляется на прогулку. Вот она идёт по Нагорной улице с большой белой булкой в руке. Вероятно, она понемногу откусывает от своей булки и не спеша продвигается вперёд, наслаждаясь весенним солнышком. Прохожих в этот час на улице нет. Зато мимо Наташи проезжают две брички, набитые евреями, прибывшими в Киев из местечка ради покупок к празднику и даже в большей степени ради покупок подарков в Москву. Обогнав Наташу, брички останавливаются. Из второй брички выходит молодой мужчина и направляется к девочке. Задаёт ей простой вопрос, получает ответ, после чего возвращается к бричке, и евреи уезжают. А Наташа продолжает идти своей дорогой. Сначала она идёт по Нагорной улице, затем сворачивает на спуск к Кирилловской улице. Здесь на подоле раскинулся самый настоящий лес. На кустах и деревьях уже появились почки, среди бурой прошлогодней листвы пробиваются первые маленькие цветы. Но главное — здесь знаменитые пещеры, манящие ребятню уже давно. И нет ничего удивительного, что девочка захотела посмотреть на цветы или заслужить в пещеры, для чего и сошла с дороги. Но именно здесь и настигло её какое-то несчастье. Что же это могло быть за несчастье?

Вспомним, господа присяжные заседатели, что Наташа держала в руках булку. Но когда было найдено тело, никакой булки рядом с ним не оказалось. Небольшое количество этой злосчастной булки нашли в желудке Наташи. Но основная часть просто пропала без вести. Отметим, однако, что вокруг тела Наташи были найдены во множестве собачьи следы. Следствие так и объяснило отсутствие булки рядом с трупом: её съели собаки. Но что если собаки, от которых порой приходится отбиваться палкой, стали причиной не только исчезновения булки, но и гибели ребёнка? Ведь на теле найдены



рваные раны. Что если это собаки напали на девочку: схватили за ногу (рана на щиколотке), отняли булку, вцепившись в руки (раны на запястьях), и наконец впились в шею? Девочка могла упасть, потерять сознание и, пролежав на холодной земле, умереть от переохлаждения. Много ли нужно слабому детскому организму? Тем более, как показала мать Наташи Харченко, не так давно девочка перенесла тяжёлую лихорадку и даже была несколько дней в беспомощности. Оправившись, она первый раз за много дней вышла на свежий воздух. И вот, совсем ещё слабая, она, как всякий выздоравливающий человек и как всякий ребёнок, радуется первым цветочкам и солнышку, но вдруг подвергается нападению одичавших животных, позарившихся на белую булку. Слабая, не в силах противостоять голодной своре, она падает в обморок и уже не может оправиться. Конечно, собаки могли бы съесть не только булочку, но и девочку. Но, вполне возможно, что-то отвлекло или спугнуло этих хищников. А Наташа осталась лежать на холодной земле. Страх, раны и холод сделали своё дело — ребёнок умер, не приходя, возможно, в сознание. Собаки же, сделав чёрное своё дело, отправились дальше протыкать еду, и где они сейчас, никто не знает. Но при чём же тут, скажите, евреи?

Теперь о крови и ранах. Оба раза врачи, проводившие экспертизу, подтвердили, что раны были рваными, а не резаными или колотыми. Что смерть наступила не от потери крови. Но в таком случае, как и для чего могли евреи замучить девочку до смерти?

Господа присяжные заседатели, вам, без сомнения, известна история вопроса. Я имею в виду обвинения против евреев в употреблении или христианской крови. Принято думать, что ещё при императоре Константине были случаи, когда иудеи распинали христианских младенцев. А сколько раз в Европе обвинялись евреи в отъятии крови у христианских детей! На Рейне сохранилась даже часовня с мощами якобы замученного евреями младенца. До недавнего времени выносились по всей Европе приговоры евреям. Но можно ли до конца доверять этим приговорам и обвинениям? И не пытались ли евреев, бывших всегда не подозреваем, только использовать, чтобы переложить вину? Ведь гораздо проще, нежели искать настоящих убийц, взыскать всё на евреев, как на всеми нелюбимый и притесняемый народ.

И вот евреев, под пытками готовых сознаться в убийстве хоть собственных детей, казнят, сжигают, изгоняют. А слава о них как о мучителях христианских младенцев идёт во все концы земли. Но просвещение принесло долгожданные плоды, и постепенно подобные обвинения прекратились в Европе. То, что Талмуд вообще запрещает употребление крови, стало известно многим.

И в то самое время, как отношение к евреям в Европе стало постепенно меняться на цивилизованное, у нас вдруг объявился некто Аютостанский, бывший то раввином, то кеёндзом, то православным иеромонахом, расстригимся наконец и надевшим светское платье. Сразу зададимся вопросом: можно ли доверять в вопросах веры человеку, менявшим свою веру несколько раз на протяжении жизни?

Но кроме своего непостоянства господин Аютостанский известен ещё и путанным сочинением, написанным им против своих бывших единоверцев в угоду очередным. Обвинитель, обращавшийся в своей речи к хасидам, пользовался, очевидно, сочинением господина Аютостанского. Потому что и господин Аютостанский утверждает, что обычай употребления крови восходит к талмудистам-сектантам. Но как в таком случае быть с теми делами, что заводились против евреев в средние века? Ведь секты хасидов тогда ещё не существовало. Не следует ли признать эти дела сфабрированными, а большинство обвинений ложными?

Секта хасидов, на которую ссылался обвинитель, возникла в восемнадцатом столетии. Поэтому все утверждения, что ритуальные убийства совершают хасиды, наталкиваются, как на каменную стену, на вопрос: кто же тогда совершал их до появления секты? И если до появления хасидов обвинения против евреев были ложными, кто может поручиться, что после возникновения секты можно быть уверенным в правомерности и правдивости обвинений?

Обвинение также ссылается на велижское, саратовское, кутаисское и прочие дела, аналогичные, разбираемому ныне. Но тут же умалчивает о том, чем заканчивались эти дела. Например, по велижскому и кутаисскому делам было признано, что все показания нельзя принять в качестве судебных доказательств — так они путаны и бесполоковы.

И если, как, например, в саратовском деле, доноситель и сам оказался преступником, то наше дело уж настолько далеко от каких-то интриг, что нарочитость его очевидна даже при беглом взгляде. Однако вместо того, чтобы противостоять суевериям и невежеству, обвинение только их поощряет, опираясь на доказательства вроде «если не евреи, то кто же ещё».

В делах, подобных нашему, в свидетели обычно призываются упомянутый уже Аютостанский, монах Неофит, сумасшедший Серафимович — компания более чем странная и несерьёзная. Всё это еврей-выкресты, бывшие раввины и, скорее всего, люди не вполне уравновешенные и нормальные. Серафимович рассказывает о себе, что и сам, будучи раввином, закалывал детей, у которых собирал кровь, белую как молоко. Судите сами, господа присяжные заседатели, можно ли верить подобным рассказам. А в 1877 г. господин Аютостанский обращался к московскому раввину и заявлял, что откажется от издания своей книги «Об употреблении евреями талмудистами-сектаторами христианской крови». Но откажется на труд шантажиста, как на достоверный источник? Ответом господину Аютостанскому стал труд московского раввина Минора, посвящённый другому сочинению Аютостанского — «Талмуд и евреи». Труд прямой, честный и разоблачительный.

Люди, меняющие веру как перчатки, возводящие страшные и ничем не доказанные обвинения на вчерашних единоверцев, обвинения, основанные на диких фантазиях, не должны становиться для нас моральными авторитетами.

Господа присяжные заседатели! Перед вами сегодня стоит непростая задача. Одно дело — это оправдать невинных, и уже другое — покончить наконец с суеверием, с глупым обманом, превращающим Россию в рассадник мракобесия. Да, да! И я не побоюсь этого слова даже после всех языковедческих экскурсов, предпринятых обвинением. Мрак невежества,

скудоумия и бескультурия должен быть рассеян. И как можно скорее. Ажестам, провокаторам и сеятелям розни должен быть дан немедленный отпор. Всё это сегодня в ваших руках, господа присяжные заседатели. На вас устремлены глаза народов России, ожидающих приговора как ответа на вопрос: останемся мы и дальше тёмным царством любителей суеверий и бабьих сплетен или же просвещение укажет нам новую дорогу, широкую и светлую, ведущую к новой жизни, к царству разума и здравого смысла».

В конце пшнерсоновской пачки собраны несколько небольших заметок, в тех или иных выражениях, сообщающих следующее:

«И вот наконец наступил день, когда присяжные должны огласить свой приговор. Два ответа на два вопроса включает вердикт присяжных.

Два вопроса и два ответа, от которых зависит жизнь тринадцати человек. Вся страна от Варшавы до Камчатки ждёт этих ответов. Но больше всех, конечно, волнуется Киев, невольно ставший ареной столкновения мировоззрений. Кто-то, пребывая в плену суеверий, ждёт расправы над евреями. А кто-то, напротив, призывает здравый смысл. Площади Киева затружены народом, словно в великий праздник. Церковь, обращаясь к народу, просит о спокойствии. Полиция просит разойтись, но никто не хочет подчиняться. И вдруг по улицам разносится: “Оправданы! Оправданы!”. Неописуемое волнение и поистине праздничная радость охватывают город. Собираются группы и говорят, говорят... Как будто тринадцать судимых евреев стали враз родными всему городу.

Два вопроса и два отрицательных ответа, дважды повторенное слово “нет” спасло тринадцать жизней и вызвало ликование. Доказано ли, что убийство Наташи Харченко имело ритуальный характер? Нет, не доказано. Доказана ли вина подсудимых? Нет, не доказана. И последние слова председателя: “Вы свободны, можете занять места среди публики”. Ахуй, Псайя! Торжествуй, правда!».

Конечно, Исайя тут совершенно ни при чём. Просто, наверное, вспомнивший пророка не сумел иначе выразить своего восторга. Но дело совсем даже не в Исайи. Да и не имеем мы такого намерения пересказывать и тем более переписывать все заметки и статьи, все речи и рассуждения, оставшиеся после Арончика. Достаточно просто ознакомиться с несколькими вырезками, чтобы отчётливо представить себе: что там случилось в Киеве и что довелось пережить Арончику в компании сродственников.

Можно представить себе и чувства, с которыми он наконец-то вернулся домой. И что бы вы думали? Пospel-таки к самой Пасхе. Правда, с опозданием на год. Но на это сам Арончик сказал, что мог бы опоздать и на два года, а мог бы – и на десять. А поскольку год – это лучше чем десять, то надо радоваться. На что Циля только покачала головой и заявила, что хоть год и лучше, чем десять, но это ещё не повод опаздывать и сидеть по тюрьмам. И что еврею лучше сидеть дома, потому что суббот и праздников много, а кто же даст отмечать их в Киеве. А раз уж в Киеве сажают еврея в тюрьму только за то, что он проехал в бричке по какой-то там улице, то и нечего делать в этом городе. С этим Арончик был вынужден согласиться, тем более что он просто не мог вспоминать без дрожи о Киеве.

Зато многие вскоре забыли о деле Арончика. В газетной пачке больше нет ничего, потому что после того, как Арончик вернулся домой из Киева, где на него хотели повесить киевских собак, о нём тут же перестали писать. Sic transit gloria mundi. Вчера о человеке шумели все газеты, а сегодня никто и не вспомнит его имени. Но Арончик был неглупым малым и, скорее, обрадовался такой забывчивости.

Но если вы думаете, что с возвращением Арончика история заканчивается, вы ошибаетесь. Вы, как сказал бы Арончик, попросту не знаете жизни. А жизнь – эта такая перенаселённая квартира, что подвох может случиться в любую минуту там, где его совсем не ждёшь. Впрочем, в случае со Шнеерсонами едва ли можно говорить о подвохе. Даже Шимеле – Семён Борисович – предупреждал Цилю. Но Циля и Арончику было угодно называть это подвохом. Что ж, это их право. Словом, однажды...

Однажды в самый праздник Судного дня, когда еврею непременно нужно быть в синагоге, а синагогу в Москве закрыли, так что евреи метались в поисках молельни, Арончик, а следом за ним и Циля отправились на Бронную, где на праздник открыл свою молельню Поляков. И было не по себе в тот день Циля. Что-то давило, томилло и не хотело отпустить. Но Циля не связывала это с праздником. Она вообще это ни с чем не связывала. Просто казалось ей, будто кто-то дёргает за кончик души, не оставляя в покое. Будто щиплет кто-то за самое сердце, отчего сердце ноет и бьётся чаще. И только когда вернулись домой и отперли дверь, поняла Циля, отчего ныло и билось сердце. Едва только отперли они дверь, как замерли на пороге, потому что уже с порога недавно оставленное жилище показалось им преображённым.

Окно в первой комнате слева от входа было распахнуто. Занавеска, некогда отличавшаяся своей белизной, плавала в воздушных потоках, то и дело врывающихся в комнату, как медуза в южных водах. Стул, вместо того чтобы стоять на четырёх ногах, лежал на боку. Дверцы буфета были распахнуты, как ещё не остывшие объятия, а то, что недавно называлось чашками, рассеялось по полу в совершенно разрозненном, если не сказать развешествлённом виде. Тут же среди осколков лежали остатки маленького сундучка, деревянного ковчежца, стоявшего прежде в тёмных и душевных недрах буфета и хранившего



в утробе своей под замком несколько сотен рублей, составлявших не то косяк знаменитой шнеерсоновской кассы, не то многолетние накопления семейства. Тот, кто покусился на ковчежец, очевидно, хотел удостовериться, что его содержимое составляют не пряники, для чего и свернул крышку, как голову предназначенному в суп пылёнку.

Грабитель, очевидно, торопился и ни к чему более не прикоснулся. Так что из следующей комнаты смотрел на хозяев тяжёлый крапёный комод с облупившейся на углах краской. Казалось, что он, нетронутый и неосквернённый, высится над хаосом, как Арарат во дни потопа.

Но Циля, блуждавшая взглядом по черепкам, осколкам и щепкам, вдруг поняла, что не вид разорения поразил и ужаснул её. Гораздо более страшной была тишина, простиравшаяся по комнатам. Дома оставался дедушка с Элей – младшим, семилетним сыном Шнеерсонов – но Эля не мог молчать, услышав, что родители воротились.

И Циля, сорвавшись с места, бросилась в комнату с комодом, а оттуда – направо, в третью комнату, где спали дети и дедушка. Дедушка и сейчас дремал. И, как выяснилось позже, не слышал ни единого звука, пока в квартире бились чашки и вскрывался ковчежец. Но Эля...

– Циля, сердце, он найдётся, кому нужно это сокровище, – пытался успокоить Цилю Арончик. Но это было напрасно.

Она перевернула в доме всё, что ещё можно было перевернуть. Она обежала всех соседей, заглянула под каждый куст и в каждую яму в округе. Бесполезно. Эля не находился.

Арончик и сам начинал волноваться, но постоянно повторял про себя: тому, кто пришёл за кассой, ни к чему художочный еврейский ребёнок. Он пробовал объяснить это Циле, но та лишь воскликнула в ответ:

– Что ты можешь знать?.. Боже мой, что ты можешь знать!.. Когда в семью приходит беда, ты прячешься в тюрьме. Потом появляешься и даёшь мне советы!..

Вечером, сидя за столом на водружённом на место стуле, Циля плакала, когда дверь вдруг отворилась, и на пороге возник Эля.

– Где ты был?! – воскликнуло разом всё семейство Шнеерсонов. А Циля, услышав ответ, разрыдалась ещё громче.

– Я? – испугался Эля, недоумевавший, почему его отсутствие вызвало прилив горя и, на всякий случай, приготовившийся к взбучке.

– Где мы были – мы знаем, – сказал Арончик. – А теперь хотели бы знать, где был ты.

– Я... здесь... недалеко... – забормотал ничего не понимающий Эля.

– А что ты там делал? – не унимался Арончик, а Циля плакала.

– Кто? Я?

– Что мы делали – мы и так знаем. А теперь хотим знать, что делал ты.

– А что я такого мог делать?

– Вот и расскажи нам, что ты такого мог делать.

– Кто? Я?..

Конечно, этот разговор мог бы продолжаться несколько дней, если бы Арончик не придвинулся вплотную к Эле и, нависнув над ним как коршун над пылёнком, объявил громовым голосом:

– Отвечай, где ты был, а не то...

На что Циля вскричала:

– Что ты делаешь с ребёнком, каторжанин!

Но, несмотря на материнскую защиту, вконец обескураженный Эля забормотал обрывки фраз, из которых можно было заключить, что вскоре после ухода старших Эля с одним своим приятелем – русским мальчиком – посетили театр «Скоморох» на Сретенском бульваре, после чего отправились в цирк на другой бульвар.

В иное время его отсутствие не привлекало бы к себе столько внимания. Но тот день был для Шнеерсонов особым. И Циля, выслушав рассказ тяготевшего к сценическим искусствам сына, заломила руки.

– Азохн вей! Чтoб у всех моих врагов были такие дети!.. И такой муж...

Сказав это, Циля отправилась в кухню, утирая на ходу глаза.

– Какие у неё враги? – поинтересовалась тринадцатилетняя Бэлка.

– Настасья, – подсказал Эля, убедившийся, что взбучки не будет.

А деньги, те несколько сотен из шнеерсоновской кассы, так и не нашлись. Не заявлять же, в самом деле, в полицию! Не зря же говорят евреи друг другу: упаси вас Бог от частного пристава и прочих несчастий.

На вора, правда, указали: зашла Голда, жена портного, и тихо-тихо прошептала на ухо Циле, что Гнеся, жена резника из Зарядья, слышала от Енты, жены скорняка, что деньги у Шнеерсонов украл Шепсл.

Да, да, тот самый Шепсл – бездельник и пьяница. Вот он прослышал, что у Шнеерсонов столько денег, что они нанимают в Петербурге адвокатов, и решил поживиться.

– Говорят, на ваши деньги он уехал в Америку, – горячо шептала Голда, так что даже ухо у Циля горело.

Но услышав про тысячи, Циля отняла ухо и для верности отскочила от Голды.

– Тысячи?.. «Тысячи» ты говоришь, Голда?.. Да у моего Арончика волос на голове больше, чем там было тысяч!..

Голда, правда, так и не поверила Цилю, хотя через день объявился и Шепсл – такой же пьяный и оборванный как обычно. Очевидно, его Америка простиралась где-то в районе Хитровки. Встретив его на улице, Циля так посмотрела на Шепсла, что по законам метафизики, он должен был бы провалиться сквозь земаю или стать кучкой пепла. Но ничего этого не случилось. Более того, Шепсл ничем не выдал своей причастности к исчезновению кассы и запел, обращаясь к Цилю, какую-то русскую песню, вынесенную им, видно, из той самой Америки.

– Бездельник! – сказал в ответ Циля. – Вор! Пусть тебя в аду бьют железными прутьями! Пусть тебе мои деньги попере́к нутра встанут.

Сказала и пошла дальше. Пьяный Шепсл остановился и выпучил вслед Цилю глаза.

– Чтоб тебе навечно тошно сделалось! Чтоб и память о тебе истёрлась! – объявила в следующие раз Циля, проходя с большой корзиной мимо Шепсла.

– Оставь его, Циля, – говорил Арончик, когда спустя пару часов уже дома Циля выкладывала из корзины зелень и рыбу, завернутую в мятую газету. – Может, это и не он вовсе. Мало ли, что Голда скажет...

– Не он? – подняла Циля свои округлые брови, поворачиваясь всем корпусом к Арончику. – Может, ты скажешь, кто это? Кто ещё это мог сделать?..

Но Арончик ничего не ответил, но только вздохнул в ответ и отправился просматривать газету. Разумеется, не ту, в которую была завернута рыба, а ту, что ожидала его на столе в первой комнате.

А из кухни долго ещё доносилось:

– Не он... Кто же ещё мог украсть наши деньги, как не этот пьяница Шепсл... Хуже всего, что еврею некому пожаловаться... Вот бы кому сидеть в тюрьме, а не честным людям...

Впрочем, Циля действительно ни слова больше не сказала Шепслу. Но вовсе не потому, что послушалась Арончика. Просто Шепсл, завидя издали Цилю, стал обходить её стороной. А вот пожаловаться у Циля получилось. Она пожаловалась Голде, а потом ещё Енте. А потом и Гнесе, жене резника. И все они были единодушны и единомысленны Цилю. Все они сошлись на том, что больше некому было украсть, кроме как пьянице Шепслу. Правда, и Голда, и Гнеся, и Ента деликатно молчали относительно тысяч и делали вид, что верят Цилю, говорившей, что в ковчеге хранилось несколько сотен рублей. А вот эти несколько радужных бумажек больше не вернулись к Шнеерсонам. Хотя, может быть, там были и не одни радужные, а разного достоинства бумажки. Этого теперь уже никто не узнает.

Но даже и на этом злоключения Шнеерсонов не закончились. Хотели уже выслать их из Москвы, как неизвестно почему избежавших недавнего выселения иудеев из Первопрестольной, но тут, аккуратно по русской пословице, помогло несчастье. За время своего малороссийского путешествия Арончик стал необычайно знаменит. И хотя слава его по возвращении сошла, казалось бы, на нет, но едва только заговорили о его выселении, как в Петербург посыпались письма. Чуть ли не вся страна просила оставить Шнеерсонов на месте. Домна Карповна рассказывает, что лично видела письмо одного писателя, адресованное на очень высокое имя. В письме сообщалось, что «этот несчастный сын своего народа столь много претерпел, что заслуживает снисхождения и высочайшей милости, о чём и просит за него московская интеллигенция». Какова была судьба этого письма, доподлинно неизвестно. Известно только, что просьбе московской интеллигенции в Петербурге вняли. Такое иногда случалось в то время.

¹ Счастье ему привалило! (*ивр.*)

² Возвышение, обычно, в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы.

³ Еврейский праздник кушей.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА»

АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СКАЗОЧНИКОМ

(Юрий Нечипоренко, *Маленькие сказки*. – М., Рутения, 2019)

«Маленькие сказки» – на мой взгляд, закономерный этап в творчестве писателя Юрия Нечипоренко. Он уже давно позиционирует себя как детский писатель. Но раньше у него были рассказы для детей и юношества, а теперь он уже «дозрел» до сказок. Я беру слово «дозрел» в кавычки. Потому что жанр, в котором работает писатель, по большому счёту, не важен. Чехов писал, что «лавры Боборыкина» не дают ему покоя и что он хочет написать, наконец, роман. И что? Романа Чехов так и не написал, тем не менее, это один из величайших русских писателей за всю историю нашей литературы. И Юрий Нечипоренко к началу работы над сказками, безусловно, уже состоялся как детский писатель. Но, конечно, освоение нового жанра – это как освоение космоса. С чем я и хочу поздравить нашего автора.

Нечипоренко строит свою книгу в интерактивном тренде: сочинять сказки, словно бы говорит писатель, проще простого. Давайте сочинять вместе! Пара листочков в конце книги – пустые. И призыв автора: «Напиши свою сказку и нарисуй свои иллюстрации». Дескать, начинайте сочинять прямо сейчас! И записывайте свои собственные сказки вслед за моими. В этой же книге. Книга, в которой можно ещё и писать – чем не находка для ребёнка? Такой подход идёт в русле новейших веяний. Актуальность произведения демократична; современный автор даже не задумывается, что он «не Пушкин». Не боги горшки обжигают! Главное – намерение, воля, желание, страсть! Все начинают с малого! Я бы сказал, что «Маленькие сказки» Юрия Нечипоренко – это пособие для начинающего сочинителя. Это сказки малоформатные, без особо продуманной драматургии, свойственной, скажем, произведениям братьев Grimm или Ганса Христиана Андерсена. Это сказки-наброски, темой которых стали в большей степени свойства человека, а не драматические коллизии.

Общая тема всех представленных в книге сказок – человеческие странности. Казалось бы, тема вовсе не детская. Юрий Нечипоренко опровергает такое мнение. Дети тоже часто не вписываются своей маленькой личностью в общепринятые нормы. Ничто человеческое не чуждо любому возрасту. Вот, например, сказка о человеке, который любил переиначивать слова. Вначале мы повторяем слова за родителями. Потом – освоившись, начинаем их по-своему переиначивать. Юрий Нечипоренко в рассказе о человеке, который любил всё переименовывать, касается очень важной, на мой взгляд, темы. Если слова, сеющие раздор и ненависть, заменить другими, то и вражды, и распри станет на порядок меньше. Как назовёшь свой корабль, так он и поплывёт. Если матерные слова, которые слышатся в нашем отечестве повсюду, заменить на другие, то и культуры, и гармонии, и света станет больше. А зла станет меньше. И в этом плане Юрий Нечипоренко выступает как просветитель. И, что особенно мне нравится, делает это не напрямую, а через игру, в форме сказки.

Возрастная аудитория сказок Юрия может быть очень разнообразной. Вот, например, сказка-притча о человеке, который светился. Человеку, наделённому таким необычным свойством, нелегко жить среди людей. Мы восхищаемся выдающимися людьми, но при жизни они, как правило, вызывают раздражение своей непохожестью на остальных. То же самое происходит с людьми, наделёнными необычными свойствами. Пинки да насмешки – их обычный удел. Не все наши качества полезны и могут быть своевременны востребованы. В сказке Юрия Нечипоренко только наступление тотальной темноты сделало нужным несчастного человека, который светился. А ведь это мог быть святой человек с нимбом!

В «Маленьких сказках» автор проявляет отменное чувство юмора. Например, в сказке о человеке, у которого ноги не дружили с головой. Порой юмор переходит в сарказм («Важная дама»). Но это не просто сатира – это увещание, это предостережение. Не поступайте так, как героиня этой сказки – всё может закончиться плохо! Даже если это будет не гибель, а просто полное одиночество. А зеркальный человек у Нечипоренко отражал всё криво и неправильно. Маленькие люди казались большими, а большие – маленькими. Это его свойство нравилось детям, но совсем не нравилось взрослым.

«Маленькие сказки» изданы в популярном детском формате – широкоформатная плоская книга, где на каждой странице много иллюстраций. В сущности, это книга о разнообразии мира, в котором живут люди, о разнообразии самих людей. Кого здесь только нет! Человек, в котором все тонули («Человек-пропасть»), человек с виденьями в голове, человек, который потерял своё лицо, человек, который светился, человек-ключ, человек с тихим голосом... Быть непохожим на других – неудобно. Но порой неудобное качество или способность оказывается нужной и полезной. У тебя слабый голос? Не беда! Если ты говоришь важные вещи, люди будут вслушиваться в твою речь. Нет ничего однозначно плохого. Юрий Нечипоренко выступает как писатель-демократ. Даже на Новый год нельзя всё старое менять на новое – убеждён писатель. Старое тоже может оказаться хорошим, полезным и нужным.

А ещё в книге Юрия звучит тема метаморфоз, сопровождающих человека по жизни. Метаморфоз и воздаяния. Капризная девочка, которая вознамерилась любой ценой преодолеть слишком высокую для неё ступеньку, превращается в гусеницу и переползает, реализовав свою мечту, желанную ступеньку.

Сказки маленькие, а книга – большая. Настоящая сказка – это всегда поэзия в прозе. Не могу не поддаться искушению процитировать одну из миниатюр Юрия. «Жил-был человек с негромким голосом. Когда вокруг собирались его друзья, он говорил очень тихо. Потом ещё тише, тише и тише. И все прислушивались к нему. Стояла абсолютная тишина, такая огромная тишина, что казалось, уже были слышны мысли. И всем очень нравилось то, что они слышали. Они удивлялись потом, как мудро говорит наш друг! Какой он умный! Но когда стали выяснять, что же он сказал, то начали спорить. Потому что каждый слышал своё. И всем казалось, что он каждому говорит именно то, что человек хотел услышать. Вскоре они переставали спорить – и жили уже со своими мыслями. Потому что человек с тихим голосом побуждал их думать самостоятельно, а не слушать других. За то его все и любили».

Мы видим, что сочинение сказок развивает в человеке фантазию. Это так заманчиво – с нуля создать новое интригующее произведение! Каждый может почувствовать себя сказочником. А потом – и стать им в реальной жизни.

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ НАТАЛЬИ ГРИНБЕРГ

(Наталья Гринберг, Диван в стиле викторианской готики и другие пьесы. – Халландейл Бич, Флорида. Blue Ocean Theater Studio, 2019)

Талант Натальи Гринберг уникален тем, что ей одинаково хорошо удаются как юмористические, так и трагические ноты. Её дар ярко проявляется и в комедии, и в драме. Это качество сообщает её творчеству большую амплитуду, удивляет читателей и зрителей разнообразием душевных движений. Радость и печаль в жизни возникают порой синхронно. И Наталья Гринберг удаётся быть убедительной как в миноре жизни, так и в её мажоре. Три пьесы, вошедшие в новую книгу, «Диван в стиле викторианской готики», «Ровесники-ровесницы» и «Ураган», широко и разнообразно представляют талант этого драматурга. «Паровозиком» новой книги Наталья выступает «Диван», на данный момент её самая крупная работа. В «тургеневской» тематике отцов и детей Гринберг находит современный нерв. Дела о наследстве – настоящий Клондайк для драматурга. Надо только самому находиться в гуще жизни.

Пьесы Натальи Гринберг ценны тем, что касаются первооснов жизни. Родители мечтают, чтобы яблоки от яблони далеко не упали. В этом – залог сохранения рода и продолжения фамилии. На примере отдельно взятой семьи Гринберг размышляет о стойкости и выживании человеческого рода. В конфликте отцов и детей она – на стороне любви, на стороне традиций. Издревле существовала родовая преемственность, которая предписывала сыну мельника становиться мельником, а сыну плотника – плотником. Но теперь – «всё смешалось в доме Облонских». Дети идут своими нехоженными тропами, не боясь в самоутверждении конфликтовать со старшим поколением.

«Что есть мера любви?» – к этому вопросу нас осторожно подводит автор пьесы, драматург Наталья Гринберг. Мы измеряем любовь количеством действий, вниманием, энергией, устремлённой к сердцу любимого. Если родители любят нас сильно и неистово, это устанавливает внутри нас некий духовный ориентир, который служит нам мерой любви. И когда ответная любовь наших детей уступает этому критерию по степени самоотдачи, она может показаться нам нелюбовью. Любовь, которая кажется нелюбовью, создаёт в обиженных сердцах апокалиптическую ситуацию. Мы говорим о замечательной пьесе Гринберг «драма», поскольку никто не погибает. Но в сердцах родителей это настоящая трагедия. Яблоко от яблоньки упало к каштану, и в голове у яблони происходит сумятица. Родителям, чтобы выжить, надо перепрограммировать заново свою жизнь. Что вообще очень непросто. Надо занять себя чем-то другим, помимо внуков. Например, творчеством.

Наталья Гринберг мастерски варьирует сцены из прошлого и настоящего. Сама смерть словно бы отступает в тень, оживляя персонажей пьесы. И повсюду у Натальи – «театр в театре». Все мизансцены, даже между второстепенными персонажами вроде валетов, глубоко театральны, со своей внутренней драматур-



пней. Гринберг порой достигает гоголевской глубины характеров. Гротеск, сарказм, мягкий юмор – вот далеко не полный перечень литературных приёмов, которые щедро использует автор. Краски сгущены. Достоинства и недостатки персонажей порой нарочно преувеличены. Безусловно, у Натальи Гринберг есть в этой пьесе ещё один театр – виртуальный. Коллизии разворачиваются в умах людей. В то же время, пьеса абсолютно реалистична. Действие проходит по тонкой грани между жизнью и смертью, во всех смыслах этих нравственных и философских категорий.

В пьесах Натальи Гринберг – «вкусная жизнь», живая, фактурная. Это ещё и «война укладов жизни» – русского и ново-американского. Постепенное взросление отдаляет детей от родителей. Но родительская любовь не уходит в песок. Согласно закону сохранения энергии, родительская любовь помогает Бену поверить в себя и стать успешным человеком. Он закончил Гарвард! Друзья мамы и папы завидуют его успехам! Вот только родителям от этого не легче. Назвать собаку именем сына – это у них уже бездна отчаяния, которое выражается в «хармсовском» юморе. У родителей происходит сублимация любви – вместо «строптивного» сына они заводят преданного пса. Это уже другая любовь – «на расстоянии», «отодвигая» от себя объект любви. «Посмертная» любовь ещё при жизни. Конечно, она очень похожа на нелюбовь. Дети часто невнимательны к родителям просто потому, что у них происходит передислокация внимания. Общение с родителями постепенно перестаёт быть для них самым важным в жизни. А на второстепенное часто и времени не хватает. Любовь родителей начинает утомлять детей своей избыточностью. А ещё – родители привыкли всё делать сообща, семейственно. А дети живут более индивидуально. Сейчас возник ещё и технический, и мировоззренческий барьер между поколениями. Мы искусственно наполняем близких людей собственным видением мира. Живём вроде бы рядом, но каждый обитает на своём отдельном облаке.

Прежде трагедией для родителей часто бывал неравный брак. В пьесе Натальи – и брак равный, и молодые супруги любят друг друга, и детей у них много, и мыслят они в унисон. Но родителей это не радует. Мелочи, накапливаясь, их расстраивают. Негатив перевешивает. Сам процесс общения между старшим и младшим поколением рушит устоявшиеся традиции. Причём молодые не спорят, а просто навязывают старшим свои воззрения. «Я так решил» – и точка. Разрыв с почвой тоже воспринимается родителями как нелюбовь. И эта нелюбовь, существующая, может быть, только в головах родителей, в конце концов, выливается у них в ответную ненависть и разрушает их жизнь. Люди находятся в плену своих воззрений и не могут вырваться за их пределы на свежий воздух. Они «накачивают» себя ими же созданным негативом и потом всю жизнь от этого страдают. Не мудрено, что молодое поколение убегает от этих распрей куда-то в иную, свою реальность. На мой взгляд, «Диван» – самая полифонная пьеса Натальи Гринберг, начинавшей свою творческую жизнь в качестве музыковеда.

Жизнь есть путешествие сознания. И пьеса Натальи – наглядное тому подтверждение. Скажу больше: сознание во многом определяет наше бытие. А не наоборот, как нас долго учили в советских школах. Персонажи Гринберг полны жизни. Они не схематичны, как это часто бывает. Они проживают на сцене большую, яркую жизнь. Переодевание одних персонажей в других (например, сына Бена в адвоката Ауэрбаха) усиливает театральность происходящего. В пьесе постоянно присутствует невидимая глубина. Есть что-то такое, что не проговаривается в словах. Истина, затаившись, только мерцает между строк. Это как у айсберга – его невидимая часть не менее значима. Герои порой поступают нешаблонно – и, казалось бы, немотивированно, парадоксально. Пушкин, когда выводил свою известную формулу «гений – парадоксов дру», видимо, имел в виду как раз глубину нестандартного мышления. Наталья Гринберг так хорошо komponует фрагменты жизни в своей пьесе, что они, оттеняя друг друга, выштырывают в таком соседстве. Мы сопереживаем видимому миру героев Натальи. И пытаемся разгадать невидимое, часто иррациональное, немотивированное в поступках героев. Герои смотрят на нас и разного времени: где-то они счастливы, где-то, наоборот, несчастны. Но все персонажи – тёплые и душевные. Воюют между собой не души, а их мировоззрения. Если подытожить сказанное, Наталья Гринберг в «Викторианском диване» повествует нам о проблеме формы, в которую бывает облечена человеческая любовь. Родителям Бена не легче от того, что их любили, если форма любви была неподобающей.

Я убеждён, что Наталья Гринберг первоначально планировала финал как «посмертный реванш» родителей. Но, потом, видимо, решение переигралось. Сын Бориса и Наташи оказался, на проверку, не таким «плохим». И такой финал видится мне более глубоким. И в жизни, и в кино, и в любимых книгах нам часто хочется «переиграть исход». То, что нелюбовь сына на самом деле существовала только в сердцах его родителей – это словно бы «драма в драме». Невидимое в видимом. Гринберг показывает явление со всех сторон и в перспективе. И это тоже – драматургия. Объективность Натальи Гринберг проявляется и в том, что даже ретроспективную жизнь героев в Советском Союзе она показывает многосторонне: и критикует плохое, и ностальгирует по хорошему. Счастливый талант!

«РОВЕСНИКИ-РОВЕСНИЦЫ»: ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ

«О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность», – писал на склоне лет Фёдор Тютчев. Наталья Гринберг готова возразить в своей пьесе нашему признанному классику. Для неё любовь не «безнадежна» в любом возрасте, если она взаимна. Пьеса «Ровесники-ровесницы» построена по принципу крещендо: повествование всё время идёт по нарастающей. В первых двух частях пьесы её героини влюблены, но не готовы даже к маленькому компромиссу, невзирая на то, что счастье, казалось бы, само идёт им в руки. Женский инстинкт оберегает от доверия к легко дающемуся. Лики предлагаемой любви кажутся дамам неприемлемыми и в чём-то даже оскорбительными. Зато в третьей, заключительной, части пьесы хэппи-энд берёт у судьбы сокрушительный реванш. Казалось бы, всё здесь складывается против героев. Но они настолько целеустремлены навстречу друг другу, что готовы одолеть любые препятствия. И это, вкупе с насмешливостью обстоятельств, производит неизгладимое впечатление. Помните рассказ О'Генри «Дары волхвов»? Мужчина купил своей девушке гребешок, а та остригла волосы, чтобы тоже сделать ему рождественский подарок? У Гринберг героиня делает любимому человеку царский подарок, которым он не может воспользоваться. Но, как у О'Генри, в пьесе «Ровесники-ровесницы» любовь побеждает. Она непобедима, когда люди готовы всем пожертвовать ради неё, «прыгнуть с пятого этажа». Такая любовь не нуждается в телесной красоте для поддержания жизнеспособности: она сама – красота. Красота души. Пьеса Натальи Гринберг чрезвычайно остроумна и изысканна. В конечном итоге, она повествует нам о победе духа над плотью. И мы переживаем катарсис от невероятности удачи, от этой победы, случившейся вопреки всему.

В начале 80-х годов прошлого века в театре «Современник» шли «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова. Были показаны две его одноактные пьесы, объединённые режиссёром театра в одной постановке. Наталья Гринберг, в сущности, тоже рассказывает нам «анекдоты» из жизни одиноких пожилых людей. Одновременно пьеса Гринберг являет собой мягкую сатиру на обычаи и нравы русских эмигрантов, когда разное произношение одного и того же слова может стать почвой для глубоких разногласий между людьми и даже вражды. Писательница наделена высокой степенью понимания жизни.

В чём привлекательность этой пьесы Натальи Гринберг? В богатстве эмоций, часто – диаметрально противоположных. Отчаяние и радость следуют друг за другом. Анекдотичные ситуации, в которые попадают герои, выводят нас на глубокие размышления о природе человеческих чувств. Пьеса местами фривольна, но в целомудренных дозах. Там, где нужны тонкие, особые формулировки, язык Натальи – всегда на высоте. Женщины и мужчины – словно существа с двух разных планет, однако каждый из них готов самообмануться в угоду своим мечтаниям. Впрочем, далеко не всегда «один – любит, а другой – позволяет себя любить». Порой любящий не прощает любимому «пауз» в любви, справедливо полагая, что чувства должны быть равноценными и непрерывными. Победа любви – это всегда победа над человеческой косностью, ограниченностью, над одиночеством – и, в конечном итоге – над смертью. Часто драматург у нас – это просто «переквалифицировавшийся» прозаик. У Натальи Гринберг есть чувство сценичности происходящего. То, о чём она повествует, театрально само по себе, независимо от степени талантливости отдельно взятых реплик героев. Умение видеть мир как театр – редкий дар. Умение мыслить парадоксально – столь же большая редкость. Поэтому очень хочется, чтобы пьесы Гринберг как можно скорее увидели сцену.

ПОСТЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ НАТАЛЬИ ГРИНБЕРГ

Драматургия – особый вид литературы, где герои постоянно разговаривают. Поэтому успешным драматургом может стать тот автор, который умеет ярко индивидуализировать речь каждого из своих персонажей. Для того, чтобы уловить разницу в речи героев, нужен особый слух, и Наталья Гринберг, на мой взгляд, обладает этим талантом. В пьесе «Ураган» Гринберг словно бы сопоставляет по разрушительности две стихии – ураган и войну. Борьба со стихией чётче проявляет характеры людей, их индивидуальные особенности.

Высоцкий говорил, что человек ярче проявляется в экстремальных ситуациях. Поэтому он любил десантировать своих героев в ситуации чрезвычайные, например, в военную обстановку. Герои Гринберг попадают в крутоверть урагана и не знают, что им делать. «Быть – или не быть?» – этот гамлетовский вопрос всплывает в пьесе «Ураган» в неожиданном контексте. Плыть по течению или отдаться воле чувств? Послушаем Шекспира в переводе Бориса Пастернака: «Быть или не быть, вот в чём вопрос. Дстойно ль смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивление...». Надо ли что-то предпринимать, оказавшись перед лицом урагана – или лучше смириться и покориться судьбе?

В пьесе Натальи Гринберг герои не столько размышляют над этим жизненно важным вопросом, сколько действуют, как им предписывает их сущность. Характеры людей не так статичны, как нам кажется. Они выковываются жизнью и временем. Стихия только ловит их в определённый момент жизни – и



проявляет, как лакмусовую бумажку. Застигнутые врасплох ураганом, герои пьесы не успевают эвакуироваться. Оказывается, что в этом доме на южном побережье Флориды застряли не только Миша и Маша, относительно молодая пара эмигрантов из бывшего СССР, а также их родители, но и малознакомые соседи, дряхлые эмигранты из послевоенной Европы.

Фактически, в пьесе Натальи Гринберг действуют два поколения героев, и суматоху вокруг стихии каждое из них воспринимает по-разному. Это тоже – «отцы и дети», но у одного поколения было страшное военное испытание, а у другого – его не было. Возрастные родители ведут себя как дети, полностью положившись на Машу и Мишу. Сосед Альберт чуть не погиб в эпицентре урагана, так как не вполне мог оценить опасность ситуации, в которой оказался, и героически пытался закрыть коктейльным столом дыру в окне. Можно восхищаться его мужеством. Несмотря на преклонный возраст, он спасает своё имущество, свой дом. Как настоящий мужчина, он выполняет долг защиты и охраны. Младшее поколение морально выдерживает прессинг разгулявшейся стихии, помогая соседям, Альберту и Розе, и заботясь о том, чтобы в квартире родителей были приняты все меры предосторожности. Раньше близость дряхлости часто омрачала настроение Маши. Но испытание ураганом исцелило её от мелких страхов. Помогая старым соседям, выжившим узникам нацистских концлагерей, Миша и Маша неожиданно обнаруживают себя в роли старших. Бразды ответственности переходят теперь к их поколению.

Сказать новое слово в теме, о которой пишут все, или хотя бы посмотреть на неё с другого ракурса – дорогого стоит. Пьеса Натальи Гринберг очень трогательно, нестандартно и неслезливо преподносит тему Холокоста. Военная закалка юных узников концлагерей была своего рода прививкой духа, инициацией. Кто прошёл через этот ад и выжил, стали сильными и мужественными людьми. Война проверяла людей на прочность и отбирала самых сильных и стойких. Люди, опалённые войной, крепче стали. Война выковывает дух на всю оставшуюся жизнь. Что им какой-то там ураган! У них был в жизни ураган длиной в несколько лет! В борьбе человека со стихией у Натальи Гринберг побеждает... любовь.

Люди готовы пожертвовать собой ради любимого человека. Особенно трогательно это выглядит у престарелой пары. Старые герои пьесы выдержали нечеловеческое испытание рабского, концлагерного труда на износ. Они выдержали голод, болезни, скотское отношение, побои, холод. Многие после лагерей кончали жизнь самоубийством, сходил с ума, и только самые сильные духом не копались в прошлом, а жили настоящим и будущим. Психологи пришли к выводу, что во многих случаях лучшее лекарство от пережитых ужасов – не вспоминать их. Побеждают эти люди и в схватке с ураганом. Они сильные! Наталья Гринберг, автор «Урагана», знакома со своими персонажами не понаслышке. Она вспоминает, как была шокирована концлагерными татуировками своих соседей. Она видела их совсем рядом – в одном лифте, на пляже, в бассейне. Пьеса Гринберг звучит как победа человеческого духа, победа любви над злом. Жизнь быстро стирает следы разбушевавшейся стихии. Посмотришь сторонним глазом через пару дней – словно бы и не было жуткого, разрушительного урагана. Как писал Семён Кирсанов, «на душе, как в синем небе, после ливня – чистота».

В чём принципиальная разница между ураганом и войной? Перед войной и даже во время войны люди могут объединиться, чтобы вместе, сообща выступить против врага. Перед стихией и во время стихии они это сделать не успевают. Люди настолько начали доверять прогнозам пути следования урагана с точностью до нескольких миль, что чуть отклонившийся от этого пути ураган застаёт их врасплох. Люди ленятся уезжать – «авось пронесёт», ждут до последней минуты. Застрять в заторе на несколько суток может быть более опасным, нежели пересидеть ураган внутри блочного дома с пуленепробиваемыми окнами и стальными ставнями. Стихия приходит неожиданно, нападая отовсюду, со всех сторон, с нечеловеческой силой. Но любовь побеждает стихию. Любовь и фронтовая закалка старшего поколения.

Люди загорают на солнышке, забыв напрочь о перенесённых в молодости страданиях. Но, поскольку они тогда выстояли и не погибли, в них, теперь уже немолодых людях, таится некая непроявленная сила, неведомая и недоступная другим. В пьесе «Ураган» мы видим ставшее уже фирменным элементом творческого почерка Натальи Гринберг смешение смешного и трагичного. Возникает резонный вопрос: «А кто же главный герой пьесы?» Ибо, по сокровенному смыслу, заложенному в пьесе Натальи Гринберг, главные – это престарелые узники фашистских концлагерей, которые практически ничего не говорят. Что-то есть важное за пределами произносимых человеком слов. Слова – это ещё не всё в человеческом общезитии.

Ураган – вызов людям, проверка их на прочность. Здесь Гринберг идёт за Сартром и Камю. «Ураган» – это новейший постэкзистенциализм. Драматург задаётся вопросом: а хорошо ли относительно молодым людям жить на одном пространстве со стариками? Гуманно ли это? Всё в этом мире относительно. И, если 50-летние молоды в компании 80-летних, то, если поместить их рядом с 20-летними, далеко не факт, что жить в таких условиях им будет комфортно. Наталья Гринберг – великолепный рассказчик. Писать пьесы начала, работая в любительском театре. А даром представлять жизнь персонажей в диалогах Наталья наделена сполна. Её пьесы – это самый широкий срез эмигрантской жизни в Америке. В заключение, хочется пожелать ей непременно увидеть свои замечательные пьесы на сцене драматических театров по обе стороны океана.

УНИКАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ И ЕГО КНИГА

(Эльдар Ахадов, *Вибрации жизни*. – М., *Издательские решения*, 2019)

В Начале была вибрация. Именно вибрация на заре времён превратила неживую материю в жизнеспособную биомассу. Что касается книги Эльдара Ахадова, то здесь «вибрация» оплодотворяет уже существующую, но ещё инертную жизнь. «Вибрация – возбуждённое энергетическое поле», – говорит писатель. Новая книга повествует о жизни мессий, иллюминатов, а также лучших наших писателей. Эльдар Ахадов обладает нестандартной философичностью и теплотой души, свойственной очень немногим людям. И по мысли, и по чувствам у него всегда «жарко». Но именно это и придаёт ценность его произведениям! В отличие от Ницше, у которого была, по его собственному признанию, «злая мудрость», у Ахадова, безусловно, мудрость «добрая». «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут», – говорил великий артист Юрий Никулин.

В «Вибрациях жизни» много глав, посвящённых разным людям, событиям и эпохам. Но, думается, я не погрешу против истины, если скажу, что центральное место в книге занимают «Сын человеческий» (повесть об Иисусе Христе) и «Тайна гибели Пушкина». Больше всего полемики в душе читателя вызывают те главы из книги Ахадова, которые посвящены жизни Христа и его апостолов. Большое достоинство поэта – не всё брать на веру; искать новые объяснения, казалось бы, хорошо известным событиям. Автор вычитал в Евангелиях строки, доказывающие невиновность Иуды. Сердце-объектив Эльдара Ахадова всегда настроено на чудо. Поэтому не случайно чудо заходит в гости к писателю, как к себе домой. Ахадов изобрёл действенный принцип, как искать в евангелиях реальные факты из жизни Христа. Как отделить реально жившего на рубеже тысячелетий Сына Человеческого от Иисуса Христа канонической церкви. Писатель, исследовав евангелия, вычислил, что первым было написано Евангелие от Марка. Эльдар призывает нас читать первоисточники более внимательно. Но очень трудно быть конгениальным такому даровитому читателю, как автор «Вибраций». Например, сравнивая списки апостолов во всех четырёх канонических евангелиях, Ахадов продельывает при помощи своего невероятного интеллекта, в сущности, компьютерную работу. Кто-то бы с такой работой не справился вообще, а у кого-то на это ушла бы вся жизнь. Поэтому резюмирую: работа Э.А. об Иисусе Христе уникальна в своём роде. Эльдар вообще очень хорошо анализирует то, что пишут другие исследователи. Я бы охарактеризовал это его свойство как дар обобщения.

Работа Ахадова – это не просто комментарии. Мы имеем дело с исследовательским переформатированием материала евангелий. Эльдар говорит о «многолетнем труде». То есть эта работа вызревала у него долго и написана была не сразу. Мне представляется, что задача книги о Христе – деидеологизация жизни этого великого человека. И это, конечно, не фронда с религией – это поиски правды. Правда сама по себе – вещь привлекательная. Но она оказывается, в данном случае, противницей мифа. И если кто-то нападает на писателя Ахадова, надо понимать, что нападают (или защищаются нападением) не отдельные люди, а партия защитников мифа. За миф – против правды! «Миф – это настоящая правда, а то, что автор выдаёт за правду – это ложь», – думают такие люди, объединяясь против автора. Им кажется, что сама работа Ахадова требует, как говорят фехтовальщики, «парад-репоста» – немедленно перейти от защиты к нападению. И наш автор здесь не первый и не последний. Была уже в середине XIX века книга Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», и его современники так же рьяно нападали на автора. Доктор богословия Фредерик Фаррар написал книгу – отповедь Ренану. Ничто не ново под луной. Но люди мира, как бы там ни было, имеют право знать правду. В обществе постоянно есть социальный заказ на правду. Который в данном случае блистательно исполнил писатель Эльдар Ахадов. Справедливости ради, должен заметить, что работа Ахадова не носит антиклерикальный характер. Она очень спокойна по существу, доказательна и не направлена против кого-либо.

Эльдар Ахадов предлагает нам новую нравственную систему координат, где Бог, подобно Солнцу, покоится не в раю, а «в бездне неба». Но эта бездна неба зеркально отражается на Земле. В авторской мифологии Эльдара Ахадова Бога не славят и даже не критикуют. Он действует сам, он сам выбирает себе местопребывание. О Пушкине у Эльдара работа тоже нестандартная, «раскаляющая» аудиторию на горячих сторонников и противников. Но кому они нужны, скучные книги, повторяющие одно и то же? Ахадову важно, чтобы его книги были резонансными, выводили читателя из духовной спячки.

Готов признать, что мои познания в области географии порой весьма приблизительны, и в этом плане книга Ахадова оказалась для меня поучительной и познавательной. Я, например, не мог отличить Самос от Самосаты. Оказывается, это два разных места! Самос – это остров в Греции, а Самосата (Самсат) – город в Турции. В Самосате вам не предложат самосада! И таких мест в книге Ахадова очень много. Э.А. одинаково внимателен и к «внутренней» и к «внешней» жизни. Мы часто ищем что-то в своём сердце, а находим – на улице или в квартире. Но именно эта «двойная» настроенность и делает человека писателем, художником, музыкантом. Мыслителем. В этом философском контексте у Ахадова появляются рассказы о малоизвестных фактах из жизни Пушкина, Лермонтова, Есенина, Гумилёва и других писателей...



Мастерство Эльдара – в сопряжении радостного и трагического, в умении выйти из драмы в вертикаль космоса души. В даре катарсиса, очищения души через преодоление фатального и неизбежного. И тогда, пройдя через огонь, воду и медные трубы, мы уже равны богам, мы способны повелевать стихиями. В такие моменты особенно сильно веришь в бытие Бога и в высшую справедливость, ниспосланную свыше.

На мой взгляд, не меньшее значение для книги Ахадова, чем работы о Христе и о Пушкине, имеет философское эссе «Теория неопределённости и вибраций», построенное на очень неплохом для писателя знании квантовой механики. «Наш мир зыбок, он существует в вибрациях. Он сжимаем и растягиваем», – говорит писатель. То есть в «Вибрациях жизни», помимо литературной, есть ещё и физическая, и метафизическая составляющие. Редкий писатель сейчас в России интересуется физикой, квантовой механикой и теорией относительности. Приходит на ум в этой связи разве что поэт-авангардист Константин Кедров.

Ахадов обладает уникальной способностью хорошо понимать и детей, и взрослых. Есть связующая нить, объединяющая всё человечество, независимо от возраста конкретного человека, и это чувствуется в каждом произведении писателя. Любое жизненное проявление – космический выплеск энергии. И Эльдара хватает на всё, потому что он всё считает одинаково для себя важным. Есть какая-то удивительная гармония во всём, чем занимается в жизни писатель. Стихи, которые он пишет, являются продолжением поэзии, которая наполняет его жизнь. Чистый лист судьбы поэта переполнен событиями. Эльдар Ахадов наделён даром предвидения. Пару лет тому назад писатель удивил своих друзей пророчеством о том, что в 2020 году его уже не будет с нами. Казалось бы, ничто не предвещало такого исхода. Кто-то испугался, кто-то не поверил. Однако Эльдар Ахадов – человек, который никогда не врёт. Неожиданно для многих у него случился приступ болезни, которая могла унести его жизнь. Однако кто-то там, наверху, сказал: «Рано!» Писатель вернулся и продолжает радовать нас новыми книгами. «Вибрации жизни» – первая ласточка, «вита нова» для возрождённого писателя Ахадова.

Одним из главных человеческих достоинств Эльдара Ахадова является умение выполнять одновременно черновую и системную работу. То есть он может один делать то, для чего другим людям необходимо много помощников. И это своё аналитическое дарование Эльдар в полной мере использовал в работе над «Вибрациями жизни». На мой взгляд, Эльдар Ахадов – немислимый, невероятный, эксклюзивный, сногшибательный писатель! Хочется от всей души поздравить его с новой книгой и пожелать ему новых незабываемых минут творчества. А заканчивает Ахадов свою книгу, как и положено поэту – стихами:

*Мир соткан из небытия,
В котором есть и ты, и я,
И то, чего на свете нет
И не случится в бездне лет.
И жизнь ведёт стезю свою
К бессмертному небытию,
Где ты живёшь, и я живу,
Отсутствуя по существу.*

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ДУШИ

(Никита Брагин, *Дикий мёд. Стихотворения. – Коломна, Серебро слов, 2018*)

Никита Брагин – классицист с сердцем романтика. Он большой учёный, доктор геолого-минералогических наук. Вместе с тем, стихотворения Никиты, вне всякого сомнения, высокопрофессиональны. Известный поэт и искусствовед Станислав Айдинян отметил, с первого же прослушивания, великолепную просодию и чеканность ритмов Брагина. Не случайно излюбленным жанром поэта является сонет. А без виртуозного владения стихотворной техникой делать в жанре Петрарки нечего. Никита создал целый роман в сонетах, написанный от имени итальянской женщины, жившей в эпоху Возрождения. Её звали Лаура делла Скала. Нам всем очень повезло, что с начала нулевых годов поэты стали бурно обсуждать стихи в интернете. Такие обсуждения стали для многих отменной школой. Многие нынешние классики публиковали свои новые стихи на порталах Рифма.ру и Поэзия.ру. Был среди авторов интернет-сайтов и Никита Брагин. Я давно знаком с его лирикой и всегда относился к ней с симпатией. «А душа всё тянется, а душа стремится, всё ночует, страница, на твоей странице». Какая звукопись, звукотерапия у поэта!

*Не лови потайные смыслы
полуночного скрипа дверей,
не считай океанские числа
паспортов, телефонов, зверей,*

*и не путай Ван Гога с Магогом,
на подсолнухе кровь не ищи –
смерть сама просвистит за порогом,
словно каменный шар из пращи,
и уверенно скатится в лузу,
и легко увлечет за собой
мастерство, вдохновение, музу,
контрабас, фортепьяно, гобой...
Эзотерика и гороскопы,
лабиринты и звёздный огонь –
всё уйдет без войны и потопа,
всё развееется в пыль, только тронь.*

*И останутся только – простая,
повседневная зелень травы,
песий лай, голубиные стаи,
и сквозь серое – взгляд синевы.*

Я не совсем согласен с Никитой. Гороскопы, конечно, уйдут, а вот звёздный огонь – вряд ли. Он будет гореть и после нас, вне нашего сознания. Но сила убеждения и словесная магия строк поэта таковы, что, читая их, веришь: да, и звёздный огонь тоже уйдёт вместе с нами. Да что там – весь мир без нас перестанет существовать в своём волновом измерении! Жизнь Никиты Брагина не богата биографическими событиями. Но душа поэта живо откликается на вызовы нашего времени.

*Принеси же из стольного Киева
крестик медный, крупинку святыни,
и судьбиной своей обреки его
на дороги, просторы, пустыни,
и на север, в леса заповедные
отправляясь путем всей земли,
сохрани, как молитву заветную,
и печали свои утоли.*

*И когда совершится неправое
расторжение крови и веры,
и когда над Печерскою Лаврою
в грозной хмарах завоюют химеры, –
ничего не добьются преступники
в чёрном аде костров и костей,
потому что душа неприступнее
всех утёсов и всех крепостей.*

У меня сложилось впечатление, что Никита Брагин ощущает время мистически и умеет отделить зёрна от плевел, преходящее от вечного. Есть здоровая «настоящность» в его мировоззрении. И, хотя он – яркий представитель технической и творческой интеллигенции, не могу избавиться от ощущения, что в лице Брагина стихами со мной разговаривает вековой русский народ. В речах Никиты нет никакого «лубка», никакой сусальности – разговор всё время идёт высоким штилем и абсолютно серьёзно. Брагин – почвенник, который почвенничество своё не выпячивает и не кричит о нём на всех перекрёстках. Однако это очень важно для писателя. Предваряя книгу стихов, он пишет: «Самое главное для русского писателя – чувство земли, почвы, истока. Соединённое с чувством державы и Духа, оно становится силой, позволяющей преодолевать как тяготение косного, материального, так и иллюзорность всеобщего и всечеловеческого, скрывающего за собой то, что враждебно и национальному, и духовному».

*Всё кружится и вьюжится,
рыдая на бегу
до льдистой красной лужицы,
протаянной в снегу,*



*до нашей скорби угольной
и горьких чёрных слез
по всей стране, поруганной
и втопанной в навоз.*

*Становится незначащим
ученье, труд, язык;
под колоколом плачущим –
лоскутный материк;
беременная войнами,
в бреду дрожит земля,
рубцы и язвы гнойные
бесстыдно оголя...*

Образы Никиты, при всей их философичности, всегда предметно-конкретны. Это начинается уже с обложки цвета пепла, на которой под разными углами высечены строки поэта. Всё пережито и написано, как говорил Ницше, «кровью сердца». Даже в обложке мы не отвлекаемся от стихотворчества, как чудотворства. Есть в книге стихи, посвящённые художникам и писателям – Тернеру, Андерсену, Серебряковой. Много московских зарисовок. Коренной москвич Брагин любит и понимает свой родной город. Интересны и его стихи о ближневосточных путешествиях. Но, на мой взгляд, лучшее, что я читаю в книге Никиты Брагина «Дикий мёд» – это стихи не тематические, а лирика «без названия»:

*Когда коснется одиночество
изломом высохших ветвей,
и отзовется только отчество
из горькой памяти твоей,
тогда ты всё увидишь заново,
как в детском радужном стекле –
предутреннее, перводанное,
единственное на земле.*

*Увидишь, словно не утрачены
в десятках проиуршавших лет,
в быту и беготне горячечной,
в дыму дешёвых сигарет –
ни муравы прохлады дивная,
ни тёмных елей тишина,
ни восхищение наивное
смешной девчонкой у окна.*

«Никита Брагин – человек, поражающий своим глубоким спокойствием. Академическое образование не только находит выход в его поэтическом творчестве, но и делает его интереснейшим собеседником. Наше общение во время совместной поездки в Ярославль оставило во мне неизгладимый след», – рассказал мне поэт Андрей Галамага. В Никите есть, на мой взгляд, врождённое чувство меры. Так сказать, «золотое сечение» души. В то же время внешнее спокойствие может сопровождаться у него вулканом внутренних переживаний. Честность, искренность, человечность – всё это присуще музе Брагина.

*Не свет, не мудрость и не сила,
а горе горькое одно
до неба душу возносило,
но было небо, словно дно...*

«Никита Брагин, на мой взгляд, является представителем уходящего типа стихотворцев – выходцев из среды научной интеллигенции, – говорит поэт Александр Асманов. – Все мы помним “физиков”, которые неожиданно для всех становились “лириками” и вносили большой вклад в отечественную культуру». Никита привнёс в поэзию свободу изначальной непривязанности к гильдии мастеров пера. Он – старатель, намывший крупинки драгоценных слов. Все стихи из «Дикого мёда» по-своему хороши. Но есть в книге и такие произведения, которые выделяются даже на этом высоком фоне. У них особая чистота звука и смысла. И мне особенно дорого вот это его экзистенциальное стихотворение, обращённое к любимой женщине:

*Я не скажу тебе о гибели,
уже стоящей у дверей,
я умолчу, что страхом выбелен
простор до северных морей,
и ввек не захочу опомниться
и зашататься, став на край
обрыва, где слепая конница
влетает в разорённый рай...*

*И если значит апокалипсис
не Откровение, но смерть,
я не хочу смотреть, как скалится
над нами костяная жердь!
Мы живы, и у счастья нашего
нет ни затворов, ни ворот,
но ни минуты дня вчерашнего
никто у нас не отберёт.*

Повсюду в творчестве Брагина я слышу голос смерти. Недреманное её око постоянно наблюдает у него за происходящими на земле событиями, и это очень мужественный взгляд на природу вещей. Однако, я уверен, у поэта «фетовское» отношение к смерти. Помните: «Пусть головы моей рука твоя коснётся, / И ты сотрёшь меня со списка бытия, / Но пред моим судом, покуда сердце бьётся, / Мы силы равные, и торжествую я». Вот и у Брагина мы видим торжество жизни, бессмертие прошлого и настоящего, его «неотбираемость». Высокая, настоящая лирика! Никита Брагин – поэт душевный и мастеровитый. Большой лирический дар даёт огранку мастерству. Ибо творчество имеет ценность только при наличии животворящего духа. И «дикий мёд», вынесенный в заглавие книги, для меня – синоним жизни. Резюмирую: очень хорошая книга. Вся. Читать и перечитывать.

«САМ СОБОЙ ПРИРАСТАЯ»

(Герман Власов, *Серебряная рыба золотая. Избранные стихи 2003 – 2019.* – М., Арт Хаус Медиа, 2020)

Мне кажется, в таком названии автором зашифрована оптимистическая идея. Когда рыбак подсекает пойманную рыбу, он может ошибаться в её реальных размерах. Счастье оказалось больше, нежели мечталось. Жизнь подарила больше, чем первоначально обещала. Серебряная рыбка оказалась с золотым отливом. Новая книга знаменует собой превращение Германа Власова из просто хорошего поэта – в необыкновенного. Что-то отстоялось в душе, новые стихи написались и созрели. В прошлом году я оказался на его творческом вечере и был воодушевлён качеством стихов. Мне показалось, что так было не всегда. Чуткий к себе поэт давно не выпускал книг, ограничиваясь журнальными публикациями. Но когда Герман на своём творческом вечере закончил читать, я сразу почувствовал: новая книга готова. И сказал об этом автору. И Герман пообещал нам, слушателям, завершить книгу в самое ближайшее время.

*Совершенно не слышен, пробился сквозь почву росток.
Будет сам себе крышей, приветствовать станет восток.*

*Сам собой прирастая, качаясь под светом луны.
Листья – стая ручная, но нити от них не видны.*

*Тёмной ваги не видно, золотая невидима нить.
Хорошо и не стыдно, изменяя себя, изменить.*

*Это разве не чудо – расти, озаренье любя,
в никуда ниоткуда(наверное, лучше – в себя).*

*Кружевница слепая влетает в ковёр узелок.
Астры – стаи весталок, петуний живой кровоток.*



От этих строчек Германа Власова на меня повеяло ранним Мандельштамом («Дано мне тело, что мне делать с ним?»). Стихи у Власова – «лёгкие», невыдуманные, растущие из гущи его жизни. В его стихах много ностальгии по ушедшей юности, когда все курили «яву явскую» (это не тавтология, а примета времени). И вообще – по всему уходящему. По всем ушедшим.

*Они ушли, а я живу.
Пью кофе, белый хлеб жую,
ломаю сигарету.
Они – Наташа, Вова, Глеб –
едят другой, воздушный хлеб,
ведь их на свете нету.*

*Туман и ветер их паёк,
а молния – что огонёк
китайской зажигалки.
Им ланьши – одеколон,
как наволочка синий лён –
им хорошо, не жалко.*

Мне кажется, Герман Власов обладает хорошим для поэта качеством – он умеет слушать себя со стороны. Умеет посмотреть на страничку со своими стихами глазами постороннего. И отвергнуть сомнительное или неудавшееся. Как фотоснимку порой не хватает резкости, так и стихам, бывает, не хватает чёткости и ясности. Но можно всё это «навести» в своём сердце – внутренней работой и осознанным выбором. Герману Власову в книге «Серебряная рыба золотая» это удалось. Бывает, и корявая строчка напишется, но что-то в этой корявости такое личное, авторское слышится, что поэт чувствует: править у себя эту корявость, поправлять эту строчку ни в коем случае не следует. Как говорил незабвенный Николай Гумилёв, «высокое косноязычье тебе даровано, поэт». Пример такого стихотворения в книге Власова – «Как сошёл ты в сердца тёмный улей...».

У Власова в стихах много самой обычной жизни, с элементами быта. Даже урны на улицах становятся у него предметом поэзии. Его лирика носит тёплый, «домашний» характер. «Лирика в домашних тапочках». Вместе с тем, у поэта много строчек с тёмным, загадочным, не понятным с первого прочтения смыслом. «Ниткой и волосом чёрным – / Фета нежирный петит. / – Милый, о чём ты? / – Что же она не летит?». Надо побыть какое-то время рядом с такими стихами, чтобы понять их смысл. И ещё. Чтобы хорошо понимать лирику Власова, нужно досконально знать русскую поэзию. Потому что у него постоянно возникают переключки с великими русскими поэтами. Вот, например, Мандельштам: «Фета жирный карандаш». Именно с этой строчкой Осипа «спорит» Герман: «Фета нежирный петит». Или то же гумилёвское «сердце – улей, полный сотами». Классическую поэзию Власов знает и любит, она стала частью его собственной речи. Я думаю, что лучший Власов – не модернистский и не авангардный, не тот, который пишет стихи без знаков препинания. И не потому, что я что-то имею против авангарда. Не имею. Даже против постмодерна ничего не имею. Но мне кажется, что в традиционной стилистике поэт смотрится предпочтительней. Там он более органичен. В «Серебряной рыбе» у поэта возникает большая плотность по-настоящему хороших текстов.

*Некрасивой, неловкой казалась.
Вызывала и жалость и страх,
но, раскачиваясь, продолжалась.
Голубиный крылатый размах,*

*пролетающий самую гущу –
перестройку, вторую войну.
Но куда – не ответит зовущий.
Растолкуй мне тогда – почему?*

*Потому что невидимый кто-то
снарядил через полюс в полёт,
оттого, что знакомому нотой
продолжает гудеть самолёт.*

Герман Власов – профессиональный переводчик, человек, который постоянно работает со словом. Он как-то по особенному остро понимает текучесть времени, отпущенного человеку на жизнь. Но мы не услышим из его уст трагедию. Трагедия – не его конёк. Герман – человек спокойный и не склонный бить по разным поводам в набат. У него – великолепная зрительная память и зрение художника. Многие стихи Власова посвящены мастерам кисти – Тернеру, Вермееру, Ван Гогу. А ещё он – человек с фотообъективом, внимательный и к внешнему миру.

*Сон, прилипший к дереву улиткой,
остановленный губами смех...
Солнце, солнце, ты – моя улыбка,
ты – одна для всех*

*Видима сейчас и ощутима...
Дальше – несколько часов
мы идём с тобой, как пилигримы,
в море голосов.*

Порой у Власова неожиданно перекликаются разные виды человеческой деятельности. Например, футбол и поэзия. Казалось бы, что общего между ними? А общего то, что поэт в детстве любил погонять с мальчишками футбольный мяч. Да и теперь, наверное, не прочь поболеть у экрана за любимую команду.

*В разбитое окно влетает мяч,
не мяч, но ком сплошного говоренья.
И лучше б это был словесный матч,
в которах родилось стихотворенье*

*с душой-пенальти, с рифмами голов,
метафорой – проходами по краю,
этажностью – границей секторов
и голосом: «Смотрите, я играю...»*

*Ножной игры зелёное сукно,
овальное лицо у Марадоны.
Но если есть разбитое окно –
поэты собирают стадионы.*

*Легко, без обожания страной
и стайки президентов на трибуне,
поэт играет солнцем и луной
и позжинает тишину, не бурю.*

У Германа в стихах много природы, людей, целая палитра красок. Его мир густо населён, и лирическое «я» нигде не доминирует над остальным. Иногда это просто волшебная чистая лирика, подобно стихам Тарковского-старшего из фильма «Зеркало»:

*Кто говорит, что мир несправедлив, –
ложится спать, грозу не долбив
и свистель меж яблонь не дослушав.
Блаженные – имеющие уши
и слух – в ладони слушать стрекозу,
и смелость – одному гулять в грозу.*

*Кто говорит, что свет жестокосерд, –
не видел майской ночью лунный серп,
не различал в углу овал сирени,
и кисти ив, и жёлтых лип колени.
Под грозный меди аккомпанемент
он – дачник, потерявший инструмент.*



*Вот, в ведрах у смородин – сучкорез,
у яблонь – лейка, плодосъёмник без
привычной ручки свежих зрядок между.
Труды и дни теснятся как одежда
в прищипках бельевых на бечеве:
две майки, лифчик... Топая в траве,*

*ёж появился, нюхает... По кругу
летит Земля. Её кусты, мосты,
дороги, гаи запах, бересты
и ты – одно письмо, к какому другу –
неведомо. Распахивая шарф,
ты благодарный чувствуешь пожар
чуть ниже горла, где гнездится слово
вот этой белой ночью в полвторого.*

*Но слова нет, а есть один ответ,
соединивший облако и свет,
антенны, крыши и зрядущий ливень,
обрывки молний – будет гул за ними –
и пауза, в какой ведёшь отсчёт.
Гром прогремит – ты улыбнёшься: Чёрт.
И ливень льёт, и ты едва одета,
и дом дрожит, и окна из слюды.
И ты добавишь, что настало лето
на узком берегу, вблизи воды.*

У Власова – превосходные пейзажи. Как у раннего Пастернака. А ещё я обратил внимание, что любимое время года у поэта – лето. Правильно поёт Олег Митяев, что лето – это маленькая жизнь.

*Пахнет дождём и берёзой
или её берестой.
Пахнет теплом и навозом
день деревенский простой.
Пахнут сирени, герани
и, осытая герань,
дождь барабанит по ткани,
переливает за грань.*

«Серебряная рыба золотая» (не стихотворение, а книга) неожиданно заканчивается у поэта циклами стихов, посвящёнными литературным героям – Печорину и князю Мышкину. Но от Германа Власова можно ожидать чего угодно – мы ведь помним, что он живёт «сам собой прирастая». И кто знает, сколько ещё спрятано в закромах у этого кудесника слова.

ФЛЕЙТА БРОНИСЛАВЫ ВОЛКОВОЙ

(Бронислава Волкова, *Лучше чем тишина звучать. Стихотворения.* – М., «Стеклограф», 2020)

Когда я говорю о творчестве Брониславы Волковой, я как-то по-особенному волнуюсь. Это новая страничка в русской поэзии. Несколько лет тому назад Бронислава выпустила первую книгу на русском языке. Сейчас в издательстве «Стеклограф» вышла её вторая книга – «Лучше, чем тишина звучать». Волкова – профессор Блумингтонского университета, автор огромного количества книг на чешском и английском языках. Её русский не вызывает вопросов, во многом благодаря изучению в школе и годам учёбы в СССР. «Русским Бронислава владеет на уровне родного языка», – так охарактеризовали её лингвистические способности знатоки. Волкова видит мир очень своеобразно. Она – перфекционист. Название книги глубоко символично – пани Бронислава знает, что лучше, чем тишина, звучать невозможно. Но она ставит перед собой высокую цель – приблизиться к звучанию тишины. Новая книга представляет собой авторское избранное из разных поэтических сборников.

*Мы здесь не одни –
с нами птицы.
Они щебечут в тишине утра,
пока люди не начнут свой вечный крик,
чтобы лучше слышать друг друга.
Потом птицы утихнут –
будто бы совсем исчезнут.
Они разбудят нас новым утром,
после ночи отдыха, когда ненадолго
останутся одни,
чтобы затем снова быть с нами.*

Эта женщина, пишущая на трёх языках, вызывает у меня восхищение своей красотой, жизненной стойкостью и глубиной поэтического дара. Она смогла сгладить в своей душе трагедию Пражской весны 1968 года, сберечь в себе самое светлое и остаться с любовью к России. Стихи Б. Волковой – это космос души. Они пластичны, в них соседствуют временное и вечное, метафизика и самая реальная, настоящая, прожитая и пережитая жизнь. Чтобы так писать, нужен особый дар. Поэт должен сделать самого себя произведением искусства. Если мы откроем, например, томик Уолта Уитмена, а потом сразу же обратимся к стихам Брониславы Волковой, мы поймём, что такое современная поэзия. Предельный лаконизм и ступение жизни. И, в то же время, недосказанность. Плотность речи и воздух между строками. Парадокс? Б. Волкова – поэт необыкновенной образной мощи. Название её первой русской книги, «Шёпот Вселенной» – это не поэтическая метафора. Это вселенская отзывчивость и необычная судьба, вместившая в себя остракизм, изгнание и долгожданное возвращение. Б. Волкова – человек мира. Её философия, отражённая в стихах – чувственна. Всеми рецепторами, всеми фибрами души она тонко чувствует красоту. Она сама – утончённая роза. В ней – сочетание мощи и нежности, красоты и достоинства. Стихи Брониславы – это ступок действительности, в котором есть всё: жизнь, поэзия, философия, музыка.

*Я – Сестра Вода,
я – свет без границ.
Моя сила овладевает
законами души – законами любви.
Я плыву в лебедином мире,
радуясь, между звуками света
в пространстве...
Я тихая красота Вселенной.
Как наверху, так и внизу.
Я приношу свою любовь на землю, чтобы она пылала.*

Бронислава пишет стихи в своеобразной манере. Это верлибры, где метафизика, восточные духовные практики и живая жизнь гармонично дополняют друг друга. Вместе с тем, я не могу стопроцентно соотносить её творчество с известными мне литературными направлениями. Такого рода герметический сюрреализм встречается, например, в произведениях французского нобелиата Сен-Жон Перса. Повествование ступено у Брониславы до предельной степени. Вместе с тем, поэтичность для неё – не самоцель. Главное – предельно точно выразить свои эмоции. Есть у Волковой и стихи прозаического характера. И в этом – огромная свобода выбора для поэта.

Волкова писала стихи и в юности. Затем стихи в её жизни стали постепенно вытесняться научными работами. Но изгнание из коммунистической Чехословакии произвело «перезагрузку» её поэтического таланта. Эмиграция ступала смыслы, закаляла сталь и формируя личность. Стихи Брониславы – это концентрат знаний и эмоций, интуиций и прозрений. Их хорошо читать вместе с эссе «Психологические, культурные, исторические и духовные аспекты изгнания» («Psychological, Cultural, Historical and Spiritual Aspects of Exile»). Это дополняет впечатления от поэзии суровой правдой о её жизни в эмиграции. «Балансирую / на тоненькой верёвке проказы / своей непринадлежности, / натянутой от берега дыхания / – к берегу без дыхания», – так пишет она об этих годах. Однако молодая женщина обнаружила в себе невиданную стойкость духа. «Падение в колючий кустарник может вдруг стать полётом в небо», – признаётся она.

Бронислава пишет не только стихи. Она – лингвист. Она – художник, создающий коллажи, которые являются продолжением её поэзии. А ещё – она пишет прозу, из которой можно узнать о многом. В том числе – о её поэтических пристрастиях. Так, например, в работе «Психологические, культурные, исторические и духовные аспекты эмиграции» Волкова рассказывает о том, что в начале творческого пути большое влияние оказали на неё Осип Мандельштам и его жена Надежда.



Найдя свой неповторимый стиль, Б. Волкова использует его повсеместно. Особенностью этого стиля является нерасщепляемость текста на темы, сюжетные линии и т.п. Порой интонация нагнетается простым перечислением предметов. Периоды, анафоры – всё это есть в творческом арсенале поэта. Стихи Брониславы не наскучивают, когда их перечитываешь, каждый раз открываясь новыми смыслами. Она по минимуму использует искусственные методы построения текста: абзацы, столбики, названия стихотворений. Стихи начинаются у неё без раскочки и сразу же приковывают к себе внимание. Заголовок представляется Волковой искусственным элементом, чуждым естественной речи. К тому же он сужает смысл стихотворения. Бронислава – поэт с чёткой эстетической позицией. Значительную часть её наследия составляют сюрреалистические тексты. Два сокровища – нежность и сила обретаются в сердце поэта, которое не имеет границ. Стиль письма Волковой обладает особой духовной целомуадуренностью. В стихах можно скрыть тайное, сугубо частное, и в то же время сказать всё, что хочешь. Это особый род свободы.

*Я ангел-пою-сопровождаю...
Являюсь тем, кто снова и снова моет свою душу
в боли и в жажде
гореть и зажигать. Я прихожу им
в нужде руку подать.
Я влажная, плавная, как божья мгла,
я вездесущая и зрелая
к поступкам. Однако мало кто
протянет мне руку.
Отчаянье и тень
милее им, чем
жизнь.*

Поэт в этом стихотворении воплощается в ангела и подаёт руку помощи страждущим. Он не ставит себе задачу обратить в свою веру как можно большее количество людей, сделав их своими поклонниками и адептами. Героиня Волковой – выше мира условностей, выше мира, где царят «толстокожесть, теории и пустой пыл». Она это не приемлет, она заранее это отвергает. Она вдыхает «воздух без каблуков». Иногда это одновременно лёгкость и герметичность. «Эфирность» Брониславы метафизична и метафорична. В её стихах присутствуют контраст и противопоставление «своего» и «чужого», жизни настоящей и мнимой, метафизики и диалектики. Б. Волкова – поэт воплощения и утверждения. Не случайно многие её стихи начинаются с местоимения «я». Поэт «присваивает» себе целую вселенную, но – вот парадокс! – в этом нет ни капли личностного эгоизма. Это – переживание мира всей полнотой души. Это – объём бытия.

Бронислава Волкова ещё и лидер, нравственный ориентир. Она – сама жизнь, которая удивляется, что люди сторонятся настоящего, предпочитая «отчаянье и тень». Волкова тонко чувствует невидимое и слышимое. Она сравнивает подземное и герметичное в человеке с движением скал. Кристаллизация чистой радости, одухотворение жизни – таково поэтическое кредо Б. Волковой. «Из праха в душу переливаю сон», – говорит она. Она – душа стихий мира. «Приведи меня к скале, которая выше, чем я», – говорит она в одном из своих стихотворений. Бронислава всё время ищет совершенства. Она хочет стать лучше, встретить того, кто сильнее, увидеть новые вершины. Я бы назвал её поэтический стиль эстетикой цельной фрагментарности. Стихи начинаются внезапно и неожиданно заканчиваются. Словно статуя, извлечённая из глыбы мрамора. Безусловно, мир Б. Волковой – это и отражение того, как люди относятся к ней самой. Бронислава – красивая женщина. Увы, красота – возможно, первое, что постепенно нас покидает. Когда Волкова говорит о красоте, подают свой голос и красота тела, и красота души, и красота мироздания, и красота человеческих взаимоотношений. Поэзия Брониславы всеобъемлюща. В ней есть место и для широких метафорических обобщений, и для вкраплений, взятых прямо из жизни:

*Когда идёт дождь, я щёлкаю орешки
и варю суп с привкусом человеческих слов.*

Бронислава сумела найти особую стилистику, которая делает её стихотворения узнаваемыми. Этот стиль требует от поэта предельного и выверенного знания языка. Пульсирующие стихи, сюрреализм, метафизика в ткани живой жизни, остановленное мгновение... Я охарактеризовал бы его как сюрромантизм. Сложность – естественное состояние души Волковой. Это феномен её образного мышления. Так она чувствует глубинные процессы, которые происходят с людьми и природой. Сложность у Брониславы – вовлечение тайного в явное. Трансцендентная метафора, которая охватывает всё. Это заметно уже в названиях её книг: «Шифровки в уши пень», «Воздух без каблуков», «Глухонемая ладонь», «Из тьмы рождённая».

Я – башня в небо, прикованная к земле.
 Я – страсть тепла увядшего дерева.
 Я – горько потерянная собака, я – разменная монета,
 которой заплачено тому, кто не вышел,
 подобно солнцу, вовремя из дома.
 Я бью в набат и в закрытые двери.
 Я не знаю, как переступить порог – и предаться мечтам в поле.
 Не знаю, как переступить сон – и стать действительностью.

Это синтетический стиль, где есть и реалистические элементы, и сюрреализм, и экспрессионизм. Уровень владения словом позволяет поэту сочетать эти стилистические нюансы. Бронислава много экспериментирует и как художник. Она создаёт полотна в технике коллажа. Творчество Волковой, на мой взгляд, способно стать важным уроком для русской поэзии. В России почему-то принято пренебрежительно, уничижительно относиться к верлибру. Страна самозабвенно графоманит в рифму. Но качество верлибров Брониславы Волковой таково, что сразу понимаешь: это настоящий поэт. Это – путь, это – стиль. Её тексты – «шифровки в уши пены». Западная поэзия давно уже пребывает в свободном плавании, отказавшись от рифм. И Волкова, несмотря на свою «русскую» фамилию и годы учёбы в Ленинграде и в Москве, конечно же, с первых творческих шагов мыслит в этом мировом тренде.

Я вхожу в свет,
 как роза, сверкаю,
 белая и без слёз,
 белая и звеню,
 и свечу себе, как маяк во мгле.
 Слова и тишина просыпаются от глубокого сна
 и едины.
 Я твоя,
 как душа кувшинки, как орхидея, как снег.
 Я принадлежу тебе и себе,
 я позолочена своей любовью,
 я немного дрожу
 от страха перед неизвестностью
 и всё-таки иду,
 вхожу в радость.
 Туда, туда идём мы все,
 большие и маленькие,
 грустные и набухшие,
 благословлённые невинностью.

Наряду с неожиданными метафорами, в поэзии Волковой встречаются тонкие подробности: например, «моя рука в твоей тёплой руке ооченела». У нас много двуязычных поэтов. Но поэт с тремя языками – это нестандартно. Это уже феномен. А ведь она, помимо этих трёх языков, ещё свободно владеет словацким, испанским и немецким! Бронислава – поэт уитменовского размаха. Она перевоплощается в существующее и несуществующее, одушевлённое и неодушевлённое, отдаёт внимание сердца людям, животным, растениям и рыбам. Даже самые простые вещи, как, например, дружба с кошкой или собакой, Бронислава наполняет трансцендентными смыслами. Вместе с тем, эпос у неё сюрреалистически жгат, проговариваясь, как правило, в минимальном объёме строк. Душа лирической героини Б. Волковой – сосуд, постоянно наполняемый радостями и горестями. Она не разделяет своё и чужое: чужое – это тоже своё. Она – соединяет.

Когда мы наконец-то станем
 той любовью, которой воистину являемся, –
 тогда мы будем бесконечностью:
 постоянно создавая – постоянно создаваемыми,
 постоянно превышая возможное,
 постоянно нащупывая иное
 в том же самом,
 мы – Вселенная без границ.



*Как вода,
как лёгкий сыпучий танец,
мы – капелька неба
для тех из нас, кто готов пить.*

Лирика Брониславы Волковой носит вненациональный характер. Я бы даже сказал, наднациональный. Стихотворения, привязанные к определённому месту или культуре, появляются у неё крайне редко. Она излучает радость бытия, у которой нет национальности. Лирическая героиня Волковой – больше, чем просто человек, больше, чем женщина. Это сплав космического и человеческого. Бронислава – посол Востока на Западе. Её река протекает где-то между даосизмом и дзен-буддизмом. Всё это можно прочесть в её стихах. «Человек, который пишет стихи – наиболее настоящий», – так говорит Бронислава. «Я звучу в Боге, как маленькая флейта...», – говорит она. Сыграйте же мне на Вашей флейте, Бронислава Волкова!

«ШКАФ»

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

«ЕСЕНИН СОВРЕМЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ»

В книге Дмитрия Силкана «Сергей Есенин. Всегда остался я поэтом» (М., АСТ, 2019) представлена широкая панорама мнений, оценок, суждений, характеристик, связанных с жизнью и творчеством С. Есенина – и это первая в нашей литературе такого рода книга, а ведь о Есенине написана целая огромная библиотека. «Чудесное наследство» С. Есенина, по словам А.С. Серафимовича, не тускнеет со временем, а, напротив, высвечивается всё новыми и новыми гранями, приобретает даже ещё более яркий колорит. Как это, быть может, ни парадоксально, но чем дальше уходит от нас время, в которое жил Есенин, тем ближе многим становится его поэзия, затрагивающая наиболее сокровенные струны души самых разных, казалось бы, людей по своему культурному и образовательному уровню, иногда каким-то даже непостижимым, загадочным образом. И в самом деле, если, предположим, восприятие творчества Ахматовой, Блока, Гумилёва, Мандельштама или Цветаевой и даже Маяковского требует всё же известной подготовки и культуры, то поэзия Есенина проникает в душу каждого человека, кем бы он ни был, хотя всегда были и есть люди, которым внутренне ближе творчество других русских поэтов. Бывает так, что несколько крикливые, надрывные, в частности, «кабацкие» интонации и мотивы различных стихов Есенина для многих чужды, некоторых он даже раздражает, кто-то их просто не принимает. Но образ Есенина всё равно неповторим каким-то завораживающим обаянием, своей открытостью и распахнутостью.

И кроме того, «большое видится на расстоянии» – эти слова, давно уже ставшие триоизмом, как нельзя более подходят к творчеству Есенина, запечатлевшего образ России так пронзительно, проникновенно, с такой болью и искренностью, как это, пожалуй, не удалось никому другому.

Данная книга построена как своего рода монтаж мнений, суждений, оценок и характеристик

многих современных литературоведов, критиков, писателей, деятелей искусства (среди них есть и автор этой рецензии). Это Н.И. Шубникова-Гусева, руководитель есенинской группы в ИМЛИ, её участники Е.А. Самоделова и М.В. Скороходов, такие литературоведы и писатели как В.И. Гусев, К.А. Кедров, С.С. Куляев, А.Л. Налепин, В.Н. Крупин, известный современный прозаик Р.В. Сенчин, писатель старшего поколения В.В. Личутин, философ и филолог П.В. Калитин, М.А. Замшев, М.А. Айвазян, В.А. Силкин, поэт и композитор Г.Э. Норд, прозаик С.Ю. Соколкин – этот список можно было бы продолжать и далее.

Как нам представляется, эта книга о Есенине что-то имеет общее со знаменитым «Пушкиным в жизни» В.В. Вересаева, хотя кому-то, быть может, такое сравнение покажется известной натяжкой. Однако если вересаевский монтаж представляет собой очень объективную картину свидетельства современников при минимуме авторских оценок, или точнее сказать, при почти полном их отсутствии, то здесь точка зрения автора присутствует постоянно, он является как бы связующим звеном между мнениями различных интервьюируемых лиц и его собственной – и он очень активно порой о себе заявляет.

Он как бы дирижирует этим разногласным хором суждений и рассказов о величайшем из русских поэтов. И такого рода композиция нам представляется во многом удачной, интересной, хотя в чём-то и не без изъянов – и заставляет читать эту книгу, как увлекательный роман.

Известные современные литературные деятели все вместе размышляют о причудливых поворотах и изломах биографии Есенина, над истоками его поэзии, над тем очень непростым и во многом трагическим временем, в котором суждено было прожить свою короткую жизнь Есенину, но жизнь необыкновенно ярко.



Невзирая на некоторые издержки, которые, впрочем, неизбежны, наверное, всегда, особенно при рассмотрении биографии и творчества поэта и человека такого масштаба, как Есенин, собранные воедино, все эти дискуссии, несомненно, способствуют лучшему, более разностороннему и глубокому пониманию того, кто, собственно, такой был Есенин, и рассматривается это с современной точки зрения, что само по себе очень важно, но в то же время, конечно, это никак не отменяет традиционно-исторического подхода.

Образ Есенина, каким он был в жизни и творчестве, зачастую оказывается искажён какими-то очень пристрастными и порой несправедливыми наслоениями, всё равно, как толстым слоем грубоватого грима, за которым не видно истинного лица, часто основанными на слухах и сплетнях, отнюдь не всегда достоверных и очень разноречивых. И в данном издании сделана попытка привести всё это к общему знаменателю. Автору-составителю, дирижёру, как мы условно его назвали, кажется, во многом это удалось.

Естественно, что не на все важные и интереснейшие вопросы, поставленные в книге, даны ответы, но важно уже одно то, что они поставлены – этот известный тезис вполне, с нашей точки зрения, применим к данному изданию.

Книга построена по хронологическому принципу – от детства и взросления Есенина, прошедших, как известно, на живописных, чисто русских, немного грустных рязанских просторах – до того трагического момента, когда в последних числах декабря 1925 года поэт был обнаружен висевшим в петле в номере ленинградской гостиницы «Англетер».

Многие отмечают, что несмотря на своё крестьянское происхождение, Есенин по сути дела крестьянином не был, так как с самых юных лет жил в Москве, получив достаточно приличное по понятиям того времени образование, и почти совершенно не был приспособлен к крестьянскому труду на земле, никак не отразил его в своих стихах, и более того, деревню не особенно любил, вопреки устоявшемуся традиционному представлению, а скорей всего, любил её литературный образ, ту неизбывную печаль русских полей и перелесков, которые так проникновенно воссоздал в своём творчестве. И был поэтом во многом «ряженым», театральным в известной мере крестьянином, как это отмечали и современники. Хотя с другой стороны, в человеческом характере Есенина, его повседневном жизненном поведении, при всей его загадочности и даже некоей мистичности, о которой на самые разнообразные лады толкуют участники книги, немало было и черт этакого деревенского «кулачка», человека очень прагматичного, знавшего себе цену и старавшегося никогда не упустить свою выгоду, стоявшего обеими ногами на земле, а отнюдь не витающего в облаках.

Ещё один по-новому звучащий вопрос, поднятый в этой книге – имел ли Есенин какое-нибудь отношение к масонству. Н.И. Шубникова-Гусева отвечает на это таким образом, что поэты-имажинисты, к которым одно время принадлежал Есенин, в своём быту просто обыгрывали костюмы, атрибуты и другие символы масонства, но это было не более, чем «театром для себя», в которой давал о себе чувствовать очень сильный игровой элемент – а Есенину, например, принадлежала чернильница с крышечкой в виде черепа Адама, одним из масонских символов.

Что касается достаточно однозвучной и давно навязшей в зубах темы многочисленных любовных романов и увлечений Есенина, его известной асоциальности, пьянства, хулиганских выходок, скандалов в общественных местах, сопутствовавших ему в последние годы, то участники книги достаточно деликатно и взвешенно рассматривают это, полагая, что Есенин был во многом жертвой обстоятельств, и не «таким уж и горьким он был пропойцей», если перефразировать его известные строки, так как очень много времени посвящал серьёзному литературному труду – поэтому и успел так много сделать. И самое главное, подчеркивают многие участники издания, часто бывает так, что лирического героя, скажем, «Москвы кабацкой» или «Исповеди хулигана» многие идентифицируют с самим автором, что, как известно, отнюдь не одно и то же. Есенин, повторяем, имел очень сложный характер, как, наверное, любой творческий человек, особенно – гениальный – а ведь писатели вообще, как это хорошо известно, не совсем такие люди, как все. Поэтому к Есенину с обычной меркой, как подходят к обыкновенным рядовым людям, подходить невозможно – он был, конечно же, человеком необыкновенным и во многом даже загадочным, как необыкновенной и загадочной была его жизнь – и это вполне убедительно показано в книге.

Что касается, пожалуй, наиболее острой и на все времена злободневной темы обстоятельств гибели Есенина, то здесь точка зрения опять же не поставлена и не может быть поставлена – ибо эта заключительная страница биографии великого поэта никак не поддаётся разгадке и по сей день, несмотря на то, что существовала комиссия в ИМЛИ по расследованию обстоятельств гибели Есенина, и выпущена была специальная книга на эту тему. Да участники издания, пожалуй, и не ставили такой задачи – они просто рассмотрели какие-то новые свидетельства и материалы, но тайна трагической, страшной смерти Есенина, по всей видимости, не будет всё же разгадана никогда. Что-то в этом есть, как полагают некоторые исследователи, опять же мистическое, неуловимое и не поддающееся рациональному объяснению.

Заключая, следует сказать, что автор-составитель в некоторых случаях допускает небрежности

и даже искажения в передаче рассказанного ему – я могу судить об этом по собственным интервью. И это, конечно, очень досадно. Есть также и мелкие фактические ошибки, на которых мы специально не останавливаемся.

В целом мы абсолютно и сполна признаём исключительную полезность, нужность и прямо-таки хватающий за живое самый неподдельный интерес, вызываемый чтением этой книги – образ Есенина получился, вне всякого сомнения, объёмным

и многомерным, и, главное, лишённым какой бы то ни было тенденциозности. И это очень большая удача – ведь следует учитывать в первую очередь то, что написать нечто новое и свежее на такую, казалось бы, вдоль и поперёк изученную тему, как биография Есенина, очень непросто, а автору в конечном счете всё-таки это удалось. Поэтому эта книга, несомненно, не должна пройти незамеченной, оставить равнодушной кого бы то ни было, даже в наш, такой ужасно нечитабельный век.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ТЕАТР ОБЯТЕЛЬНЫХ ТЕНЕЙ

(Евгений Чигрин. *Невидимый проводник. Стихотворения.* – М.: Издательство У Никитских ворот, – 2018. – 204 с.)

Евгений Чигрин – поэт, сочинитель исключительно наполненных, плотно спаянных поэтических текстов, которые у многих и многих читающих сегодня вызывают живой эмоциональный отклик. И особенно стихи Евгения близки тем, кто действительно разбирается в поэзии и способны оценить влетённые в поэтическую ткань неожиданные повороты смысла, меткие, порой до зримости, живорождённые метафоры...

И вот у Е. Чигрина родилась новая книга. Случилось это в 2018 году в издательстве «У Никитских ворот», которое выпускает уже вторую книгу поэта. Первая была «Подводный шар» (2015), тогда это издательство приняло «эстафету» у не менее известного издательства «Время», где в серии «Поэтическая библиотека» ранее вышли в Москве «Погонщик» (2012) и «Неспящая бухта» (2014).

Известный поэт Алексей Остудин (Казань) написал по поводу подборки стихов Чигрина (все они потом вошли в «Невидимый проводник») в журнале «Звезда» (2018, № 3) – «Крепкие мужские тексты, такие стихи раньше гладиаторы перед боем писали!». И он по-своему прав, если учесть, что в стихах у Евгения бывает та самая поэтическая плотность, напор, которые даются лишь тем, кто обладает подлинным, ярким, сильным темпераментом. В этой книге есть воистину волшебные стихи, особенно те, начинающиеся – «Тончайший шорох листьев...». Тут тонкость, даже изящество поэтического чувствования входят в «содружество» с упомянутой мускулистостью и создаётся то, что «заколдовывает» и привлекает. А вот третьё стихотворение книги – «Деревянная Дудка», думаю, ещё более может нравиться читателям. Оно пленяет тем, что в лёгком, звенящем, летящем, пританцовывающем размере, том самом, что использовала некогда М. Цветаева в поэме «Чародей», Чигрин

уже не столько созерцает и размышляет, а рисует – строка за строкой – образ «астрального лирика» с дудочкой «как в цирке». Этот лёгкий старичок приходит к поэту. Он являет собою – и взмах поэтической фантазии, и в то же время он – образ из полусна, видение «овеществлённого» подсознания. Этот «астральный лирик» и есть малое и милое порождение «нетвёрдого сна», в котором поэт «выдумывает жизнь». Эта «выдумка жизни» – сокровенный удел поэта, однако парадокс состоит в том, что результат получается не выдуманный, не головной, а музыкально-лиричный, выпуклый, персонаж, «мультияшно» и «призрачно» видимый... Так отчего это возможно? – Может быть, возможно потому, что у «астрального» старичка, созданного поэтом, – «В Боге голова», а потом уже «Уста иллюзий»...

Чигрин, мне кажется, останется в истории литературы сего века, потому что создание иллюзий, пусть даже и поэтически убедительных, не его основная цель. Он подсознательно стремится поместить читателя на время чтения в несущие потоки гармонии звёзд и ветра, той самой гармонии, за которой живёт Незримый, который нам «опустит осень», а та уж тихо дохнет музыкой и сведёт часы двумя стрелками «на цифре восемь», то есть на бесконечности времени...

В другом стихотворении, – оно по первой строке называется – «Глаза поднимешь – осень на дворе», – создание «театра теней» продолжается. Нас встречает на фоне всё той же осени – «в пепчонке жёлтой постаревший ангел», он конечно одинок, «как муха в янтаре»... По пути раскрытия образной системы стихотворения, создаётся и виртуозное четверостишие – «Дырявый лист в желтеющем огне / Плавёт по суше, как по морю рыба»... А далее, вслед за строкою, за поэтом, мы «подни-



маем глаза» и тогда театр теней уже расцветает и химерами туч, в которых сотворяются и гномы и домики. Но главное, в самом конце – мы смотрим на... «На мальчика в летающем пальто, / На девочку, что облаком повисла». Как не сказать, что это «видение без смысла» врут, скрытым смыслом, являет нам Марка Шагала и полёты иллюзорных персонажей над домиками его Витебска... Нет, мы не настаиваем на таком именно прочтении, но с Чигриным часто именно так – то у него зашифрован меж строк фландрский собор, то звучат разные мелодии старинных композиторов, то читатель следует за поэтом из сна в другой рифмованный сон без желания скорей проснуться...

Стихотворение «Верченье вьюги, вспышки фонарей» продолжает цельную и поступательную, как всегда у Чигрина, поэтическую импровизацию, в которой уже не желтеет осень, а настала зима, поэта потянуло к югу, как певчую птицу, и он выдумывает себе деву, для того, чтобы войти в иной, южный «полюс» гения и места. Да и как поэту деву не «выдумать»!.. Евгений пишет:

*Я выдумую в снегодекабре
Похожую на яркий праздник деву,
Чтоб жизнь дружую вылепить во мгле,
Поддавшись сочинительству и блефу.
И с нею выйду за какой-то круг:
Мы попадём в ресничный праздник света,
Вплетая Север в золотистый Юг,
Включая жизнь в нефритовое лето.*

И это великолепное поэтически «ресничное лето», и последующие строки тоже несут на себе явственную печать поэтической свободы и поэтичного, лирического изящества, как это нередко бывает в подборках стихов и в книгах Е. Чигрина.

В «Невидимом проводнике», в заключительном стихотворении книги «Маяк на мысе», мерцает строка – «Свет корабля, как память о земле». Интересен и автоэпиграф, в котором говорится о – «Смешении арханки и сленга», то есть о текстовой черте, свойственной Чигрину, чей словарь, что не раз отмечали критики, очень широк и разнообразен в своём богатстве, о чём бы он ни писал – об облаках, о море, которое «курит трубки», о игрушечных волках Мандельштама, или о Павшинской пойме...

Видный патрист Адальбер Гюстав Амман как-то заметил: «Автор любого сочинения отчуждён от нас самим своим творчеством. Перед нами – не сам человек, а только его книга, только то, что он написал». Чигрин, судя по отзывам на его поэзию, для читателей больше, чем «книга». Среди отзывов, например, Наталья Лясковская – «Чудо поэзии необъяснимо, но уловимо, и в Ваших стихах, Женя, я это чудо улавливаю, и ловлю минуты счастья...».

В своей новой книге Евг. Чигрин, как и ранее, разнообразен в используемых поэтических разме-

рах. Его строка может быть длинной, распространённой («Воззает осень мрак простуды – дождей нахлынувших клинок»), а в другом, может быть следующем стихотворении, он, сочинитель, уже предстаёт минималистом, таким, каким бывал, временами, Андрей Белый: Но стиль, неповторимый чигринский стиль всё равно сохраняется, и это – главное!..

*...Ангел, которого
Вижу не в первый...
Занавес морока:
Осени верный*

*Вечер. Опалиха.
Темени секта.
В тыкве фонарика –
Обморок света.*

– так заканчивается одно из «кратких» стихотворений сборника – и, как видим, в самом конце «атмосферного» стихотворения из минимизированной строки выступает образ «тыквы фонарика», который мертвенно струит «обморок света». Так подтверждается мысль критика и писателя Нины Гейде о том, что – «Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист...», поскольку красочно мерцающие полусвет, полутень, – есть неперемённые черты импрессионизма. Однако вслушавшись больше, чем взглядевшись в страницы книги, всё же убеждаешься, что не меньше импрессионизма здесь постоянно присутствует и постмодернизм, любящий варьировать уже давно вошедшие в литературу узнаваемые «вечные» поэтические и жизненные мотивы. Чигрин их неустанно дополняет «экзистенциальной рефлексией и неустанным культурным бдением» своего лирического героя. Эту черту у поэта заметил и отметил Юрий Кублановский, который также верно сказал, что поэт этот «литературоцентричен». Это можно понимать и так, что Евгений в процессе импровизационного потока создаёт литературно и культурно оснащённые тексты, с другой стороны, рождаясь, они сразу и естественно становятся литературой. Он же, Кублановский, сказал о порою характерной Чигрину «тактичной деформации образа».

Такими и многими другими способами Чигрин создаёт изобретательные и вдохновенные игровые фантазмагории, несущие лирико-раздумчивый мотив, но ещё строка и – всё стремительно меняется, и мир поэта становится диаметрально иным...

По поводу структуры книги, автор поясняет – «Здесь 107 стихотворений, разбитых на восемь циклов». Думается, что даже названия циклов у Чигрина – это тоже поэзия. Вслушаемся – с первой части по последнюю, чем звучны названия этих циклов, – первый раздел – «Старый кочевник», он напоминает название его давней книги – «Погонщик», второй раздел – «Демоны водостока», и сразу

на память приходят химеры с собора Нотр Дам. И впрямь цикл прямо и непосредственно «настоян» на Париже, «прохваченном временем старым». Потом идёт импрессионистичный «Барочный морфий», в котором нас встречает Адриатика с её небом «в сквозистой слюде», нарисованной ангелами, встают образы Балкан... Следом третий раздел – «Лампа над морем». От этой лампы будто веет ночной тревогой... Там образы фантастики сменяются дальневосточными воспоминаниями поэта, тут мелькают острова, маяки, совсем близко – Япония, яхты, корабли... Раздел четвёртый – «Музыка с листа» – он полон поэтически организованных отнесений к ощущениям автора – от пейзажей Поля Сеньяка, от цветов Поля Сезана, что «вышли на балконы». И вот, наконец, музыка – это барочные органные композиции Дитриха Букстехуде... В пятом разделе – «Летающий мальчик» – о проницательно понятом «эротизме» перуанца Хорхе Варгаса Льоса, о котором «ходят легенды»... И снова музыка, на сей раз это венецианец Алессандро Марчелло... А в строках – «...Это осень и не патриархом / Я вливаюсь в осенний расклад...» – мы, конечно, прочитываем, как это часто у Чигрина бывает, то самое, упомянутое «отражение» мировой культуры, – на сей раз от «Осени патриарха», романа великого аргентинца Габриэля Гарсиа Маркеса. В стихотворении «Слова» нас особенно пленяет такое находчивое двустипшие – «Целует смерть любой летящий лист, / И дуют ветры в северные дудки». Раздел шестой – «Мойры глиняных флейт» сразу впечатляет по-блоковски горящим стихотворением «Старый демон», в котором есть такие строки – «Плоть всё чаще болеет бесправием... / Ночь несут. Зажигают огни. / Фонари не ослепли над гравием, / Но – мрачнеют последние дни». Тут вспыхнула искра серебряного века, тонко характерная более ранним книгам Е. Чигрина. (Несколько раньше, в стихотворении «Диптихи» есть тоже серебряная нить – строчная цитата из Блока – «Живи ещё хоть четверть века...»).

В «Желтеющем фокстроте» – ни много ни мало – эпизодический разговор с Богом, – для которого поэт – «Субстанция твоих забот, всего лишь», он «только вещество», но это всё слова, мнения поэта. Бог в ответ мудро и вселенски молчит... «Посмейся Бог / И больше ничего. / И не поспоришь...» – так заканчивается стихотворение. Во все времена к богам взывали поэты и лишь избранным отвечал Бог...

В этот раздел входит стихотворение «Предновогоднее», пленяющее особо пронзительной по виртуозной поэтичности строкой – «И плющевое заячье ушастье»... Это чигринское название «Пред-

новогоднее», как-то невольно относит к названию стихотворения М. Цветасвой «Новогоднее», о котором И. Бродский написал целое эссе, трактат... Это очень ёмкий, богатый раздел, полный многого достойного и ёмкого, поэтически полноценного. Всего, что в нём содержится, не опишешь. Хочется читать построчно, и разнообразие стихов уверенно ведёт по развивающейся канве. Седьмой цикл – «Сплошной сюжет» встречает нас стихотворною Ночью – Никтой, и как будто с высей горы увиденным поэтом средневековым бестиарием. Нам видится – через замыленное стекло, – почти босховский динамичный, роящийся пейзаж. Следующие стихотворения продолжают подобное впечатление, обогащаясь ещё и гоголевскими образами – тут и философ Хома Брут, Панночка, старый сотник. Но это был бы не Чигрин, коли он сюда же не вплёл и некоторые атрибуты современности, приметы компьютерного нового века... – «Ставят лайки «ВКонтакте» то старому сотнику, то / Неприкаанной птице...».

Потом мы мимоходом заезжаем в Индию, от туда к Петрову-Водкину в Хлыновск, на «Купание красного коня». Цепи ассоциаций и «парафразы» поэта множатся и дробятся, проникаясь той самой естественной деформацией образов, которую, как мы уже сказали, заметил Ю. Кублановский.

Последнее, уже упомянутое нами стихотворение в книге «Маяк на мысе» – оно «О маяке, сигналищем во мгле», и сам поэт понимает, что, завершая, становится – «Словариком, сверкающим во тьму»...

Таковы блики и облики образов поэта, его театр обаятельных теней...

Евгений о новой своей книге сам сказал следующее – «...Поясню название книги: слово “проводник” встречается в Библии, то есть проводник каких-то тайн, знаний, смыслов и т.д. Именно поэтому: обложка цвета новозаветных песков. «Невидимый проводник», потому что, любой человек может открыть книгу, и автор, как бы ведёт его по неизвестному читателю миру своих вдохновений, метафор, образов, многоочий... Ну и, наконец, это словосочетание хорошо и просто читается. И последнее: это название вписывается в другие названия моих книг: Погонщик, Неспящая бухта, Подводный шар, Невидимый проводник»...

Так что в заключение можно сделать такой вывод – поэзия Евгения Чигрина рассчитана на тех, кто ещё не потерял провиденциальную способность удивлённо поднимать голову к небу, или отрывать душу от земли и улетать в царство гармонии, литературы, фантазии – эти три «компонента» празднично живут и дышат в книге «Невидимый проводник»...

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 24.02.2020 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,68
Зам. 1444. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17